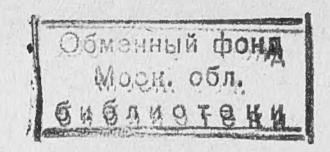




R XIX C 2 2



ż

1 34 r.

# СБОРНИКЪ ВТОРОЙ.

# О РЕЛИГІИ 249 г. ЛЬВА ТОЛСТОГО

9.00



иситральное инигохранилище Моск. Обл. Библиотеки

Москва 1912 г.

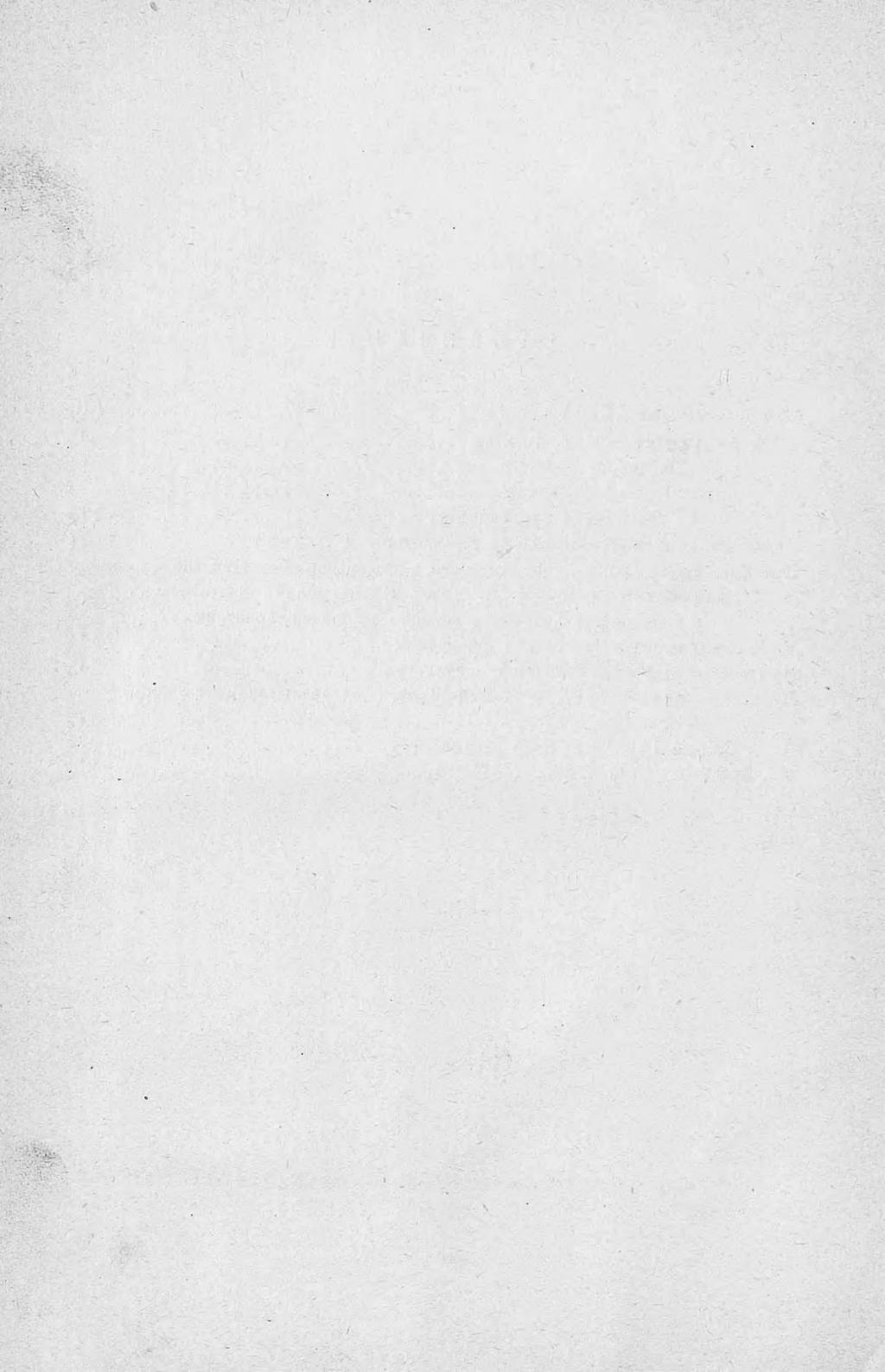
m

### MOCKBA.

Типографія Императорскаго Московскаго Университета. 1912.

# оглавленіе.

Оть издательства "ПУТЬ"	I-III
С. Н. Булгаковъ.—Л. Н. Толстой	1
I. На смерть Тодстого	1
П. Толстой и Церковь	9
III. Человъкъ и художникъ	16
В. В. Зѣньковскаго-Проблема безсмертія у Л. Н. Толстого	27
Кн. Евг. Трубецкой—Споръ Толстого и Соловьева о государствъ В. И. Экземплярскій—Гр. Л. Н. Толстой и св. Іоаннъ Златоусть въ	59
ихъ взглядь на жизненное значение заповъдей Христовыхъ	76
С. Н. Булгановъ-Простота и опрощение	114
Андрей Бѣлый—Левъ Толстой и культура	142
Л. Толстого	172
А. С. Волжекій-Около Чуда (о Толстомъ)	196
Вл. Эрнъ-Толстой противъ Толстого	214



### ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ИУТЪ".

"Пословица говорить: объ умершихъ говори доброе или молчи. Я думаю, что наоборотъ, надо не говорить дурного о живыхъ, потому что это можетъ сдѣлать имъ больно и испортить ихъ отношенія къ живымъ; но о мертвыхъ, о которыхъ принято говорить льстивую ложь, ничто не мъшаетъ говорить полную правду" (Л. Толстой въ Кругь Чтенія, 6 ноября, 2, II, стр. 434).

Да послужать эти мудрыя слова эпиграфомь къ настоящему сборнику статей о религіи Л. Н. Толстого. Этому сборнику одинаково далеки какъ условно панегирическія, такъ и условно апологетическія задачи. Его участники испытывали потребность прежде всего понять религіозное самосознаніе Толстого изъ него самого, съ темъ, чтобы далее оценить его при свете собственнаго религіознаго міровозэрѣнія. Такимъ образомъ, ими руководилъ при этой работѣ исключительно религіозный интересъ. Судьба Толстого, какъ проповъдника религіознаго жизнепониманія въ нашемъ обществъ, поистинъ безпримърна и исключительно печальна: на-ряду съ повальнымъ, прямо эпидемическимъ поклоненіемъ предъ его именемъ, какъ будто не допускающимъ даже правъ критическаго анализа, какимъ-то фетишизмомъ, наблюдается поразительное, прямо кощунственное равнодушіе къ религіи вообще, а въ частности н къ темъ религіознымъ ценностямъ, которыми жилъ Толстой. Эта канонизація непримиримаго иконоборца, съ культомъ реликвій, съ явнымъ желаніемъ превратить біографію въ житіе, окутать ее дымкой легенды, краснорвчивве всего свидетельствуеть о томъ, какъ далеки самымъ его излюбленнымъ идеямъ, существу его религіозной . проповъди теперешніе офиціальные его почитатели. И чъмъ серьезнъе и значительнъе будемъ мы представлять жизненное дъло Толстого, тъмъ неумъстнъе и фальшивъе покажется намъ вся эта шумиха, это захваливаніе и зацѣловываніе, вмѣсто обсужденія его дѣла па существу,—вѣдь право же Толстой заслуживаеть этого.

Въ этомъ смыслѣ задача настоящаго сборника — представить соображенія для критическаго анализа религіознаго міровоззрѣнія Толстого-продиктована почтительнымъ къ нему вниманіемъ со стороны всёхъ, принявшихъ участіе въ сборникв. Правда, среди нихъ нъть ни одного, кто могь бы считать себя религіознымъ послъдователемъ Толстого, но нѣтъ и ни одного, кто не признавалъ бы религіозной значительности его жизненнаго діла. Религія Толстого не есть наша религія. Отверженіе имъ вѣры во Христа, какъ Сына Божія, Спасителя и Искупителя, и въ Его Церковь, живое тёло Христово, проводить непроходимую грань между религіей Толстого и нашимъ пониманіемъ христіанства. И надо не сглаживать, но поливе выявлять это различие во всей его глубинв во имя религіозной сознательности, ясности и определенности въ наше время всякихъ подділокъ и смішеній. Но насколько безспорно то, что религія Толстого не есть христіанство, столь же неоспоримо, что онъ жилъ этой своей религіей, и, надо сказать больше, жилъ только религіей, и это въ наши дни, въ нашемъ "просвещенномъ" обществъ, погрязающемъ въ безпросвътномъ религіозномъ индифферентизмъ. Это, конечно, не была жизнь во Христъ, но это была, хотя и съ бользненными вывихами, все-таки жизнь въ Богъ. И именно это-то и придаетъ жизненному дѣлу Толстого такую религіозную значительность и возбуждаеть къ нему религіозный интересъ. Онъ есть живой свидетель религи, стоящій предъ лицомъ всего міра, носитель ніжоего, хотя и низшаго, "естественнаго", но все же религіознаго откровенія, подобно тімъ великимъ мужамъ, которымъ дано было возвѣщать людямъ о Богѣ внъ христіанскаго откровенія. Въ его отталкиваніи отъ христіанства, въ глухотѣ къ его зову выражается религіозная ограниченность Толстого и его противленіе Христу, печать духа антихристіанскаго, но въ его постоянномъ устремленіи къ Богу, въ его живомъ богоощущении выражается его подлинное, религіозное призваніе.

Живая религіозная личность Толстого со всёми своими безчисленными противорёчіями, остается загадкой, которую каждый по своему разгадываеть, по необходимости внося въ это разгадываніе и содержаніе своего собственнаго духовнаго опыта. Воть ночему, между прочимъ, въ разныхъ статьяхъ этого сборника, при общности основныхъ религіозныхъ мотивовъ, отражается и различіе индивидуальнаго воспріятія отъ личности Толстого, и было бы прямо безсмысленно стремиться къ тому, чтобы стереть эти индивидуальныя черты, въ которыхъ выражается непосредственность личнаго переживанія.

Насколько мы, живущіе, стараемся искренно разобраться въ религіозномъ міровозэрѣніи Толстого, отдѣлить въ немъ правду отъ лжи, добро отъ зла, временное отъ въчнаго, мы продолжаемъ, въ мъру силъ своихъ, и его собственное религіозное дъло. Исповъдуя безсмертіе души и отвътственность каждаго за все сдъланное имъ въ этой жизни, мы не можемъ отръщиться отъ мысли, что такая работа не остается безразлична и для самаго отшедшаго, и для той невѣдомой намъ жизни, которая составляетъ удѣлъ его въ иномъ мірѣ. И насколько намъ, живущимъ, удается раскрывать себъ и другимъ его заблужденія, соблазняющія людей, приносящія вредъ ихъ душѣ, мы тѣмъ облегчаемъ и его отягченную этимъ сознаніемъ совъсть, а насколько мы принимаемъ въ свою душу добро, имъ въ мірѣ посѣянное, то и въ его душѣ это добро возрастаетъ. Намъ кажется, что такое отношеніе более соответствуетъ и собственному религіозному міропониманію Толстого, нежели модное поклоненіе ему, соединяющееся съ внутреннимъ равнодушіемъ.

Поэтому именно въ борьбѣ съ толстовствомъ, какъ религіозною доктриной, и выражается наше почитаніе Толстого, а выясненіемъ ея односторонности, ограниченности, наконецъ, противохристіанскаго ея устремленія мы хотимъ служить его же великой задачѣ,— религіознаго пробужденія современнаго общества.

Въ этихъ чувствахъ и мысляхъ возлагаемъ мы этотъ словесный вѣнокъ, посвященный памяти Толстого, со знаменіемъ креста на безкрестную его могилу.



# Л. Н. Толстой.

### I. На смерть Толстого 1).

Когда въ осеннее сумрачное утро вагонъ съ останками Л. Н. Толстого тихо приблизился къ станціи, гробъ приняли на руки яснополянскіе крестьяне и медленно понесли по роднымъ холмамъ и доламъ къ мъсту последняго упокоенія. И казалось, что, вмъсть съ ними, усталаго путника, достигшаго, наконецъ, своего ночлега, принимаетъ въ материнское лоно, своими объятіями мягко заслоняя зловъще чернъющую вдали яму, вся эта родная природа: и эта мерзлая, кочковатая земля, и задушевные, кругомъ темнъющіе, лѣса, и задумчивая матовая даль. И было особенно острое, до жути ясное чувство, насколько могуча была въ немъ природная и народная стихія, насколько слитно жиль онъ и съ этими крестьянами, и съ этими полями и лѣсами. Какъ будто въ немъ осознала себя душа этой природы, пріоткрыла глаза отъ своей растительной дремы. Въ немъ жила первобытная душа русской природы и русскаго народа, такая, какою она была и въ отдаленную, дохристіанскую эпоху, когда славяне "умыкиваху у воды женъ", приносили жертвы Перуну, Велесу и Стрибогу, зажигали Ярилины костры. Въ эту новь пало, затемъ, семя христіанства, но она все-таки сохранила изначальную свою природу, осталась подпочвой нашей исторіи. Въ Толстомъ словно обнажились ея породы, и какъ будто въ ней все говорило, встръчая безкрестныя похороны: онъ нашъ, а мы его...

сборникъ.

<sup>1)</sup> Въ основу настоящаго очерка легла расширенная и переработанная рѣчь, произнесенная 16 ноября 1910 года въ студенческомъ собраніи и напечатанная въ Русской Мысли, 1910, XI.

Да, Левъ Толстой—это сама наша первобытная стихія, съ ея раскрытыми и нераскрытыми задатками, со всёмъ ея хаосомъ и мощью. Она получаетъ несравненное выраженіе въ его художественномъ творчествё, но лишь потому, что жила въ немъ самомъ. И потому самъ онъ производилъ совершенно особое впечатлёніе: въ немъ было нёчто глубинное, потустороннее, но это была потусторонность не божественнаго міра, а природной души, великаго Пана... Можно ли выразить въ словѣ наши чувства при утратѣ Толстого, когда едва ли не съ молокомъ матери начали мы всасывать въ себя тѣ самые органическіе соки, проводникомъ которыхъ было и его творчество, когда оно близко и неотдѣлимо отъ насъ, какъ семья, какъ родина, какъ родная природа. Поэтому немного найдется русскихъ людей, которые не имѣли бы въ себѣ частицы Толстого, даже его не зная.

Однако въ живой индивидуальности генія эти стихійныя начала народной души соединились совершенно особеннымъ образомъ и въ этой неповторяемости дали того Толстого, котораго знаетъ весь міръ. Если бы онъ остался только художникомъ, и тогда онъ принадлежаль бы къ величайшимъ писателямъ всёхъ временъ и народовъ. Не вліяніе его и слава опираются теперь прежде всего на религіозную его пропов'єдь, которая находится въ несомн'єнномъ и явномъ антагонизмъ съ его художественнымъ творчествомъ. Подобно Гоголю и Достоевскому, Толстой всю свою писательскую дъятельность подчинилъ интересамъ религіи. И здъсь обнаружилась въ немъ уже христіанская стихія русской души, исканіс "единаго на потребу", жажда вѣчности и Бога. Въ Толстомъ мы имъемъ предъ собой колоссальной важности историческій фактъ, полный глубочайшаго смысла: величайшій геній эпохи, притомъ не только своего народа, но и всего человъчества, все напряженіе своихъ силь отдаетъ исканію религіознаго смысла жизни, приносить на алтарь религіи. И эта борьба великаго духа за религіозныя цінности исполняеть невольнымь трепетомъ сердца во всемъ мірѣ, будитъ отъ религіознаго сна отяжелѣвшія имъ души. Такъ клекотъ орловъ въ синевѣ небесъ, такъ крики проносящихся высоко надъ нами птицъ пробуждаютъ въ душъ тоскующее, безпокойное чувство, зовуть съ собою въ высь, о чемъ-то напоминаютъ. Толстой стоить предъ міромъ, какъ живой символъ религіозныхъ исканій, какъ свидѣтель религіи, въ нашу эпоху небывалаго тор-

жества механического міровозэренія, аповеоза внешней "культуры", поклоненія вещамъ и идоламъ. Въ борьбъ съ этими враждебными силами онъ бросаеть на чашку въсовъ всю колоссальную тяжесть своего генія, и то, что у другого, быть можеть, было бы принято за юродство и темноту, или встрътило бы только пренебреженіе, въ его устахъ получало огромное значеніе, заставляло прислушиваться къ себъ. Съ религіознымъ радикализмомъ, для котораго не существуетъ идоловъ и авторитетовъ, Толстой ставитъ вопросъ о цинности культуры предъ лицомъ религіи, или о религіозномъ смыслю культуры. Это тоть же самый вопрось, надъ которымъ надорвался Гоголь, которымъ всецёло захвачены были Достоевскій и Вл. Соловьевъ, который мучаетъ и наше поколѣніе. Насъ давить чудовищный автоматизмъ новъйшей культуры, мы стали ея рабами, униженно цёлующими свои цёпи. Насъ кругомъ обступило множество условныхъ ценностей, которыя получили значение безусловныхъ. Наука, искусство, право, хозяйство, политика, техника, прогрессъ-вотъ тв самодовлеющія ценности, по которымъ вывъряется теперь курсъ жизни. Вся ихъ условность и относительность познается лишь въ исключительныя минуты жизни,---то-гда, когда въ ней проносится дыханіе вѣчности, или приближается ледяная рука смерти. Относительно этихъ ценностей мы не даемъ воли скептической трезвости и пытующему сомниню, которое такъ превозносимъ въ другихъ случаяхъ; быть можетъ, мы руководимся при этомъ ничемъ инымъ, какъ инстинктивнымъ страхомъ, что прорвавшееся пламя испепелить ветхую храмину и оставить насъ оголенными отъ всего условнаго и фальшиваго. Но въ эту чащу безстрашно връзался русскій богатырь. Надъ всей современной культурой онъ ставить гигантскій вопросительный знакъ, онъ спрашиваетъ тамъ, гдф это казалось невозможнымъ или неумъстнымъ, и уже однимъ этимъ вопрощаніемъ обнаруживаетъ условность этихъ цѣнностей. Въ этой постановкѣ вопроса о религіозномъ оправданіи культуры имфется нфчто непререкаемое для религіознаго сознанія, и въ ней одной, независимо отъ содержанія отвъта, уже заключается положительное религіозное дъяніе.

Толстой поставиль, далье, предъ христіанской совыстью отнюдь не легкій, но всегда мучительный для нея вопрось объ *оправданіи государства* съ лежащимь въ его основы насиліемь, и притомь не о такихь уродливостяхь и явныхь жестокостяхь, которыя не ми-

рятся и съ здоровой государственностью, каковы смертная казнь, физическія наказанія и пытки, но вообще о правди права, о допустимости правового насилія, о редигіозной санкціи войска, суда, тюремъ, полиціи, призванныхъ защищать и охранять правовой строй. Для весьма многихъ государство и теперь окружено мистическимъ нимбомъ и считается, какъ встарь, необходимой принадлежностью Церкви. Въ современной же религіи челов кобожія явнымъ образомъ воскресаетъ античный культъ государства, какъ организаціи культурнаго человічества, а право откровенно объявляется критеріемъ морали, лишь вмісто величества цезаря подставлено величество народа. Наконецъ третьи, утерявъ прежнее спокойствіе, съ смущеніемъ и растерянностью стоять предъ религіозной проблемой государственности. Съ безумнымъ дерзновеніемъ и геніальной однобокостью Толстой вовсе отвергь государство, какъ зло и преступленіе. Приняль-ли онь на свою религіозную и просто человъческую совъсть и всю тяжесть этого отверженія, вывель-ли онь отсюда и для личной и для общественной жизни всь неисчислимыя послъдствія, въ этомъ справедливо можно сомнъваться, и этимъ значительно обезцънивается и самое его нападеніе на государственность. Тімь не меніве есть нікоторая религіозная неотразимость въ этомъ нападеніи, и гдів-то въ глубинів души, даже при самомъ решительномъ неприняти ученія Толстого о государствъ, остается смутная тревога, гнъздится сознание нъкоторой высшей правды этого ученія, и ужь во всякомь случав становится невозможнымъ наивный апочеозъ государственности. Толстой свяль здесь свмена въ далекое, далекое будущее, но свмена эти неистребимы историческими непогодами, и уже потому, что посъяны-то они впервые не имъ, а христіанскимъ Благовъстіемъ на той горф, съ которой раздавались заповфди блаженства, ученіе о прощеніи обидъ, о неосужденіи, о непротивленіи зломъ.

Заслуживаеть упоминанія при этомъ, что въ конечномъ идеалѣ съ Толстымъ совпадаеть здѣсь никто иной, какъ Достоевскій, убѣжденный государственникъ, а равно и Вл. С. Соловьевъ, несмотря на его энергичную полемику съ толстовствомъ, насколько оба они становятся на безусловно-религіозную, а не на исторически-относительную почву. Достоевскій въ Братьяхъ Карамазовыхъ (въ главѣ "о церковномъ судѣ" устами Ивана и старцевъ) рисуеть идеалъ церковнаго анархизма, полнаго растворенія и упраздненія

государства и права въ атмосферъ церковной любви и единенія. Соловьевъ же послѣднимъ въ исторіи представителемъ государственности, всемірнымъ императоромъ, ділаетъ въ Трехъ разговорах Антихриста, чемъ приводится къ религозному абсурду все государственное начало, разъ оно способно сдёлаться прямымъ орудіемъ Антихриста. Христіанство въ своей исторіи облеклось, къ худу-ли или къ добру, тяжелыми доспъхами государственности или, лучше сказать, оно приняло на себя эти старые, языческіе еще, доспѣхи, лишь начертавъ на нихъ крестъ. Однако въ своихъ наиболье интимныхъ и глубокихъ чувствахъ оно остается все-таки внъ-государственно, начиная отъ Апокалипсиса и первыхъ христіанъ (о которыхъ недаромъ говориль государственникъ-патріотъ Цельзъ, что, если бы всъ стали христіанами, государство сдълалось бы добычей варваровъ), продолжая пустынниками Египта, Сиріи, Палестины, Францискомъ и западнымъ монашествомъ, нашими русскими пустынниками, странниками, юродивыми, "Божьими людьми". И этого не выдумаль Толстой, а только по своему примѣниль это наблюденіе въ своей практической программ' недъланія и неучастія. Въ своемъ стремленіи къ опрощенію онъ страшно упростиль и эту жизненную задачу, а потому не въ силахъ оказался ее разрѣшить, ибо разрубить узель не значить его распутать. Но все-таки вопросъ такъ и остается вопросомъ для мыслящихъ христіанъ, для религіозной совъсти.

Наибольшую религіозную непререкаемость имѣетъ, однако, другой мотивъ ученія Л. Н. Толстого,—его обращеніе къ личной совъсти и къ личной отвътственности каждаго. Въ механизмѣ культуры съ ея вещнымъ характеромъ и люди разсматриваются лишь въ свѣтѣ вещной закономѣрности. Они и сами, наконецъ, начинаютъ вѣрить этому и считать себя за вещи, сдѣланныя какимъ-то безличнымъ мастеромъ—силою вещей. Нужно заставить человѣка освободиться отъ этого марева, почувствовавъ свою духовную личность, свободную и потому отвѣтственную предъ Богомъ. Это есть то, что можно назвать духовнымъ рожденіемъ личности, и что происходить на самомъ порогѣ духовной жизни. Религіозному пробужденію въ нашей средѣ, скованной духовнымъ параличомъ мнимой культурности, могущественно содѣйствовалъ Толстой, и столько же своей проповѣдью, сколько и обаяніемъ своей личности. Вотъ въ какомъ смыслѣ онъ, на этотъ разъ въ полномъ со-

гласіи и съ церковнымъ христіанствомъ, является пропов'єдникомъ "личнаго самоусовершенствованія".

На вопросъ о религіозномъ смыслѣ культуры Толстой отвѣтилъ отрицательно: культура есть зло, ибо отвлекаеть оть "единаго на потребу" и представляеть собою въ дъйствительности лишь служеніе пороку, тщеславію, лжи, сплошное идолопоклонство. И потому надо духовно извергнуть изъ себя культуру и внёшне отъ нея освободиться. Отсюда толстовская проповёдь опрощенія, недёланія, неучастія, вообще всякихъ не. Чтобы правильно оцінить эту мысль, надо различить въ ней два момента: обще-религіозный и чистотолстовскій. Душа человѣка дороже цѣлаго міра, и въ сравненіи съ жизнью души не существуетъ никакихъ безусловныхъ цѣнностей, всё онё должны быть взвёшиваемы предъ религіозной совъстью. Однако этимъ еще не предръщается то отриданіе культуры, которое находимъ у Толстого. Оно связано съ отрицаніемъ исторіи, какъ совокупнаго творчества людей, и съ религіознымъ индивидуализмомъ, проистекающимъ изъ его отверженія идеи Церкви. Единственною реальностью здёсь являются лишь отдёльныя дущи съ тъмъ, что въ нихъ совершается, между ними не признается ни мистическаго, ни историческаго единства, внѣ чистоэтическаго общенія. При такомъ воззрѣніи нѣтъ мѣста пониманію культуры, какъ совокупнаго и преемственнаго творчества людей, отверждающагося въ культурной традиціи, въ хозяйственной и государственной жизни. И вотъ на титанически поставленный вопросъ получается нев роятной упрощенности отв тъ. Какъ это несоотвътствіе понять? Здісь въ душь Толстого обнажается иная порода, и на-ряду съ религіозной проявляется совсёмъ другая стихія народной души, въ противоржчіи и въ причудливомъ соединеніи съ первой. Это стихія нигилистическая и анархическая, наслідіе степного кочевья и вольницы, задержанная аморфность. Она особенно сильна въ нашей интеллигенціи, но она сильна также и въ Толстомъ, и именно на этомъ пунктѣ встрѣтились и соприкоснулись они. И страннымъ образомъ соединяясь и чередуясь, объ эти столь чуждыя и различныя стихіи одновременно окрашивають собой ученіе Толстого о культурь.

Предъ Толстымъ во всю его долгую жизнь стоялъ одинъ чисто русскій вопросъ: "что дѣлать?" какъ праведно жить? Отсюда про- истекаетъ та сторона его писательской дѣятельности, въ которой

выразилось его нравственное служеніе и религіозное призваніе—быть голосомъ общественной совъсти. За послъднія десятильтія не было выдающагося событія русской жизни, на которое онъ, худо-ли, хорошо-ли, не отозвался бы словомъ или дѣломъ. Однако не всегда достаточно взвѣшиваютъ, чего стоятъ эти отклики тому сердцу, изъ котораго они вырываются. Но и въ нихъ большею частью тоже отражалась двойственность и противорѣчивость стихій, боровшихся въ самомъ Толстомъ, иногда они болѣе будоражили и волновали совѣсть, нежели ее проясняли. Вичующія слова его часто бывали мучительны для совѣсти, но вѣдь объ извѣстныхъ вещахъ и надо мучиться, и правда часто бываетъ мучительна. И въ этой власти будить засыпающую совѣсть заключается то, что объединяетъ въ положительномъ отношеніи къ Толстому многихъ людей разныхъ вѣръ и разныхъ настроеній.

Однако преклоненіе предъ мощнымъ обличителемъ неправды идеть у многихь и дальше. За последнее время входить въ обычай сопоставлять Толстого съ основателями великихъ историческихъ религій. Подобныя сопоставленія являются глубоко ошибочными, это даже не преувеличеніе, а просто ложь. Толстой есть религозный искатель, который всецёло поглощень интересами религіи и заражаеть ими всёхь, попадающихь въ сферу его вліянія. Но ему самому дано было знать тревогу исканій гораздо больше, нежели покой и радость религіозной жизни, тихаго роста души на недвижной основъ. Онъ не пророкъ и не святой, онъ только великій искатель, которому свойственно однако все человіческое и "слишкомъ человъческое", съ исключительными подъемами, но и съ очевидными слабостями и ограниченностью. Въ его религіозномъ ученіи, т.-е. въ томъ, что именно называется "толстовствомъ", изъ двухъ противоръчивыхъ стихій его души, религіозной и нигилистической, безусловно преобладаеть вторая, разрущительная. Для него такъ и остается недоступна какъ мистическая, такъ и метафизическая сторона христіанства, которое онъ понимаетъ преимущественно какъ религіозно-окрашенную этику. Въ его богословскихъ сочиненіяхъ поражаетъ, на-ряду съ крайней разсудочностью, хотя и при отсутствіи подлинной научности, какой-то религіозный эклектизмъ, механическое соединеніе элементовъ разныхъ религій, и какъ будто вовсе отсутствуеть воспріятіе личности Христа въ ея единственности; отсюда и отрицание Его богочеловъчества. Потому считать религію Толстого христіанской было бы глубоко ошибочно (какъ это съ ръзкостью и опредъленностью было указано, между прочимъ, въ предсмертномъ сочиненіи Вл. Соловьева "Три разговора"). Именно это отношеніе Толстого къ христіанству вызывало и вызываеть тяжелую религіозную распрю около его имени. Отъединеніе Толстого отъ церковнаго христіанства въ основныхъ вопросахъ въры есть, конечно, глубокая скорбь для всъхъ искреннихъ сыновъ Церкви, быть можетъ, кара для нихъ и предостереженіе...

Величіе религіозной личности Толстого, но вмѣстѣ и ея противоръчивость и незавершенность, именно и выражается въ томъ, что самъ онъ никогда не могъ успокоиться и установиться на своемъ ученіи, но постоянно выходиль за его узкія рамки. Въ извъстномъ смыслъ можно сказать, что самъ Толстой никогда не быль и не могь быть только толстовцемь, никогда не вмѣщался въ толстовствъ, въ которое хотъли бы загнать Толстого окружавшіе его прямолинейные фанатики его же доктрины. Оно было для него временной формой успокоенія, камнемъ подъ изголовьемъ, условнымъ символомъ вёры, самъ же онъ продолжалъ жить во всю ширь своей личности и со всёми ея противорёчіями, какъ Толстой, а не какъ толстовецъ. И вѣдь никогда же не надо забывать, что въ немъ, кромъ догматическаго въроучителя, жилъ дивный прозорливецъ искусства, томился огненный духъ, вѣчно мятущійся, вічно трепетный и вопрошающій. И эту наиболіє драгоцвиную черту души Толстого, эту неумолчную тревогу исканій съ ослѣнительной яркостью символизировали послѣдніе его дни. Покинувъ родное гнъздо, въ самую, быть можетъ, трудную, а вмъстѣ и роковую минуту своей жизни, снова онъ устремляется туда, гдъ бывалъ двадцать лътъ тому назадъ, еще въ полномъ разгаръ духовнаго своего кризиса, въ историческую Оптину пустынь, собирается посъщать старца. Чего онъ ищеть наканунъ смерти, о чемъ онъ теперь вопрощаеть? Эту тайну своей души онъ не открылъ міру и унесъ въ могилу. Но то, что его потянуло именно въ Оптину, кажется такъ неожиданно отъ Толстого съ его непримиримостью ко всему церковному. И развъ толстовцу нужна бесъда со старцемъ, развѣ онъ подумаетъ о ней? Нѣтъ, но это сдѣлаетъ Толстой, этоть умирающій Левь, который вь глубинь души своей никогда не успокаивается на своемъ собственномъ ученіи, всегда

мучается горней мукой въ стремленіи къ Богу. Никому невѣдомо, что зарождалось въ душт Толстого въ эти последние дни. Но получается впечатлъніе, какъ будто опять начиналась въ немъ новая, трудная душевная работа, и, возможно, еще разъ ставились подъ вопросъ старыя върованія. Объ этомъ возможны только догадки и предположенія, и въ этой интимнъйшей сторонъ своей душа его осталась закрыта даже для самыхъ близкихъ. И въ этой непонятости и неразгаданности, въ этомъ роковомъ одиночествъудѣль генія и кресть Толстого. Онь быль всю жизнь окружень семьей, пламенными поклонниками, друзьями. Но могла ли даже имъ открыться вполнѣ душа Толстого? И когда подлинный ликъ ея закрывался личиной прямолинейнаго догматическаго раціоналиста, ее принимали за то, что скрывалось за ней. Чувство глубокой тайны должна внушать жизнь великаго мятущагося духа. За послѣдніе годы Толстой сдѣлался предметомъ особеннаго поклоненія "всего міра", и, конечно, нашей интеллигенціи, что такъ выпукло проявилось при празднованіи его 80-летія. Но и тогда, и теперь много ли среди этихъ почитателей найдется такихъ, кому дъйствительно близокъ его внутренній міръ, святая святыхъ души его, его религія? Многимъ ли изъ нихъ она даже интересна? И, конечно, отъ того, предъ къмъ распахивались глубины человъческаго сердца, не могло утаиться то, что очевидно всякому непредубѣжденному наблюдателю. И это впечатлѣніе одиночества въ человіческой толпі и глубокой отъ него грусти-только усилится, если подумать еще объ интимной обстановкъ жизни Толстого. Онъ не изнемогъ до конца, и въ темномъ, но върномъ предчувствін надвигающейся смерти онъ снова отправился въ путь, уже последній путь. И эта смерть въ пути символически озарила сокровенную жизнь его духа съ его неутоленнымъ алканіемъ. Не о таковыхъ ли сказано примиряющее слово въ Благовъстіи: блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо они насытятся (Мө. 5, 6).

### II. Толстой и Церковь 1).

Больно касаться этого вопроса, но именно въ немъ не должно быть ни двусмысленности, ни недоговариванія. Между Толстымъ и

<sup>1)</sup> Настоящій очеркъ представляеть собой расширенную переработку зам'ятки подъ темъ же заглавіемъ, напечатанной въ Русской Мысли, 1911. І.

людьми Церкви одновременно существовало и сильнъйшее отталкиваніе, доходившее до взаимной вражды, и, вмёстё съ тёмъ, безотчетное притяженіе, какая-то близость. Догматически отношенія здѣсь очень просты и ясны. Въ своемъ вѣроученіи Толстой, несомнино, отпаль отъ Церкви (притомъ одинаково и отъ православія, и отъ католичества, и даже отъ ортодоксальнаго протестантизма). Торжественнаго "отлученія" могло и не быть, но это само по себѣ ничего не измѣняетъ въ существѣ дѣла 1). Вѣра въ Христа, какъ Богочеловъка, въ искупленіе, въ трічностасность Божества, въ дъйственность церковныхъ таинствъ и молитвъ, всъ эти основы церковнаго ученія радикально отвергались Толстымъ и притомъ нередко въ такой форме, которая не могла не производить на върующихъ самаго тягостнаго впечатлънія. Грубыя и иногда злобныя кощунства надъ предметами православныхъ вѣрованій разсыпаны въ религіозныхъ сочиненіяхъ Толстого, особенно выдъляются въ этомъ отношеніи Царствіе Божіе внупри вась и Воскресеніе. Конечно, они продиктованы не духомъ любви и терпимости и не могутъ не оскорблять религіознаго чувства людей Церкви. Собственное религіозное міровоззрівніе Толстого, не играя словами, также трудно назвать христіанскимъ. Не только своимъ упорнымъ и настойчивымъ отрицаніемъ основного вірованія христіанстваво Христа, какъ Сына Божія, но и во всей своей религіозной метафизикѣ, въ ученіи о Богѣ, о душѣ, о спасеніи, Толстой остается чуждъ христіанству, и къ последнимъ годамъ жизни все дальше оть него отходить. Съ христіанствомъ его сближаеть только этика, да и то въ своеобразномъ и весьма упрощенномъ истолкованіи, однако въ христіанствъ этика имъетъ не самостоятельное, а производное значеніе, подчинена догматикѣ, и, оторванная отъ этой последней, получаеть совсемь иной смысль. Религіозность Толстого

<sup>1)</sup> Въ свое время это было превосходно разъяснено Д. С. Мережковскимъ въ его реферать "Левъ Толстой и русская церковь" (см. въ "Запискахъ религіознофилософскихъ собраній въ С.-Петербургь"). Здёсь между прочимъ говорится: "до какой степени я убъжденъ, что свидътельство Церкви о невъріи Л. Толстого, како мыслителя, въ христіанскаго личнаго Бога и въ Единороднаго Сина Божьяго, а слъдовательно, и свидътельство объ его отпаденіи отъ христіанства есть истина,—видно изъ того, что многія страницы моего изслъдованія "Л. Толстой и Достоевскій", написанныя еще до опредъленія Сунода, посвящены были доказательству этой истины (стр. 68).

имѣла сознательно эклектическій характеръ, и всего легче это увидать, заглянувъ въ столь излюбленное Толстымъ его сборники: Круг чтенія или Путь Жизни (его последняя работа). Въ религіозномъ своемъ міровоззріній Толстой является безприміснымъ представителемъ просвътительскаго раціонализма, какъ онъ вырабатывается начиная съ 17-го въка, съ его чудобоязнью и отрицаніемъ сверхъестественнаго откровенія и откровенной религіи. Въра въ естественную религю, открывающуюся въ каждомъ человъкъ, съ особенной же ясностью въ религіозныхъ мыслителяхъ, но въ существъ своемъ всюду тожественную, вполнъ раздъляется Толстымъ съ другими просвѣтителями. Отсюда проистекаетъ его методъ нанизыванія изреченій разныхъ мыслителей, который, при кажущемся эклектизмв, въ двиствительности вполнв соответствуетъ этому основному его религіозному убіжденію. Отсюда же проистекаетъ и его манера отбрасывать все индивидуальное и конкретное въ историческихъ религіяхъ, въ частности и въ христіанствъ и выводить за скобку общее, но потому и абстрактное. Въ этой абстрактности и раціоналистичности религіи Толстого не лежитъ ли разгадка и того, что она такъ плохо мирилась въ немъ съ его искусствомъ, которое было мистически богаче и красочне, нежели эта дестилированная религія? По крайней мірь, авторь Севастопольской обороны и Войны и Мира умфетъ разсказать о православіи нъчто совсъмъ иное, нежели авторъ Дарствія Божія. Какъ бы то ни было, но христіанство имфетъ для Толстого значеніе только одной изг многихг формъ религіознаго самосознанія человічества, принципіально вполн'в равнокачественныхъ. Отсюда это постоянное, утомительное повтореніе ряда имень религіозныхь учителей: Будда, Магометь, Конфуцій, Іисусь, Сократь... Сюда присоединяются и другія имена, вплоть до нашихъ современниковъ, такъ что сама собою напрашивается и еще прибавка къ этому перечню: и Толстой. Ее уже и делають неумеренные почитатели, забывающие, что отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ. Однако гораздо хуже то, что, повидимому, отъ этой прибавки, сознательно или безсознательно, не всегда бываль свободень и самь Толстой. Во всякомь случав только крайне низкій уровень религіозной сознательности въ нашемъ обществъ объясняетъ распространенное отношение къ этимъ редигіознымъ разногласіямъ, какъ къ какимъ-то пустякамъ или недоразумѣніямъ. Церковное ученіе и "толстовство" (какъ и

многія другія разновидности крайняго раціонализма), дёйствительно, между собою непримиримы, между ними возможна только борьба и никакихъ компромиссовъ. Разумется, это не распространяется въ такой степени на вопросы этики, где наблюдается менёе разногласій, больше согласія.

И несмотря на все это, нефанатизированное, безпристрастное сознаніе не можеть относиться къ "еретику" Толстому, какъ къ "язычнику и мытарю", т.-е. какъ къ совершенно чужому для Церкви. Даже и отлученный Толстой остается близокъ къ Церкви, соединяясь съ Ней какими-то незримыми, подпочвенными связями. Можеть быть, здёсь сказывается обаяніе художника, прежде умёвшаго подойти къ интимной сторонъ православія, да и позднъе хотя безсильно къ нему тянувщагося (вспомнимъ его путешествія въ Оптину, его попытки подойти къ народной въръ, описанныя въ Исповъди). Сердце не чувствуетъ его окончательно оторвавшимся оть связи церковной, въ этомъ отрывѣ видится скорѣе какое-то временное недоразумъніе, которое воть-воть можеть выясниться, завъса упадетъ, и Толстой самъ лучше пойметъ себя, нежели досель. Такое чувство не оставляло меня при жизни Толстого истранно сказать-не вполнѣ оставляеть и теперь, хотя въ эмпирически осязательной формѣ этого проясненія и не совершилось. Даже и теперь трудно отказаться оть чувства какъ бы дерковной связи съ нимъ, и, думается мнъ, это чувство не приходитъ въ противорѣчіе съ духомъ Церкви и любви церковной. Таковы чувства. Но есть и объективныя основанія, по которымь Церковь не можетъ разсматривать Толстого только какъ, напр., Арія или другого ересіарха. Вёдь нельзя забывать, что дёятельность Толстого относится къ эпохъ глубокаго религіознаго упадка въ русскомъ обществѣ. Своимъ вліяніемъ онъ оказаль и оказываетъ положительное вліяніе въ смысль общаго пробужденія религіозныхъ запросовъ. Оно уподобляется въ этомъ смыслѣ вліянію тѣхъ мыслителей древности, которые были "детоводителями ко Христу" и "христіанами до Христа", или же религіозныхъ пропов'ядниковъ въ странахъ нехристіанскихъ. Грустно приравнивать наше просвъщенное общество къ языческому, но въдь оно въ дъйствительности таково. Изображенія нікоторых из этих безсознательных служителей Христовыхъ Церковь помещаеть даже въ притворахъ храмовъ, на-ряду съ иконами. И тамъ, гдв есть место Сократу, Платону,

Аристотелю, Птоломею, Омиру, не окажется ли мѣста и Толстому, не въ самомъ храмѣ, но при *входъ* въ храмъ, къ которому онъ приблизилъ нѣкоторыхъ своимъ общерелигіознымъ вліяніемъ.

скажуть: развъ можно въроотступника приравнивать къ тъмъ, кто жилъ до Христа и лишенъ былъ возможности познать Его? Да, разница эта огромна, и сближеніе, конечно, не должно быть отожествленіемъ. Къ великому плюсу присоединяется здівсь и великій минусь, но намь не дано віздать тайны сердца и подводить итогь; это будеть сдёлано одновременно лишь съ темъ, когда будуть подводиться окончатольные и скорбные итоги нашей жизни. Но не болве ли отввчаеть христіанскому чувству поискать и своей собственной вины въ притупленіи религіозной прозорливости у Толстого? Вѣдь христіанство есть не одна философія, не одно ученіе, но прежде всего жизнь по въръ. Какова же наша жизнь? Если мы продолжаемъ требовать безошибочности въ исповъданіи въры, то таковы ли наши требованія отъ жизни и столь же-ли они неумолимы и здёсь? И воть, когда среди насъ появляется человѣкъ, горящій ревностью о вѣрѣ, и видитъ кругомъ себя теплопрохладность, равнодушіе, язычество, не выталкивается-ли онъ тогда изъ нашей среды какъ пробка, погруженная въ воду? Вѣдъ Толстой отдёлялся отъ насъ не однимъ только тёмъ, что вёровалъ иначе, чемъ мы, но и темъ, что стремился къ жизни по вере. "Ревность по дом'в Твоемъ сн'вдаетъ меня" (Пс. 68, 10). Когда д'влается сравненіе Толстого съ древними еретиками, то відь забывають, чему измѣняли эти послѣдніе, отъ какого общенія любви они отрывались, забывають, что православіе запечатлівалось тогда кровью мученичества или гоненіемъ (вспомнимь жизнь св. Аванасія, этого столпа вселенскаго православія, гоненія иконоборчества и т. д.), а не государственными привилегіями, какъ теперь, и мы поймемъ, насколько эти сравненія пристыжають и нась. Я какъ нельзя болве далекъ отъ того, чтобы сдвлать безответственнымъ въ ложныхъ съ церковной точки зрвнія мивніяхъ самого Толстого, который далеко не всегда умълъ отличать временное отъ въчнаго. Недостатки церковной жизни не могли же къ этому побудить людей съ большой религіозной зрячестью, напр., Достоевскаго, Гоголя, Вл. Соловьева. Но, вмъстъ съ тъмъ, это остается все-таки и нашей виной, нашимъ гръхомъ, что мы не могли удержать въ своей средѣ Толстого. Можемъ ли мы увѣренно утверждать, что въ немъ

проявился бы его антицерковный фанатизмъ, если бы вся церковная жизнь была иною? И если Толстого мало разбирающіеся въ церковныхъ вопросахъ называютъ иногда истиннымъ христіаниномъ, имѣя въ виду именно его практическія стремленія, то это смѣшеніе понятій имѣетъ свои основанія. И потому не раздраженіе или озлобленіе, но покаяніе и сознаніе всей своей виновности предъ Церковью должно вызывать въ насъ то, что Толстой умеръ въ отчужденіи отъ Нея. Толстой оттолкнулся не только отъ Церкви, но и отъ нецерковности нашей жизни, которою мы закрываемъ свѣтъ церковной истины.

Толстой похороненъ быль безъ церковныхъ обрядовъ, согласно своимъ убъжденіямъ и своему желанію. Какъ ни больно было для людей церковныхъ пережить эти "гражданскія похороны" великаго русскаго человъка (всю эту горечь и боль я испыталъ самъ, идя за гробомъ Толстого), но было бы неизмѣримо больнѣе и хуже, если бы случилось иначе и — путемъ компромиссовъ — были бы какъ-нибудь устроены похороны церковныя. Ибо это не была бы любовь и примиреніе, но ложь, отъ которой при жизни столь отвращался Толстой. Это была бы, вмёстё съ тёмъ, кощунственная профанація величественнаго христіанскаго погребенія, которымъ Церковь напутствуетъ своихъ сыновъ въ иной міръ. Весь "чинъ" погребенія, плодъ вдохновенія одного изъ величайшихъ христіанскихъ поэтовъ, Іоанна Дамаскина, имфетъ въ виду принадлежащихъ къ Церкви и раздѣляющихъ Ея вѣрованія (главнымъ образомъ въ искупленіе). Теперь мы привыкли къ этой лжи, ибо по церковному обряду хоронять лиць, завёдомо не имевшихъ церковной въры и лишь не подвергнутыхъ церковному "отлучение". Толстой даль намь и здёсь горькій урокь правдивости и послёдовательности.

Совершенно въ такомъ же смыслѣ долженъ быть разрѣшенъ и разрѣшился вопросъ о служеніи православныхъ панихидъ о немъ. Какъ ни прискорбно для всѣхъ церковновѣрующихъ появленіе "гражданскихъ панихидъ", но все-таки это лучше профанаціи церковныхъ. Вѣдь и чинъ панихиды, представляющій сокращеніе погребенія, также имѣетъ въ виду лишь принадлежащихъ къ Церкви и раздѣляющихъ Ея вѣрованія 1). И именно потому православныя

<sup>1)</sup> Вотъ, напр., въ "последовани по исходе души отъ тела" читается въ одной изъ молитвъ въ применени къ усопшему: "аще бо и согреши, но не отступи

панихиды въ отношеніи къ Толстому непримѣнимы, какъ завѣдомая ложь, которая становится безразлична только при состояніи полнаго религіознаго нигилизма, а слѣдовательно и глубокой чуждости Толстому.

Однако непримѣнимость панихилнаго чина вовсе не значить, что вообще невозможна церковная молитва о душт новопреставленнаго раба Божія Льва. А такая потребность, несомніню, существуеть, ибо есть не мало людой искренно-церковныхъ, которые, хотя и келейно, но въдь не въ разрывъ же съ Церковью, а сокровенно-перковно удовлетворяли и удовлетворяють этой своей духовной потребности. Дать ей церковно-общественное выражение могь бы только особый "чинъ" молитвы о лицъ, хотя и связанномъ съ Церковью неигладимой печатью крещенія, но въ своемъ сознаніи оть Нея отрекшемся. Я убъждень, что широта любви церковной 1) даеть мъсто такому чину, но гдъ же тоть авторитетный органь, который могъ бы теперь принять на себя эту отвътственную иниціативу, не порождая новой взаимной вражды и недоразумьній? Если на это могла бы решиться соборная власть церковная или же прямо соборъ, то, конечно, лучше и не брать на себя подобной иниціативы теперешней организаціи этой власти. Но, конечно, слово примиряющее, ободряющее, призывающее хотя къ уединенной, если не общественной, молитей объ усоншемъ могла бы произнести и теперешняя церковная власть, особенно послѣ того, какъ она проявила такъ много вниманія къ умирающему. И здісь Толстой оказался какъ бы историческимъ зеркаломъ, средствомъ самодіагноза. Когда испытывается потребность въ движеніи, то сильнёе чувствуется тотъ "параличъ" церковной жизни, который констатироваль Достоевскій вийстй сь рядомь другихь независимыхь и ис-

отъ Тебе, и несумнѣнно во Отца и Сына и Св. Духа, Бога Тя въ Троицѣ славима вѣрова, и единицу въ Троицѣ, и Троицу во единствѣ, православно даже до послѣдняго издыханія исповѣда. Тѣмъ же милостивъ тому буди, и вѣру, яже въ Тя, вмѣсто дѣлъ вмѣни"... Судите, насколько умѣстны и допустимы эти слова о Толстомъ, и какая это была бы чудовищная профанація.

<sup>1)</sup> Ср., наприм., разсужденія св. Іоанна Златоуста: "плачь и о невѣрныхь; плачь о тѣхъ, которые нисколько не отличаются отъ нихъ, которые умираютъ безъ крещенія и муропомазанія... будемъ помогать имъ по силамъ.... Какъ и какимъ образомъ? Сами молясь и другихъ убѣждая молиться за нихъ, всегда помогая о имени ихъ бѣднимъ. Это доставитъ имъ облегченіе".

креннихъ сыновъ Церкви. Жизнь даеть намъ горькіе уроки, и Толстому суждено было стать орудіємъ такой исторической кары. И поэтому намъ надо отнестись къ происшедшему не съ фанатическимъ ожесточеніемъ, а съ строгой самопровѣркой и чувствомъ исторической отвѣтственности. Но больше всего приходится жалѣть самого почившаго, которому такъ и не удалось прорваться за магическій кругъ враждебности къ Церкви,—увы!—имъ самимъ около себя очерченный...

### III. Человѣкъ и художникъ.

Толстой быль великимъ художникомъ слова, и, какъ таковой, долгое время онъ естественно считалъ высшимъ призваніемъ своимъ служение искусству. Но когда онъ вступилъ на путь новаго, религіознаго самоопредѣленія, предъ нимъ стала задача, высшая, чёмъ это служеніе, онъ почувствоваль, что отнынё онъ должень перестроить свою жизнь, стать художникомъ своей собственной души. И передъ этой религіозной задачей, которая одинаково становится предъ всякимъ, въ комъ совершилось религіозное пробужденіе, независимо отъ степени одаренности, и его художественный даръ, страшный своею отвътственностью, должень быль стать подъ религіозный самоконтроль, сділаться орудіемь Высшей Воли. Человъческое попрежнему стремилось идти своимъ собственнымъ путемъ, но божеское искало подчинить себъ это человъческое. Жизнь превратилась въ аскетическое противоборство этихъ двухъ началъ. Религіозная личность вступаеть въ борьбу съ человъческой геніальностью и усиливается либо поднять ее до себя и растворить въ себъ, либо совсъмъ умертвить. Такую аскетическую драму мы не разъ наблюдаемъ въ жизни величайшихъ художниковъ: Гоголь, Достоевскій, Толстой, художникъ Ивановъ, не говоря о нашихъ современникахъ.

Художникъ, пока живеть въ счастливой непосредственности и наивности своего творчества, "поетъ какъ птица, живущая въ зеленыхъ вѣтвяхъ", поетъ, пока поется и потому что поется. Онъ отдается при этомъ стихіи своего таланта и несется съ нею, куда влечетъ его вольное вдохновеніе. Онъ или смѣется молодымъ, заразительнымъ смѣхомъ, или радуется красотѣ міра и его краскамъ, или заноситъ свой сатирическій бичъ, отнюдь не подвергая

при этомъ сомнѣнію своего права на сатиру и своего призванія къ обличенію, или онъ въ простоть сердечной повъствуетъ плънительныя "преданья русскаго семейства", либо величественную отечественную эпопею, или онъ раскрываетъ роковую силу страстей, опускаясь на самое дно человъческой души. Законы искусства, неумолимая логика художественнаго воспріятія и творчества владіють художникомь, эстетическіе образы заполняють его душу. Онъ всецёло отдается свободному искусству. Любимецъ музъ, онъ служить только музамъ, одному лишь чистому искусству. И въ душѣ его живетъ увъренность въ томъ, что этимъ служеніемъ онъ даеть человъчеству то, чего никто не можеть дать помимо него. Онъ чувствуетъ себя священнослужителемъ искусства, жрецомъ красоты, и своимъ не обманывающимся художественнымъ чутьемъ онъ сознаеть, что онъ не заблуждается въ этомъ; если только онъ художественно не лжеть, если онь не подчиняеть чему-либо чуждому своего искусства, то онъ дъйствительно приносить людямъ звуки, краски, слова изъ міра иного, изъ "отчизны пламени и слова". Чрезъ себя, своимъ творчествомъ, онъ даетъ выходъ этимъ теснящимся въ душе его нездешнимъ образамъ, онъ снимаетъ преграду двухъ міровъ.

Ihr drängt euch zu! Nun gut, so mögt ihr walten, Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

(Faust. Zueignung).

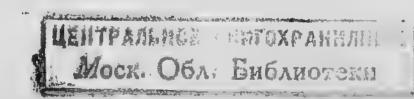
И напряженное вдохновенье разрѣшается сладкой мукой творчества.

Ein Schauer fasst mich, Thräne folgt den Thränen, Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich; Was ich besitze, seh'ich wie im Weiten, Und was geschah, wird mir zu Wirklichkeiten.

(Тамъ же).

Великій художникъ есть вѣщунъ, ясновидецъ иного міра. Онъ говорить отъ себя, но не свое.

сворникъ.



Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель! Въчно носились они надъ землею, незримыя оку и т. д.

Всякое подлинное искусство въ этомъ смыслѣ мистично, какъ таинственная глубина жизни, ибо оно опускается до этой глубины. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно есть только эта первобытная, натуральная мистика твари,—травки, былинки, цвѣтка.

Съ природой одною онъ жизнью дышаль, Ручья разумёль лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималь, И чувствоваль травъ прозябанье. Была ему звёздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

(Баратынскій. На смерть Г'ёте).

Такъ было сказано русскимъ поэтомъ о величайшемъ мистикътайновидцъ твари, но это же можетъ быть приложено къ искусству вообще. Искусство есть органъ самоощущенія души міра, всей тварной природы, какъ красоты. Какъ личность, художникъ вырастаеть, становясь этимъ органомъ души міра, вѣщуномъ искусства, но настолько же онъ и умаляется именно какъ личность, становясь проводникомъ внѣличнаго, или въ человѣческомъ смыслъ даже безличнаго начала. Въ художественномъ творчествъ вивств съ сверхчеловвческимъ подъемомъ и страшнымъ напряженіемъ такимъ образомъ сочетается пассивность и безличность. Что-то должно замолкнуть, быть задавленнымь въ личности, которая представляеть собой извёстную полноту волевыхь, интеллектуальныхь, этическихъ импульсовъ, чтобы она могла сдёлаться органомъ чисто эстетического воспріятія и отображенія міра. Чистый эстетизмъ, свойственный искусству, индифферентень ко всемь остальнымъ критеріямъ: для него не существуетъ высокаго и низкаго, нравственнаго или безнравственнаго, чистое искусство стоитъ по ту сторону добра и зла. Художникъ обреченъ на перевоплощеніе въ разныя шкуры, какъ бы ни были онв разноцвины, даже отвратительны съ общечеловъческой точки зрънія. Онъ долженъ побывать въ душт своего героя, какъ бы въ ней ни было темно и

грязно, и притомъ, что особенно важно, не какъ моралистъ и обличитель, но какъ художникъ, съ способностью, какъ теперь говорять, "вчувствованія" во все, тамъ ему открывающееся и поражающее его художественное воображение. И онъ успокаивается какъ художникъ лишь тогда, когда сознаетъ, что достигъ полнаго "вчувствованія" и способень возвести въ перлъ созданія то, чему, можеть быть, не должно бы быть и места подъ солнцемъ. Души Елены Безухой и Лизы Калитиной, Клеопатры и Маріи Египетской, Плюшкина и маркиза Позы, Скупого Рыцаря и Филарета Милостиваго одинаково интересны и достойны вниманія художника, его эстетическаго "вчувствованія", какъ и формы Венеры Милосской наравнѣ съ уродами Гойа или химерами на Соборѣ Парижской Богоматери. Направляетъ художественное вниманіе стихія таланта, а не личность. Какъ человѣкъ, художникъ невольно становится присвоего таланта, подобно првиду, превращающемуся въ футляръ своего голоса. Этимъ и создается матеріалъ для религіозной драмы, развертывающейся на почвѣ внутренней коллизіи между художникомъ и личностью.

Естественная мистика природы не есть религія, хотя иногда и оказывается для нея благопріятной почвой, также и мистика искусства можеть быть очень далека отъ религіи и даже соперничать съ ней, хотя можетъ и подчиниться ей. Мистика есть слепой инстинктъ религіозности, еще не осознавшей своего Логоса, не ощутившей Божества. Лишь религія вносить опредёленное что въ темное како мистики. Только она поворачиваеть человъка лицомъ къ Божеству и темъ пробуждаетъ въ немъ изъ стихійной мистической аморфности религіозную личность. Воть почему, между прочимъ, въ своей расплывчатой неопределенности мистика остается религіозно-абстрактной, религія же конкретна. Ніть религіи вообще, а есть лишь опредёленныя религіи, и притомъ каждая съ особымъ богоощущеніемъ, своей догматикой, культомъ. Напротивъ, мистика существуеть только вообще, и воть почему многіе, такъ легко и охотно кокетничая съ мистикой, въ сущности лишь отгораживаются ею отъ религіи. Религія относится къ мистикъ какъ высшее къ низшему, она неизбъжно стремится ею овладъть, введя ее въ свое русло, причемъ, въ свою очередь, и мистика легко можеть поднять бунть противь религи во имя свободы въ своей аморфности, способна поэтому опредъляться внъредигіозно, а постольку

и антирелигіозно. На этой-то почвѣ и зарождается возможность конфликта въ душв художника. Последній творить свободно и непосредственно, пока въ немъ дремлетъ религіозная личность, но пробужденіе ея приносить съ собой новый, для искусства внёшній и чуждый, религіозный критерій, по которому уже повъряется вся жизнь безъ исключеній, а въ частности и художественное творчество. Благо тому художнику, въ душв котораго оба критерія, эстетическій и религіозный, не столкнутся враждебно, но гармонически соединятся и темъ взаимно усилять другь друга Тогда осуществляется свободный союзъ искусства и религіи. Въ такомъ случав предъ свободнымъ художествомъ становится высшій, религіозный идеалъ искусства, и тогда вершины искусства озаряются религіознымъ сіяніемъ. Какъ возможно это сліяніе искусства и религіи, и почему оно оказывается возможно, это остается тайной личности, раскрывающейся въ ростѣ души художника, ее можно лишь радостно и благоговъйно созерцать, но безплодно было бы пытаться ее объяснить или раціонализировать. Но именно таково искусство въ высшихъ своихъ проявленіяхъ: такова была греческая скульптура и архитектура въ язычествъ, такова средневъковая готика и византійское зодчество, Данте и Беато Анжелико, Микель Анджело и Рафаэль (въ Сикстинѣ), таково творчество Гёте и Достоевскаго, который, очевидно, не зналъ разлада художника съ человѣкомъ и въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ (Братья Карамазовы, Сонъ смъшного человъка) явиль образецъ душевнаго здоровья, результать гармоніи религіозной личности съ художникомъ (и это несмотря на пресловутую эпилепсію, отсутствіе которой богатырю Толстому все-таки не дало желанной гармоніи и здоровья духа).

Но не такъ благополучно было это у Гоголя и не такъ у Толстого, судьба которыхъ, при всемъ огромномъ различіи между ними, въ этомъ отношеніи представляєть такъ много сроднаго. Оба они, когда серьезно заболѣли религіей, когда наступилъ для нихъ религіозный кризисъ въ жизни и искусствѣ, осудили свое художественное творчество, какъ грѣховное. Это осужденіе не имѣетъ ничего общаго съ утилитарными или эстетическими оцѣнками отдѣльныхъ художественныхъ произведеній по тѣмъ или другимъ частнымъ мотивамъ. Оба они изпутри ощутили его грѣховнымъ, когда почувствовали себя предъ лицомъ судящаго Бога, предъ Которымъ распахиваются глубины сердца. Ихъ творчество

предстало тогда предъ ними какъ идолопоклонство, какъ отпаденіе отъ Бога. Они такъ и не сумѣли примирить въ душѣ своей человѣка и художника, и тогда въ ней прозвучаль грозный приговоръ надъ ихъ художественнымъ творчествомъ: "если правый глазъ соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя... и если правая твоя рука соблазняеть тебя, отстки ее и брось оть себя" (Ме., 5, 29—30). О, дорого, какъ око и какъ рука, художнику его искусство, и, какъ они, есть оно драгоценный даръ Божій, и, можеть быть, подобно Гоголю, не перенесеть онъ этого отсѣченія. Но оть этого драгоденнаго дара Божія надо отречься во имя Бога, принеся его въ жертву къ алтарю. И вотъ начинается это отреченіе, эта мучительная борьба съ своимъ искусствомъ, агонія художника. Въ изнеможеніи отъ нея, Гоголь сжигаетъ свою рукопись Мертвых Душт и кается какъ въ тяжеломъ грѣхѣ въ своемъ художественномъ творчествъ, замъняя его отнюдь не геніальнымъ, какъ бы ни относиться къ нему по существу, проповедничествомъ въ стиле Переписки съ друзьями. Также и Толстой отрекается отъ своего художественнаго творчества, хочеть убить въ себъ художника, хотя до конца это художественное самоубійство и никогда ему не удается. Отъ недосягаемой художественной высоты Войны и Мира онъ переходить къ составленію многословныхъ, однообразныхъ, скучныхъ, съ рѣдкими лишь проблесками геніальности, богословскихъ и моралистическихъ трактатовъ, изъ которыхъ больщинство совершенно не читается уже теперь и скоро будеть окончательно забыто. То резонерство, которое раньше было только эпизодическимъ придаткомъ къ его художественнымъ произведеніямъ, теперь выдвинулось на первый планъ, заслонило собою искусство. Для этого же новаго жанра у Толстого не хватало ни подлиннаго религіознаго вдохновенія, ни философскаго дарованія, ни логической выдержки и научнаго метода. Вёдь достаточно сравнить чисто богословскія сочиненія Толстого, хотя бы объ Евангеліяхъ, съ научными изследованіями того же направленія, которыми такъ богата теперешняя протестантская экзегетика, чтобы убъдиться, какъ они неинтересны и слабы именно съ точки зрѣнія научнаго раціонализма по сравненію съ этими изследованіями, а ведь последнія выходять изъ подъ пера не мірового генія, а заурядныхъ тружениковъ науки. Разстояніе между художественными и богословскими произведеніями Толстого по силѣ дарованія никакъ не меньше, чѣмъ

между художественнымь творчествомь Гоголя и Перепиской съ друзьями, и различіе это скрадывается лишь тімь, что почти всюду у Толстого всетаки прорывается художникь, а также исключительно жгучимь характеромь затрагиваемыхь имь вопросовь (о голодів, о порків, о смертной казни).

"Великій писатель земли русской, вернитесь къ литературь"! Такъ взывалъ въ предсмертномъ письмѣ своемъ Тургеневъ, который едва-ли какъ слёдуетъ понималъ всю серьезность коллизіи въ душѣ Толстого и смотрѣлъ на нее только глазами художника. Но пожеланіе Тургенева могло бы быть исполнено въ томъ лишь случав, еслибы конфликть быль изжить, и Толстой ощутиль бы въ себъ способность своимъ художественнымъ творчествомъ служить Богу. Но онъ этого, очевидно, такъ и не ощутилъ, и роняемыя имъ крохи художественнаго творчества (какъ бы ни были онъ драгоценны) онъ считалъ деломъ второстепеннымъ, какъ будто стыдился ихъ, хотя въ нихъ и просвъчиваетъ иногда новое, умудренное и просвътленное отношение къ міру. Онъ подчиняеть искусство утилитарнымъ цёлямъ, сознательно дёлаетъ его тенденціознымъ. Въ неразрѣшенности этого конфликта, въ неослабѣвающей остротъ этого неизбывнаго противоръчія не лежитъ-ли психологическій источникь и всей теоріи опрощенія съ пропов'ядью недъланія!

Tantum religio potuit suadere malorum, скажетъ по этому поводу поклонникъ искусства, чуждый религіознаго міропониманія. Напротивъ, при религіозномъ отношеніи къ жизни въ этомъ самоубійств'я художника, въ Гогол'я, жгущемъ свою рукопись, и въ Толстомъ, замѣняющемъ перо сапожнымъ шиломъ и пишущемъ, вмѣсто Анны Карениной, Царствіе Божіе внутри васъ видится полное глубокаго смысла и внутренно необходимое религіозное бореніе человіческаго духа. Это болізнь, но болізнь избранных натуръ не къ смерти, а къ жизни. Душа человвка дороже цълаго міра и тімь боліє дороже его художественнаго творчества, и, если дъйствительно нужно принести это творчество въ жертву для спасенія души, пусть будеть принесена эта жертва. В'ядь просто послѣдовать зову Тургенева, по старому возвратиться къ искусству при новыхъ требованіяхъ къ себѣ, для Толстого означало бы паденіе, а вернуться къ нему по новому онъ не умѣлъ. Первобытная невинность потеряна, вмёстё съ непорочностью наготы, которая

теперь была бы безстыдствомъ. Здёсь тягостно и прискорбно то, что въ душё Толстого вообще могъ возникнуть такой именно конфликтъ, ибо по существу въ немъ вовсе нётъ необходимости, онъ есть нёчто вполнё индивидуальное, нёчто такое, чего могло бы и не быть. Однако разъ этотъ конфликтъ налицо, онъ долженъ быть изжитъ до конца, и изъ него должны быть извлечены всё практическіе выводы.

Такъ понимаемъ мы со стороны внутреннихъ мотивовъ литературную эволюцію Толстого, то великаго художника до посредственнаго богослова и морализирующаго публициста. Это безспорное понижение литературнаго типа субъективно было для него религіозно-аскетическимъ подвигомъ, отсѣченіемъ соблазняющаго члена, жертвой Богу. Однако нельзя умолчать, что возможно и иное, менве благопріятное для Толстого объясненіе этой эволюціи, не только изъ аскетическихъ, но и совсвиъ изъ другихъ мотивовъ, изъ своеобразной духовной гордости, для которой недостаточнымъ уже казалось призваніе даже первокласснаго художника, а нужно было еще высшее служеніе, — религіознаго пророка, почти основателя религіи. По совъсти я не могу сказать, чтобы это пониманіе совсемь не находило никакихъ точекъ опоры въ томъ, что намъ извъстно о духовномъ обликъ Толстого за эти послъдніе годы. Спасаясь отъ одного соблазна, онъ естественно могъ подпадать другому, гораздо болве опасному. Ибо, конечно, религіозная проповедь его иметь более притязательный, а постольку и горделивый, характеръ, нежели художественное творчество. Про эту сторону деятельности Толстого приходится сказать, что и онъ, великій, притязаль здісь на большее, нежели иміль и кь чему быль призванъ. Но человъческому суду не дано раздълять пшеницу отъ плевель въ душъ ближняго, и, какъ бы ни была запутанна, сложна и противоръчива личная психологія Толстого, а также и Гоголя, несомнънню, что въ качествъ одного изъ основныхъ мотивовъ, хотя, конечно, отнюдь не единственнаго, въ ихъ литературной судьбъ быль аскетическій. И любопытно наблюдать, какъ съ годами у Толстого становится все замётнёе стремленіе въ литературной двятельности заслониться отъ индивидуального творчества темь, что сверхъиндивидуально или безлично. Какъ извъстно, послъдніе годы жизни его были посвящены составленію сборниковъ изреченій изъ разныхъ мыслителей, т.-е. собиранію преимущественно не

своихъ, хотя и раздѣляемыхъ имъ мыслей: сначала это Круг Чтенія, изъ котораго вторичной перегонкой извлекается Путь жизни, впервые выходящій только теперь посмертнымъ изданіемъ. Это каноническія книги толстовства, его библія и катехизисъ. Но въ литературномъ отношеніи это сплошная мозаика.

Величественное эрълище самопожиранія художественнаго генія исполнено непреходящаго религіознаго смысла. Но на этомъ пути аскезы, разъ вступилъ на него Толстой, по неумолимой логикѣ не предстояло-ли ему сдёлать и послёдній шагь, который совершиль, повидимому, Гоголь? не предстояло-ли ему, отрекшись отъ искусства, преодольть въ себь, наконець, и писателя вообще? Не приближался-ли Толстой въ концѣ своей долгой жизни къ послѣднимъ ея вершинамъ, когда молчаніе, уже одно только молчаніе, способно выражать тайну зрвемаго и слышимаго почти на грани двухъ міровъ? Умолкнувшій Толстой въ этой нёмотё своей даль бы потрясающее свидътельство свободы духа, и вмъсть съ тьмъ это, конечно, была бы для него высшая религіозная побѣда надъ собою, окончательное отсѣченіе той руки, которая дѣйствительно соблазняла его. И у него самого-я убъжденъ въ этомъ-не могло не быть этого сознанія. Но этой поб'яды надъ собой ему не дано было одержать, онъ до последнихъ дней такъ и остался "писателемъ". Онъ не сломалъ своего пера, подобно Гоголю. Не помогъ ему въ этомъ и его "уходъ".

Когда въ душѣ Толстого повелительно зазвучалъ, наконецъ, голось: transcende te ipsum,-превзойди себя, выйди изъ себя,-и онъ, внимая этому зову, рванулся изъ міра съ его соблазнами къ великой простоть и тишинь последняго молчанія, онъ самъ оставиль необразанной одну нить, которая, можеть быть, всего крапче и привязывала его къ "міру", дёлала его плённикомъ "міра". А потому, когда "міръ" погнался за нимъ, то онъ могъ найти его, держась именно за эту нить. И этой последней нитью была не привязанность къ друзьямъ и семьт, естественная и трогательная, ибо надъ нею онъ уже одержалъ побъду своимъ отъ-**Ъздомъ**, и не старческая немощь, ибо она безсильна была погасить работу его духа, нъть, это было непобъжденное писательство, соблазнъ литературнаго учительства, тотъ самый, въ борьбѣ съ которымъ и былъ выдвинутъ весь арсеналъ опрощенія. А это была положенная въ карманъ неоконченная эмпирически

статья (кажется по поводу смертной казни), которую онъ потомъ корректировалъ или заканчивалъ въ Оптиной. Но именно это-то для полнаго освобожденія ему и надо было оставить въ Ясной Полянв, на добычу "всего міра". Толстой, въ величайшую минуту жизни, слыша уже зовъ Божій, въ Оптиной пустыни диктуеть статью, — это зрълище полно для меня глубокой грусти и не есть свидътельство духовной силы, но, скоръе, слабости. Для тъхъ, кто иначе понимаеть весь процессь духовнаго развитія Толстого, въ этой върности его своему труду при такихъ обстоятельствахъ видится, напротивъ, черта величія и силы. Другіе, можеть быть, посмотрять на это гораздо проще, какъ на средство отвлечься отъ страшной душевной боли привычной работой. Мнъ же видится здъсь символь незавершившейся борьбы духа за свое освобожденіе. Такъ или иначе, но міръ догналь своего плінника, а догнавъ-снова окружиль его своимъ кольцомъ. Клътка захлопнулась, и началась астаповская агонія... Занавѣсъ опускается. А то, что происходило за этимъ занавѣсомъ, въ эти послѣдніе часы, вѣдомо одному Богу, такъ не будемъ же нецъломудренной рукою его приподнимать.

Излюбленной и часто повторяемой мыслыю Толстого за последнее время, повидимому, была та, что, хотя религіозный идеаль вполнъ и недостижимъ, но надо постоянно стремиться къ его достиженію, —мысль глубоко вёрная и вполнё христіанская. И именно при свъть ея и надо оцънивать духовную драму Толстого. Вельніе "отвергнуться себя" ради Бога, которое становится предъ всякой религіозной сов'єстью, для Толстого приняло, конечно, вполн'є индивидуальную форму. Онъ услышаль въ немъ призывъ отвергнуться себя, какъ художника и культурнаго человѣка, и глубокіе порывы его души, мучительныя усилія воли внутренно опредѣлились такимъ образомъ понятымъ велѣніемъ. И каковы бы ни были побъды и пораженія въ этой борьбъ и ея конечный исходъ, -- какъ путь, она ведеть къ опредъленной цъли, полна глубокаго религіознаго смысла и понятна лишь въ свётё руководящей своей заповъди. И можно сказать съ этой точки зрънія, что задушевнъйшее желаніе самого Толстого исполнилось, хотя и иначе, чёмъ самъ онъ того хотель. Ему такъ и не удалось окончательно превзойти въ себѣ писателя и всецѣло перейти на путь религіознаго дѣйствія. Но своей жизнью, освіщаемой осліштельнымь рефлекторомъ

небывалой міровой славы, своей религіозной драмой онъ даль людямь нічто болье захватывающее и поучительное, чітмь всі его великія художественныя произведенія и всі его богословскіе трактаты, даль—свою жизнь.

Сергъй Булгановъ.

## Проблета безстертія у Л. Н. Толстого.

Прошель уже годъ со смерти Л. Н. Толстого, но не успъли еще остыть тѣ чувства, которыя пробудила она въ русскомъ обществѣ, не затянулась та рана, которую она нанесла его духовному организму. Острое чувство печали, жуткая боль все еще не заглохли во многихъ сердцахъ, и настроеніе духовной сиротливости продолжаеть окращивать всё думы и воспоминанія о томь, чей голось звучаль еще такъ недавно. И невольно кажется, что у свѣжей могилы еще не мъсто объективному анализу духовнаго наслъдства, оставленнаго великимъ покойникомъ, невольно хочется лишь благодарныхъ воспоминаній, тихихъ молитвъ и сосредото ченнаго погруженія въ то доброе, что легло въ душу оть его творчества. Но вмёстё съ тёмъ, именно теперь, когда еще съ невольной скорбью предносится взору одинокая могила Толстого, чувствуещь острую нужду отдать себѣ отчеть въ томъ, каково было истинное значение его. Хочется формулировать то, что сложнымъ чувствомъ подымается изъ глубины души, хочется — хоть для себя — отдать подлинный последній долгь отошедшему отъ насъ въ иной міръ: всей полнотой душевныхъ силь коснуться его личности, благословить въ немъ доброе, выпрямить его неровности, помолиться о его грѣшномъ.

Велика и могуча была душа Толстого: несравненный художественный талантъ соединялся въ немъ съ сильнымъ, безстрашнымъ умомъ, съ рѣдкимъ даромъ мистической жизни, съ глубокой, безпощадной къ себѣ правдивостью и искренностью. По силѣ его дерзновеннаго протеста противъ современной культуры онъ по праву долженъ быть названъ геніемъ; по глубинѣ его внутреннихъ запросовъ, по мучительной жаждѣ правды онъ стоитъ рядомъ съ величайшими представителями человѣчества, — и въ то же время онъ подлинный сынъ своей эпохи, еще болѣе, чѣмъ Ницше, могу-

чій представитель современнаго индивидуализма. Духъ времени, противъ котораго онъ бородся съ такимъ яркимъ талантомъ, почиль на немь больше, чёмь онь думаль: его жизненный жребій состояль столько же въ разрушеніи, сколько и въ возсозданіи христіанства. Въ мучительной работѣ духа, въ тяжкомъ бореніи съ самимъ собой созрѣла и развилась въ немъ религіозная личность, и величайшая заслуга Толстого, его незабываемое значеніе въ современной культуръ лежить именно въ его смълой, проникновенной, часто геніальной борьбъ за религіозное міропониманіе, за религіозное отношеніе къ жизни. Религіозное творчество—вотъ то главное, въ чемъ расцвѣлъ геній Толстого; оно цѣннѣе, важнъе, чъмъ все остальное, что онъ даль культуръ. Въ религіозномъ творчествъ Толстого-вся сила и вся слабость его, вся тайна его души, вся ея загадочная судьба. И тоть, кто не знаеть Толстого, какъ религіознаго мыслителя и человѣка, тоть не знаетъ самаго глубокаго, самаго подлиннаго въ немъ, тотъ не знаетъ Толстого.

Оцѣнка и анализъ религіозной личности Толстого, конечно, очень трудны, такъ какъ и намъ самимъ не подъ силу религіозно понять и оденить современную культуру. Упадокъ религіознаго самосознанія такъ великъ, что, внѣ Церкви, лишь такимъ героямъ духа, какъ Толстой, удается сбросить съ себя сладкій обманъ современнаго міроотношенія и собственными усиліями усвоить реальность и смысль религіознаго пути жизни. Но въ этой героической борьбъ сколько добраго, цъннаго теряють люди, сколько потерялъ Толстой! Въ томъ то и заключается религіозная трагедія нашего времени, что многія, многія души оставлены на произволь, что они забыли, гдв сввтъ, отвыкли отъ религіознаго міроотношенія, что тяжкими страданіями, страшными муками они должны заплатить за то, чтобы добраться до высоть религіозныхъ переживаній, что, утомленные путемъ и долгой борьбой, они не доходять до конца. Подъ бременемъ духовной усталости, часто уносимые волной индивидуализма, религіозные искатели нашего времени--- и среди нихъ прежде всего Толстой-частичку усвоенной ими правды выдають за всю правду, успокаиваются, задерживають другихъ, мѣшають имъ...

Вотъ и говоришь о Толстомъ, какъ о живомъ человѣкѣ... Такъ оно и должно быть! Мы вѣдь имѣемъ право говорить о покойни-

кахъ только потому, что они живы, что своей мыслью о нихъ, своей работой надъ покинутымъ ими дёломъ, мы помогаемъ имъ творить какое-то иное дёло въ иной странё...

Самое характерное въ духовной личности Толстого то, что онъ быль мистикомъ. Той непосредственной интуиціей, которая открываетъ намъ правду, недоступную обычному познанію, онъ угадываль, прозрѣваль и познаваль то, мимо чего проходить современная культура. Въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ своихъ Толстой идеть своимъ путемъ, противополагая шаблоннымъ точкамъ зрънія на жизнь самостоятельно пережитую и прочувствованную имъ правду. Важнѣйшій моменть въ этомъ мистическомъ развитіи Толстого быль тоть, когда онь съ полной ясностью ощутиль призрачность и безпочвенность безрелигіозной жизни. Это, какъ въстно, далось ему очень не рано, послъ долгихъ и мучительныхъ исканій, но зато, переживъ фазу безрелигіозности, не умомъ, а всей полнотой мистическихъ силъ познавъ, что лишь въ религіозныхъ переживаніяхъ человѣкъ обрѣтаетъ твердую почву, Толстой уже навсегда остался религіознымъ человіжомъ. И никто не заподозрить правдивости и искренности его религіозныхъ переживаній: Толстой действительно имель религіозный опыть, въ немь дъйствительно была религіозная жизнь, и недаромъ отъ огня, горѣвшаго въ его сердцѣ, зажглось не мало другихъ сердецъ.

Толстой быль мистикъ. Но его мистическіе запросы, поскольку о нихъ можно судить по внёшнимъ даннымъ, коренились не въ чувстве, а въ уме. Толстому нужно было прежде всего и больше всего понять действительность, осмыслить свою жизнь,—и въ этомъ исканіи смысла жизни пожалуй можно видёть центральное, основное стремленіе его души. Бывають, конечно, иныя мистическія натуры, для которыхъ самое важное не понять и осмыслить жизнь, а найти разрёшеніе тёхъ глубокихъ замысловъ чувства, тёхъ запросовъ его, которые имёють свое начало въ "сердце", но не въ уме. У насъ нётъ основанія думать, что Толстой быль вполне чуждь этимъ мистическимъ запросамъ чувства, но несомнённо, что не они опредёлили его духовную жизнь. Вся его духовная личность сложилась въ работе надъ запросами ума, въ исканіи смысла жизни—и съ естественной неизбёжностью это привело его

къ религіозному міропониманію. Такова логика мистическаго развитія тѣхъ, въ комъ доминирують запросы ума.

Уже въ этомъ вырисовывается для насъ отчасти индивидуальность Толстого. Мы увидимъ въ свое время, что нѣкоторые основные пункты его религіозной системы остались слабо развитыми въ силу указанной его мистической узости. Толстой, правда, нашель для себя разрѣшеніе своихъ мистическихъ запросовъ, но, будучи однобокой, чисто умовой натурой, онъ остался однобокимъ и въ своихъ формулахъ,—а при рѣзкости и даже деспотичности своего ума онъ доходилъ до такихъ крайностей, которыхъ не можетъ простить ему самая широкая терпимость, и которыхъ по истинѣ онъ долженъ былъ стыдиться. Но оставимъ это.

Толстой пришелъ къ религіи, руководимый тѣмъ естественнымъ Богосознаніемъ, которое зажигается въ каждой мистической натурѣ. Отсюда именно и объясняется любопытная черта въ религіозной жизни Толстого: ему совершенно чуждо понятіе Откровенія. Оно было психологически ему не нужно, такъ какъ съ упорствомъ индивидуалиста Толстой признавалъ правду лишь тамъ, гдѣ она выступала какъ самостоятельно пережитой опытъ. Довѣрія къ чужому религіозному опыту,—не говоря уже о той нѣжной любви, которой онъ достоинъ, — Толстой не зналъ и не хотѣлъ знатъ. Эмпиризмъ ап. Өомы воскресъ въ Толстомъ въ душной атмосферѣ индивидуалистической психологіи,—и наложилъ на него печать мрачной и узкой, порой даже вульгарной и грубой, нетернимости къ чужому религіозному опыту.

Мистицизмъ, эмпиризмъ и индивидуализмъ—вотъ основныя черты религіозной личности Толстого. Онъ менѣе всего раціоналисть, хотя онъ упорно претендуеть на это и хотя его любять такъ характеризовать: на самомъ дѣлѣ, раціонализмъ, вырастающій на основѣ мистическихъ переживаній, никогда не чуждается Откровенія. И западное и восточное богословіе оставило намъ много религіозно-философскихъ постросній, опирающихся на Откровеніе, на исповѣданіе Церкви. У Толстого же мы найдемъ раціонализмъ лишь въ отрицательной части его религіозной системы, въ его критикѣ церковнаго христіанства. И кто захочетъ углубиться въ смысль и значеніе этой критики, тотъ увидитъ, что ссылки на разумъ, отрицаніе всего непостижимаго появляются лишь тамъ, гдѣ это нужно Толстому. Его же собственныя религіозныя концепціи

на каждомъ шагу имѣютъ дѣло съ непостижимой реальностью,—
и "раціональнаго", въ строгомъ смыслѣ этого слова, у него почти
нѣтъ и слѣда. Онъ даетъ намъ то, что пережилъ въ собственномъ
мистическомъ опытѣ, не всегда продумывая до конца свои формулы: отсюда и противорѣчія Толстого, съ которыми намъ еще придется отчасти имѣть дѣло. Повторяю, что "раціонализмъ" Толстого
не идетъ дальше ссылокъ на здравый смыслъ тамъ, гдѣ это нужно
ему. Оттого и его критика церковнаго христіанства часто картинна, энергична, но очень рѣдко глубока.

Подлинная сила Толстого въ его мистическихъ переживаніяхъ, и если на это мало обращають вниманія, то въ этомъ много виновать самъ Толстой. Его больше знають въ отрицательныхъ, чвиъ въ положительныхъ его выводахъ, и Толстой много далъ къ этому поводовъ. Онъ больше разрушаль, чемъ созидаль, хотя его подлинная душевная работа совсемъ не требовала того разрушенія, на которое Толстой потратиль столько энергіи. Знаете ли вы такую картинку? Когда въ храмъ бываетъ тъсно, иные люди, чтобы охранить себя отъ толчковъ и опасности задохнуться, начинають сами работать локтями и толкать другихъ. Да простится мить это грубое сравнение, но оно невольно приходить мить въ голову, когда я думаю о томъ противоречіи у Толстого, которое такъ больно всякому религіозному человѣку. Толстой нерѣдко съ подкупающей теплотой зоветь нась на высоты религіозныхъ переживаній, но сколько и злого, жестокаго, ненужнаго издівательства надъ церковнымъ христіанствомъ содержатъ его писанія! Толстому тёсно въ Церкви, душно,-и воть онъ толкаетъ другихъ, чтобы самому выбраться на свѣжій воздухъ... Грустно, грустно думать объ этомъ. Признаюсь, сколько я ни думаль, въ чемъ корни той ненависти и злобы, которая часто слышится въ его речахъ противъ церковнаго христіанства, я никогда не могъ понять ихъ. Я глубоко сознаю, что Толстому было душно въ Церкви, я понимаю, что онъ пытался индивидуально прочувствовать, индивидуально апперцепировать ученіе Христа;—я поняль бы и критику, поняль бы ръзкость и остроту его гива, но злобы и преднамъреннаго, грубаго издівательства—напримірь надъ таинствами—не могу понять. Пусть мистика таинства казалась ему обманомъ. Но какъ онь могь забыть или пройти мимо тёхь, для кого эти таинства являются источникомъ глубочайшихъ переживаній? Какъ могла

подняться его рука, чтобы написать то, что жестокой, мучительной болью отозвалось во многихъ сердцахъ? И эту боль нанесла та рука, которую такъ хотвлось любить!... Да простить ему Господь.

Тайна нашей религіозной жизни не въ однихъ мистическихъ переживаніяхъ, но еще и въ томъ довъріи къ чужому религіозному опыту, въ той любви къ нему, которая связываетъ вёрующихъ въ Церковь. Всякое религіозное сознаніе церковно по своей психологической природѣ (что видно и на примѣрѣ самого Толстого, создавшаго свое особое понятіе о Церкви),-и индивидуальный религіозный опыть всегда должень быть восполняемь Церковью. Каждый изъ насъ можетъ и долженъ свободно притти къ Богу,--своимъ путемъ, такъ какъ каждый изъ насъ есть новое событіе, новый факть въ религіозной сферв; каждый изъ насъ долженъ индивидуально апперцепировать всю полноту религіозной реальности, но эта индивидуальная апперцепція лишь тамъ находитъ свое истинное осуществленіе, гдѣ она восполняется церковнымо религіознымъ опытомъ. И какъ странно, что Толстой, доводившій до крайности свое ученіе о подчиненіи личности общечеловівческому дѣлу, ограничиль его лишь этической областью, а въ сферѣ религіознаго познаванія не преодольль индивидуализма и остался его рабомъ!...

Я хочу проанализировать постановку и рѣшеніе проблемы безсмертія у Толстого. Кто знаеть религіозную систему Толстого, тоть знаеть, какое мѣсто въ религіозныхъ его переживаніяхъ занимаеть проблема смерти и безсмертія. Я хочу отдѣлить у Толстого глубокое отъ поверхностнаго и надѣюсь показать, что въ церковномъ ученіи Толстой нашель бы завершеніе тѣхъ выводовъ, которые онъ извлекъ изъ своего мистическаго опыта.

Чтобы подойти къ тому, какъ ставилъ и рѣшалъ Толстой проблему безсмертія, мы должны отмѣтить, что къ религіозному міропониманію онъ пришелъ тогда, когда понялъ, что жизнь можеть имѣть смыслъ лишь въ томъ случаѣ, если этотъ смыслъ не отрицается и не погашается смертью. Ярко рисуетъ намъ Толстой въ своей "Исповѣди" то мучительное состояніе, когда онъ сбросилъ сладкій обманъ погруженности въ себя, когда смерть и безсиліе

человѣка раскрыли передъ его сознаніемъ бездну, поглощающую всякую жизнь. Реальность видимаго міра, реальность чувственныхъ и жизненныхъ радостей потускнѣли при свѣтѣ смерти; нравственная дѣятельность потеряла всякій смыслъ, когда стала проблематичной реальная устойчивость того, что создаетъ эта дѣятельность. Толстой мистически ощутилъ необходимость преодолѣть смерть, почувствовалъ, что дѣятельность человѣка, лишенная связи съ непреходящей реальностью, теряетъ свою цѣнность; лишь тѣ цѣли могутъ отнынѣ зажечь его волю, которыя въ своемъ осуществленіи становятся выше смерти, выше времени.

Перспективы неуничтожаемой, неподчиненной смерти и времени жизни-воть чего жаждала душа Толстого. Основной вопрось, опредълившій все дальнъйшее мистическое развитіе Толстого, быль таковъ: есть ли въ человѣкѣ связь съ безконечнымъ? И пока Толстой не пережиль религіознаго кризиса, пока онь не почувствоваль непререкаемую реальность Бога, этотъ вопросъ лишь раздражаль его, лишь мутиль его душу. Внѣ религіознаго міропониманія не могла быть ни поставлена, ни решена загадка о смысле жизни; въры въ Бога, въры въ то, что кромъ чувственной и временной реальности, есть высшая, не подлежащая уничтоженію реальность, требовала его душа. И Толстой нашель въру, пережиль глубокій религіозный опыть, ощутиль Бога,—и этоть новый опыть даль ему возможность существовать. Новая жизнь, которая зародилась въ немъ отъ этой въры въ Бога, состояла въ томъ, чтобы найти связь съ Богомъ, которая сообщила бы его жизни непреходящій смысль. И хотя Толстой на этомъ пути пошель за Христомъ, но и ученіе Спасителя и Его личность онъ поняль по своему, въ свътѣ тѣхъ религіозныхъ переживаній, которыя были ему доступны. Толстой не присоединился къ Церкви въ ея пониманіи жизни и ученія Спасителя, но, по своему понявъ Евангеліе, вступиль даже въ горячую и ожесточенную борьбу съ "церковнымъ христіан-CTBOME".

Проблема безсмертія въ общехристіанскомъ исповѣданіи всегда имѣла одно рѣшеніе. Согласно опредѣленнымъ словамъ Спасителя, соотвѣтственно Евангельскимъ фактамъ, вся Церковь христіанская вѣруетъ въ безсмертіе личности, въ грядущее возстановленіе цѣльнаго человѣка, въ воскресеніе плоти. Это дивное откровеніе, разрѣшающее всѣ мучительные, тревожные запросы нашего чувства сворникъ.

и ума, дѣлаетъ человѣка отвѣтственнымъ за его жизнь, придаетъ смысль бытію его какъ личности, зоветъ его къ церковному общенію въ любви и мирѣ. Въ немъ—наша главная надежда, въ немъ дѣйствительное спасеніе наше; оно неизсякаемый источникъ нравственныхъ и религіозныхъ переживаній...

Какъ же Толстой понимаетъ это ученіе Спасителя? Вотъ что мы читаемъ въ трактатв "Въ чемъ моя ввра": "никогда Христосъ не только ни однимъ словомъ не утверждалъ личное воскресеніе и безсмертіе личности за гробомъ, но и тому возстановленію мертвыхъ въ царствъ Мессіи, которое основали фарисеи, придавалъ значеніе, исключающее представленіе о личномъ воскресеніи". "Христосъ, читаемъ дальше, встрътившись съ върованіемъ временнаго, мъстнаго и плотскаго воскресенія, отрицаеть его и на мъсто его ставить Свое ученіе о возстановленіи вічной жизни въ Богі 1)". Онъ говоритъ: "возстановленіе изъ мертвыхъ бываеть не плотское и не личное... соединяясь съ Богомъ, достишие возстановленія изъ мертвых, перестають быть личностями". И дальше: "Христосъ учить спасенію от жизни личной". Совершенно отрицая воскресеніе плоти (см. особенно різкія и грубыя слова объ этомъ въ "Крит. догм. богосл."), Толстой слёдующимъ образомъ разъясняетъ свое пониманіе ученія Христа.

Христосъ, по толкованію Толстого, противополагаеть личной жизни не загробное существованіе,—а жизнь общую, связанную съ жизнію всего человѣчества, "жизнь сына человѣческаго" 1). Кто исполняеть заповѣди Христа, жизнь того переносится въ "сына человѣческаго" и такимъ образомъ становится вѣчной, не подлежащей смерти. По ученію Христа, какъ его толкуеть Толстой,

<sup>1)</sup> Последнія слова очевидно нужно понимать въ томъ смысле, что возстановленная въ Боге жизнь будеть вечной, а не въ томъ, что вычная жизнь будеть возстановлена, что было бы грубымъ противоречіемъ.

<sup>1)</sup> Понятіе "сына человівческаго" то сливается у Толстого со всімъ человівчествомь, вы его прошломь, настоящемь и будущемь, то иміветь смысль Платоновской идеи "человівчества" вообще; вы однихы случаяхь оно мыслится какъ духовный организмь, то просто, какъ "общее всімь людямь стремленіе къ благу", то какъ разумь, тождественный у всіхъ людей. Ни точности, ни опредівненности это понятіе не иміветь, что объясняется его случайностью вы религіозной системів Толітого, который пользовался этимь понятіемь, когда было ему нужно.

безсмертны не отдъльныя личности, а человъчество, сознавшее себя "сыномъ Божіимъ",—оно восторжествуеть надъ всёми и будетъ возстановлено въ Богъ.

Дальше Толстой замѣчаетъ: "вѣрованіе въ будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представленіе, свойственное всѣмъ дикимъ народомъ... и вошедшее со стороны въ церковное ученіе". "Можетъ быть ученіе о вѣчной личной жизни и справедливѣе, замѣчаетъ, противорѣча себѣ, Толстой, но это представленіе, навѣки закрѣпляющее личность, не соотвѣтствуетъ ученію Христа, учившаго объ отреченіи отъ личной жизни и перенесеніи ея въ жизнь "сына человѣческаго". Наконецъ вотъ строки, дающія ключъ ко всему этому толкованію: "въ томъ, что моя личная жизнь погибаетъ, а жизнь всего міра по волѣ Отца не погибаетъ и что одно только сліяніе съ ней даетъ мнѣ возможность спасенія, въ этомъ я уже не могу усомниться. Но это такъ мало въ сравненіи съ возвышенными религіозными вѣрованіями въ личную будущую жизнь! Хоть мало, но върно" 1).

Уже изъ этихъ немногихъ словъ ясно, что то, что мы узнали о безсмертіи, есть не ученіе Христа, а собственное ученіе Толстого-"хоть малое, но вѣрное". Толстой, какъ видимъ, составилъ себѣ свое особое представление о сущности безсмертия и согласно своему общему стремленію передёлывать ученіе Христа такъ, какъ это ему нужно, онъ допускаеть произвольное толкование словъ Спасителя и вводить понятіе безсмертія сына человіческаго, которое впрочемъ вводится имъ мимоходомъ, нигдъ имъ не разработано-и въ дальнъйшемъ развитіи религіозной системы Толстого не сыграло никакой роли (особенно см. его позднейший трактать "Христіанское ученіе"). Понятіе это было введено Толстымъ лишь для того, чтобы спасти свое отрицаніе личнаго безсмертія и воскресенія плоти, чтобы отстоять свое толкованіе ученія Спасителя о вічной жизни,---и это и показываеть намь, что Толстой въ своей релид гіозной систем в опирался исключительно на собственный религіозный опыть, а изъ Евангелія браль то, что соотвѣтствовало этому опыту. Не безпристрастное изследование и изучение Евангелія

<sup>1)</sup> Изложеніе наше представляєть или точное воспроизведеніе или самую близкую перефразировку словь Толстого изъ трактата "Въ чемъ моя въра", 3-е изд. Посредника, стр. 105—118.

опредѣлило религіозную мысль Толстого, а та индивидуальная апперцепція Евангелія, которая сложилась у него подъ вліяніемъ лично пережитого опыта. Что это такъ, въ этомъ убѣждаетъ насъ все дальнѣйшее развитіе религіознаго творчества Толстого, которое есть несомнѣнно глубокая, самостоятельная попытка создать религіозную систему безъ Откровенія. Основной замыселъ Толстого совпадаетъ поэтому съ тѣми попытками построенія "естественной религіи", которыя характеризуютъ внѣхристіанское религіозное сознаніе. Толстой какъ бы продолжаетъ работу, начавшуюся въ различныхъ религіозныхъ умахъ, и для него ученіе Христа есть одинъ изъ источниковъ религіозной правды, но вовсе не единственный.

Не будемъ смущаться решительностью заявленій Толстого о томъ, что Христосъ, никогда" не училъ о личномъ безсмертіи, оставимъ на время обычное пониманіе ученія Спасителя, но спросимъ себя, чему же учить, по Толстому, Христось? Разбираясь въ этомъ вопросѣ, мы отчетливо чувствуемъ, что ученіе Христа, въ истолкованіи Толстого, не можеть быть понято безь общей религозной системы самого Толстого. То неопредёленное ученіе о безсмертін, съ которымъ мы только что познакомились, и которое Толстой приписываеть Христу, станеть намъ понятнымъ лишь при углубленіи въ религіозный опыть Толстого. Поэтому мы и оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о правильности толкованія Евангелія Толстымъ и обращаемся къ характеристикъ его ученія о безсмертіи, къ его религіозному опыту. Не Толстой, какъ истолкователь христіанства, интересуеть меня здёсь, а Толстой, какъ религіозный мыслитель. Я хочу выяснить, почему Толстой пришель къ тому оригинальному толкованію ученія Спасителя, съ которымъ мы только что познакомились? Какіе мотивы легли въ основу его ученія о безсмертіи? И если намъ удастся показать, что и собственный религіозный опыть Толстого не вміщался въ рамки его теоріи безсмертія, то эта внутренняя безпочвенность его ученія ясно обнаружить, насколько оно было далеко оть глубокаго ученія Христа, насколько онъ быль произволенъ въ своемъ толкованіи.

Въ человѣкѣ, какъ и во всемъ конкретномъ, таинственно, неизслѣдимо сплетается индивидуальное и общее, своеобразное и универсальное. И то и другое безпредѣльно въ своемъ содержаніи, и то и другое одинаково реально, неразрывно связано между собой.

Но общее, универсальное мы скоръе замъчаемъ, мы легче познаемъ, индивидуальное же не всеми усваивается во всей своей полноть. Можно быть мистически очень чуткимъ къ человъческой душѣ,-и отзываться лишь на то, что есть въ мірѣ и въ человѣкѣ неиндивидуальнаго, общаго. Какъ разъ именно тѣ люди, въ которыхъ на первый планъ выдвигаются мистическіе запросы ума, останавливаются на томъ, что повторяется у всёхъ, на той искрѣ Божіей, которая просвѣчиваеть во всемъ живомъ. Пантеизмъ, чувство божественности, разлитой во вселенной, прозрѣніе Бога во всемъ, Имъ созданномъ, —вотъ вершина этой мистической апперцепціи дійствительности. Для людей этого склада индивидуальность есть лишь форма проявленія высшаго начала, лишь случайное условіе для существованія того общаго, что есть въ ней. Индивидуальное не воспринимается какъ неотъемлемая, неистребимая и въчная сторона жизни; лишь то, что познается повторяющимся во всемъ индивидуальномъ и потому какъ бы независимымь отъ своей формы, предстаеть имъ какъ истинная, вѣчная реальность. Яркій псторическій примірь такого воспріятія дійствительности являеть намъ Платонъ въ своемъ ученіи о томъ, что истинная реальность принадлежить не индивидуальному, а общему ("идеямъ").

Есть однако и другое отношеніе по дъйствительности, которое признаєть полную реальность индивидуальнаго и утверждаєть его непреходящую цѣнность. Но въ живомъ переживаніи реальность и цѣнность индивидуальнаго доступна лишь тѣмъ, кто способенъ къ глубокому чувству, у кого душа полна мистическихъ запросовъ сердца. Кто подлинно любилъ что нибудь живое, тотъ знаєть, что дорого ему именно индивидуальное, свособразное, а совсѣмъ не тѣ "общія" черты, которыя встрѣчаются у другихъ. Сознаніе цѣнности индивидуальнаго какъ такового есть первая ступень въ приближеніи нашемъ къ нему, есть первое проникновеніе въ его тайну, и хотя насъ радуетъ въ индивидуальномъ все "доброе", "прекрасное", "глубокое", т.-е. черты, сближающія его съ другими индивидуальностями, но все же дорога намъ именно эта, несравнимая, незамѣнимая индивидуальность.

Индивидуальное въ людяхъ поэтому столь же реально, какъ и общее, но объ эти стороны конкретнаго бытія могутъ постигаться раздъльно. Одни изъ насъ больше чувствують непреходящее зна-

ченіе универсальнаго, другіе (напр. всѣ эстетически воспринимающіе міръ), наобороть, въ индивидуальномъ чувствують глубочайшую реальность.

Обращаясь къ Толстому, мы замѣчаемъ, что ему почти совершенно было чуждо сознаніе цѣнности индивидуальнаго. Мы говоримъ "почти", такъ какъ нельзя сказать, что Толстой никогда не зналъ этого чувства. Оно однако сыграло очень небольшую роль въ работѣ его религіозной мысли и лишь внесло въ нее противорѣчія.

Будучи тонкимъ психологомъ, Толстой глубоко чувствовалъ универсальное въ человѣческой душѣ, но ея своеобразное, неповторимое мало останавливало его вниманіе. Въ результатѣ долгаго и глубокаго проникновенія въ душевную жизнь, онъ создалъ свою особую теорію души, которая какъ бы кристаллизуетъ въ формулахъ то, что выдвигалось его мистическими переживаніями.

Исходнымъ пунктомъ для Толстого было то, что онъ обобщилъ подъ названіемъ "истинной жизни въ человѣкѣ". Понятіе это этическаго корня и восходить оно къ тому факту, что человъкъ стремится съ одной стороны къ "личному" благу, съ другой стороны къ "общему" благу. Невозможность этически удержаться на жизни ради личнаго блага 1) показала Толстому, что путь служенія другимъ открываетъ болъе реальныя перспективы нравственной дъятельности. Отречение отъ личнаго блага дало Толстому возможность почувствовать ценность "чужого", общаго блага, — и для него, въ предълахъ его собственнаго сознанія, раскрылась новая, глубокая жизнь. Эта новая жизнь какъ бы реализовала тяготъніе къ безличному, которое издавна было свойственно Толстому (особенно характерна въ этомъ отношеніи фигура Каратаева въ "Войнѣ и Мирѣ"); для Толстого открылись новыя переживанія, открылась реальность и ценность неличнаго, универсальнаго, стало возможно погружение въ жизнь человъка: Толстому сталъ доступенъ новый и своеобразный міръ, не имівшій связи съ чувственной

<sup>1)</sup> Сознаніе этой невозможности далось Толстому въ результать тяжелаго и труднаго процесса. До конца дней его въ немъ изрѣдка просыпалась тоска по индивидуальному "счастью", что невольно чувствуеть читатель, когда встрѣчаеть рѣчи о "недостижимости" индивидуальнаго счастья, о которой такъ часто, съ невольной горечью говорить Толстой.

реальностью, міръ добра. Въ этомъ мірѣ не царствуетъ время,—и какъ мы можемъ раскаиваться въ поступкв, который давнымъ давно забыть всёми, и слёды котораго давно исчезли, такъ вообще новая духовная жизнь носить не относительный, а безусловный характеръ, не подчинена времени и не считается съ нимъ. Отрываясь отъ погруженія въ свою личность, мы такимъ образомъ открываемь вь себв возможность новой жизни-служенія добру, и поскольку это служеніе опредёляется не чувствами, а разумомъ, поскольку мы опредёляемся въ своей нравственной дёятельности не тымь, что намь дорого и пріятно, а чистой идеей добра, мы сознаемъ себя неподчиненными времени. Добро никогда не перестаеть быть добромь, оно не можеть быть добромь сегодня, а зломъ завтра-и въ этомъ смыслѣ оно стоитъ внѣ времени. Вотъ почему и та нравственная жизнь, въ которой мы подымаемся надъ нашей личностью, связана съ особымъ переживаніемъ внъвременности. И не только содержание добра имъетъ свою цънность независимо отъ времени, но и наша дъятельность, посвященная осуществленію этого добра, пріобрѣтаеть цѣнность, не подчиненную времени. Такимъ образомъ, среди потока переживаній наша нравственная жизнь, поскольку она опредъляется чистой идеей добра, возвышается особымъ, присущимъ ей характеромъ внѣвременной цѣнности и этимъ отделяется отъ нихъ.

Новая жизнь, развивающаяся съ пробужденіемъ разумнаго сознанія, указаннымъ переживаніемъ безусловности, внівременности рѣзко отдѣляется отъ всего потока душевныхъ переживаній, настолько ръзко, что Толстой даже отказывается выводить одну изъ другой. Когда человъкъ пробудится для разумной жизни, въ немъ какъ бы рождается новое существо съ своими особыми законами. Законы этой новой жизни, возникающей въ предвлахъ личности, состоять въ томъ, что новая жизнь не имъетъ никакою отношенія ко времени и ко всему тому, что связано съ временемъ, что она опредъляется не тъмъ, что несеть радость одному или другому человѣку, а тѣмъ, что включаеть въ себя всо человѣчество. И если обычная душевная жизнь есть, такъ сказать, функція личности, такъ какъ главное ся содержаніе опредъляется личными замыслами и потребностями, то новая жизнь уже не имфеть въ себъ чертъ личности, такъ какъ ея содержание составляетъ общее благо, общее добро. Субъектомъ этихъ новыхъ переживаній уже

не является прежняя личность; новое "я", внѣвременное, не личное, должно быть опредѣлено въ иныхъ терминахъ.

Здёсь, въ этомъ ученіи, и заложенъ ключъ къ огромной части религіознаго творчества Толстого. Мистически переживъ внівременный характеръ разумно-нравственной жизни, Толстой выдылиль эту жизнь изъ общаго потока личнаго бытія, придаль ей характеръ самостоятельности и непроизводности и въ ней усмотрѣлъ "истинную", реальнъйшую жизнь. Внъвременный характеръ этой жизни совершенно отдъляеть ее оть того, что зовемъ мы душой; новая духовная жизнь по самому существу, по основному своему признаку, не подлежить времени, т. е. въчна. Проблема, поставленная Толстымъ, въ сущности, решена. Человекъ обретаеть въ самомъ себъ безконечное, въчное, внъвременное бытіе, обрѣтаетъ реальную опору, реальный путь существованія. Ни вихрь времени, ни власть смерти не касаются этой жизни; поднявщись до нея, отказавшись отъ такъ называемаго личнаго блага, мы обрътаемъ новую радость; вся тревожная борьба за счастье свое или близкихъ не имъетъ мъста на этихъ высотахъ. Разумная жизнь, опредъляемая чистой идеей добра, пріобщаеть нась нь вычности и даеть намъ глубокое, неотнимаемое блаженство.

Все это было для Толстого не идеей, а фактом, глубоко пережитымь имь. Его жизненный кризись состояль въ томь, что ему раскрылся этоть факть,—и все для него теперь освътилось иначе. Возможность новой, истинной, въчной жизни, дъйственное пріобщеніе къ Богу, которое непосредственно связано съ ней—воть основа, на которой строиль Толстой всю религіозную систему, исходя изъ которой онь толковаль христіанство.

Извлечемъ же выводы, которые слѣдовали непосредственно изътой формулы, въ которую Толстой облекъ свое мистическое переживаніе внѣвременныхъ моментовъ душевной жизни.

Какъ рисуется намъ человъкъ въ свъть новаго факта?

"Человѣкъ находить въ себѣ, говорить Толстой <sup>1</sup>), три различныхъ отношенія къ міру: одно отношеніе своего разумнаго сознанія, другое отношеніе своего животнаго и третье отношеніе ве-

<sup>1)</sup> Наше изложеніе покоится главнымь образомь на трактать "О жизни", 2-е изд. Посредпика.

тества, входящаго въ тѣло его животнаго 1). Эти три отношенія, и особенно первое и второе, не находятся съ зенетической и существенной связи: въ то время какъ отношеніе животнаго, составляющее такъ называемую душевную жизнь, подчинено времени и пространству, отношеніе разумнаго сознанія не подчинено имъ. Единственная связь его съ временемъ и пространствомъ состоитъ въ томъ, что оно въ нихъ обнаруживается, такъ какъ душа есть орудіе, которымъ пользуется разумное сознаніе. Поэтому высшая жизнь, открывающаяся въ человѣкѣ, сама по себѣ не имъетъ ни начала, ни конца, хотя и начало и конецъ имѣютъ и должны имѣтъ тѣ условія, въ которыхъ она открывается. Нельзя поэтому сказать, что высшая жизнь рождается изъ низшаго, личнаго сознанія отношеніе высшаго и низшаго сознанія, разумнаго и животнаго есть отношеніе художника къ матеріалу работы, работника къ орудію.

Здѣсь на землѣ внѣвременное, непространственное разумное сознаніе связано съ животной личностью, связано съ тѣломъ. Но есть ли въ этой связи что-нибудь метафизически неразрывное? Нѣтъ, отвѣчаетъ Толстой. Смерть тѣла неизбѣжна, неизбѣжна гибель животной личности, содержаніе которой исключительно опредѣляется ея связью съ тѣломъ; разумное же сознаніе, по самой природѣ своего бытія, не можетъ быть ограничено ни временемъ, ни пространствомъ. Такимъ образомъ нѣтъ принципіальной, метафизически стойкой связи между тѣми формами бытія, которыя мы находимъ въ человѣкѣ. Скорѣе непонятно, какъ разумное сознаніе соединено съ животной личностью, чѣмъ возможно утверждать ихъ принципіальную, неразрывную связь. Вотъ почему Толстой отвергаетъ воскресеніе плоти.

Чистьйшій спиритуализмъ въ характеристикь высшаго бытія, открывающагося въ человькь, не быль для Толстого выводомъ, идеей, онъ быль для него формулой, вытекающей изъ его непосредственнаго, мистическаго опыта. Прочтите внимательно трактатъ "О жизни", и вы убъдитесь, что, отрывая разумное сознаніе отъ душевной жизни, отъ тьла, Толстой говориль лишь то, что находиль въ живомъ переживаніи. Быль ли Толстой правъ въ самомъ пе-

<sup>1)</sup> Этоть тройственный составь человька лишь приблизительно совпадаеть сътьмь, о чемь учила психологія Отцовь Церкви (духь, душа, тыло).

реживаніи своемъ, не быль ли онъ въ немъ узокъ, объ этомъ мы поговоримъ впослёдствіи.

Обратимся снова къ разумному сознанію, постараемся психологически его характеризовать. Напомнимъ, что его основное содержаніе выполняется универсально этической дѣятельностью, опредѣляется чистой идеей добра. Есть ли это разумное сознаніе рядъ несвязанныхъ между собой универсально-этическихъ переживаній, или же они связаны съ какимъ-нибудь центромъ? Иначе говоря, присущъ ли этому высшему сознанію, этой истинной и вѣчной жизни, порой въ насъ зажигающейся, характеръ самостоятельнаго бытія, или она мыслима лишь въ связи съ душевной жизнью? Лична, или безлична она, одиа и та же во всѣхъ людяхъ, или въ каждомъ своя? Есть ли эта "высшая жизнь" самое подлинное въ нашей индивидуальности, самое индивидуальное въ ней, ея ядро и центръ, или она есть частица Божества, его ипостась, его частичная реализація, его проявленіе въ насъ?

Эти вопросы существенны и неустранимы для того, кто хочеть мыслить ясно и последовательно; не могь ихъ избежать и Толстой. Но въ его личныхъ мистическихъ переживаніяхъ, блёдныхъ именно съ этой стороны, онъ находилъ мало матеріала, къ тому же и противоръчиваго. Высшее разумное сознаніе переживалось Толстымъ лишь въ его этической сторонв, т.-е. какъ разумно этическая дъятельность и непосредственное, хотя и не опредъляемое разумомъ, но все же безличное чувство любви. Содержание высшей жизни открывалось Толстому лишь въ универсальной, безличной окраскъ, -- невольно это переносилось и на самую основу высшей жизни. Но были у Толстого и иныя переживанія. Съ той же непобъдимой силой, съ какой онъ чувствовалъ универсальное въ человѣкѣ, въ себѣ, онъ чувствовалъ порой и метафизическую стойкость индивидуальности. Но эти переживанія принадлежать уже къ позднѣйшему періоду религіозной жизни, когда Толстой опредълился въ своемъ отношеніи къ христіанству, —и оттого они не оказали вліянія на его философію религіи. Явившись слишкомъ поздно, они такъ и остались одиночными и безплодными. Пантензмъ и универсализмъ въ Толстомъ былъ первоначальной и прочно залегшей концепціей, —и въ ней растворялась индивидуальность, въ ней исчезало все личное, особенное, и если загадка индивидуальности оставалась для него всегда загадкой, часто очень мучительной, то это было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ узости тѣхъ формулъ, къ какимъ пришелъ раньше Толстой.—Переходя къ болѣе подробному анализу затронутыхъ вопросовъ, остановимся сначала на элементахъ пантеизма у Толстого.

Выдѣленіе разумнаго сознанія изъ общаго потока душевной жизни, сгущеніе его въ особую "высшую жизнь" основывалось, какъ мы видели, на чувстве вневременности некоторыхъ переживаній; все же, что подчинено времени и ограничено имъ, тѣмъ самымь не входить въ составъ высшей жизни, открывающейся въ человъкъ. Уже отсюда видно, что высшая жизнь какъ бы непроизводна, такъ какъ ея основной признакъ не есть ни развитіе, ни видоизмѣненіе того, чѣмъ характеризуется душевное бытіе личности. Эта невыводимость "высшей жизни" изъ душевной жизни личности не устраняется, а подкрѣпляется, по Толстому, существованіемъ какъ разъ именно обратной зависимости. Тѣлесная и душевная жизнь отдёльнаго человёка только вёдь потому и переживаются нами какъ наша единая и цёльная жизнь, что они одушевлены разумнымъ "я", придающимъ имъ характеръ цѣлостности и стойкости. На эту тему о непроизводности и изначальности разумнаго "я", о его значеніи для самосознанія написаны Толстымъ блестящія и превосходныя страницы (см. трактатъ "О жизни", особенно стр. 125—131). Начало индивидуальности реализуется впервые лишь благодаря разумному "я", которое возвышается надъ потокомъ бытія, ши безъ него индивидуальность была бы пустымъ, безсодержательнымъ понятіемъ. Фактъ индивидуальности, какъ видимъ, Толстой сознавалъ во всей его глубинъ и объемѣ, но какъ только онъ переходитъ къ ближайщему анализу этой высшей жизни, составляющей, по его собственному признанію, ядро и основу индивидуальности 1), такъ его мысль, конечно, подъ вліяніемъ этическаго универсализма, соскальзываетъ въ плоскость безличнаго, поглощающаго индивидуальность пантеизма. То, что является самой сутью, основой, началомъ индивидуальности въ мірѣ явленій, въ мірѣ пространства и времени,—внѣ ихъ оказывается лишеннымъ характера индивидуальности. Почему? Потому, что содержание этого разумнаго "я" понималось Толстымъ исключительно этически.

<sup>1)</sup> См. напр. "О жизни", стр. 128

"Существо, открываемое человъку его разумнымъ сознаніемъ, читаемъ мы въ трактатъ "Христіанское ученіе", есть желаніе (!) блага, относимое не къ чему-либо отдъльному, а ко всему существующему". Сначала человъкъ относить это желаніе блага къ самому себъ, къ своему тълу, но съ ростомъ разумнаго сознанія онъ понимаеть, что "истинное "я" человъка есть не его тъло, а желаніе блага въ самомъ себѣ, желаніе блага всему существующему". Хотя этому признаку истинной жизни съ одной стороны и присущь характерь индивидуальности ("своеобразія"), такъ какъ это желаніе блага желается не само собой, а "разумнымъ я", но въ то же время это разумное "я" не можетъ быть, по Толстому, охарактеризовано какъ личность, какъ отдёльная, несравнимая и своеобразная индивидуальность. Толстой всюду ръзко противополагаетъ понятіе личности понятію разумнаго "я" (это одна изъ коренныхъ, до утомленія повторяемыхъ имъ мыслей) и даже предостерегаеть оть рокового заблужденія, возникающаго при смішеніи ихъ ("О жизни", стр. 74). Личность, по его мнѣнію, есть ограниченіе, — а та безграничная, не знающая конца и предѣла жизнь, которую мы находимъ въ разумномъ "я", не можетъ поэтому быть охарактеризованной, какъ жизнь личная. -- Здёсь несомнѣнно сказывается философская близорукость Толстого. Способность выходить за предёлы себя и усваивать универсальное содержание отличаеть не одну лишь этическую, но и теоретическую и эстетическую сферу души, --- но это не устраняет понятія личности изг психологіи. Въ предълахъ "низшей: душевной жизни, въ предълахъ личной, индивидуальной души есть много моментовъ выхода за предълы личности, но это содержание переживаний не отрываеть ихъ отъ личности, какъ субъекта и основы ихъ, не даеть права выдёлять ихъ въ особую, а тёмъ болёе непроизводную жизнь. Разумъ съ его общеобязательными сужденіями и цінностями, съ присущей ему безусловностью продолжаетъ все-таки принадлежать той же психической системв, которую зовемь мы личностью. Въ томъ и состоитъ метафизическая и психологическая тайна личности, что, осуществляя въ потокѣ своего личнаго бытія универсальныя цінности, она не перестаеть оть этого быть личностью, индивидуальностью. Для Толстого же вопросъ стоялъ упрощенные: усмотрывь универсальное, общечеловыческое содержаніе разумнаго сознанія, онъ выдёлиль его изъ состава личности, сгустиль его въ особую жизнь,—и оно у него конечно потускивло, стало безличнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что это за "желаніе блага", если нѣтъ субъекта, который его переживалъ бы? Если этимъ субъектомъ признать разумное "я", то приходится признать тождество этого разумнаго "я" во всѣхъ людяхъ.

Пришлось этотъ шагъ сдѣлать и Толстому. Сначала для него разумное "я", совпадающее у всёхъ людей, сливалось съ понятіемъ "сына человъческаго", бывшаго для него реальнымъ носителемъ разума; но потомъ это понятіе исчезло у Толстого, и его мысль шагнула дальше. Разумное "я", открывающееся въ человѣкѣ, по своему содержанію не только тождественно у всѣхъ людей, но оно совпадаеть и съ темъ, что есть въ Высшемъ Существъ-въ Богъ. Этотъ ходъ мыслей, непосредственно приводящій къ пантеизму, быль неизбіжень для Толстого, разь онъ отрываль разумное сознаніе оть личности. Воть что дійствительно мы читаемъ въ трактатъ "Христіанское ученіе": "Существо 1), которое открывается человъку его сознаніемъ (самосознаніемъ В. З.), рождающееся (!) существо есть Богъ". Такимъ образомъ "человъкъ въ своемъ отдъльномъ тълъ 2) сознаетъ духовное и нераздъльное (?) существо Бога". Вотъ еще отрывокъ изъ метафизики Толстого, чрезвычайно напоминающій стоиковъ: "причина, которая для какихъ - то недоступныхъ человъку цълей, заключила себя-желаніе блага всему существующему, любовь-въ отдёльныя существа, — есть тот же Богь, котораго человъкь сознаеть въ себъ". Такова пантеистическая метафизика Толстого. Выдъленіе внъвременныхъ и универсальныхъ переживаній, сгущеніе ихъ въ особую жизнь, сначала безличную ("желаніе блага, желаемое само по себъ"), подыскание потомъ субъекта для этой высшей жизни, который оказывается общимь у всёхъ людей, признаніе "сына человъческато", какъ реальнаго носителя этого универсальнаго разума, перенесеніе этого субъекта въ Бога и наконецъ признаніе, что Богъ, Единое духовное существо, "разделилось", раздробилось

<sup>1) &</sup>quot;Высшая жизнь", выделеніе которой мы только что описали, сгущается здёсь уже въ "существо".

<sup>2)</sup> Читатель могь бы заключить, что принципь индивидуальности, по Толстому, данъ въ матеріи, въ тёлё, но напомню ему совсёмъ иныя, поистинё глубокія страницы, цитированныя уже нами. (Изъ трактата "О жизни").

въ отдѣльныя души—таковы этапы философской работы Толстого, скрывающейся за его религіозными формулами...

Теперь въ свътъ философіи Толстого понятно его ученіе о безсмертіи, поскольку оно опредёлялось только что развитымъ строемъ мыслей. Богъ, проявляющійся въ разумномъ сознаніи каждаго, есть Богь раздълившійся (буквальныя слова Толстого); Безсмертный, сдёлавшись смертнымъ, т.-е. проявляясь въ условіяхъ, подчиненныхъ смерти, постепенно все шире раскрывается въ человъкъ, -- и когда ему становится тъсно въ предълахъ личности, эти условія исчезають, человікь "умираеть", а та высшая жизнь, которая раскрылась въ немъ, продолжаетъ развиваться въ другихъ формахъ 1). Истинная разумная жизнь вѣчна, безсмертна, безконечна, такъ какъ она и есть Богъ, источникъ всего живого, внъвременная сущность. Безсмертіе поэтому не связано съ личностью, оно безлично: безсмертно въ насъ разумное сознаніе, которому не можетъ быть приписанъ признакъ личности, безсмертна въ насъ любовь ко всему живому, тоть универсальный разумь, который можеть раскрыться въ насъ. Если же не можеть быть признана безсмертной вся личность человѣка, такъ какъ субъектомъ безсмертія является тождественный во всёхъ людяхъ Разумъ, то тёмъ менъе можно говорить о возстановлении тъла, о его воскресении. Личность есть преходящая форма проявленія Бога, и лишь это пріобщеніе къ Богу черезъ разумную жизнь и даетъ право каждому индивидуально искать безсмертія. Но если безсмертіе не касается личности, то самый замысель безсмертія, та тоска и тревога, которыми ознаменовывается пробуждение разумной жизни, личны, индивидуальны? Да, безсмертіе есть проблема личности-съ этого началь и съ этого никогда не сходиль Толстой; но въ своемъ увлечении пантеизмомъ онъ призналъ безсмертнымъ то, что въ личности выступаетъ какъ безличное, универсальное, божественное.

Мистикъ универсализма,—вотъ кѣмъ выступаетъ передъ нами въ этомъ своемъ ученіи Толстой. Но не будемъ пока критиковать и дополнять его: предоставимъ это ему самому. Толстой былъ

<sup>1)</sup> На этомъ основано оригинальное, но совершенно непродуманное Толстымъ, ученіе о томъ, что каждый человѣкъ умираетъ только тогда, когда этого требусть живущее въ немъ высшее, разумное сознаніе.

слишкомъ чуткимъ и глубокимъ человѣкомъ, чтобы не задыхаться въ этихъ узкихъ рамкахъ, въ которыя онъ втиснулъ мятущуюся въ тоскѣ о безсмертіи душу. Онъ самъ не удержался на позиціи пантеизма,—и не понявъ, не воспринявъ подлиннаго ученія Христа, смогъ повернуться лишь въ сторону агностицизма...

Еще въ "Критикѣ догматическаго богословія" читаемъ мы: "тѣмъ-то и возмутительно (!) христіанское ученіе <sup>1</sup>), что оно заставляеть (!) ставить вопросы, на которые нѣть и не можеть быть отвѣта". Какъ невольно отразилась въ сердитомъ и даже злобномъ тонѣ этихъ словъ неудовлетворенность Толстого своимъ собственнымъ ученіемъ! Недаромъ онъ утѣшаетъ себя, что хоть оно мало, но зато "вѣрно", недаромъ меланхолически замѣчаетъ, что личное безсмертіе можетъ быть было бы справедливѣе... Но вотъ слова Толстого болѣе опредѣленныя: "убѣждаютъ въ необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь въ жизни рука объ руку съ человѣкомъ, и вдругъ человѣкъ этотъ исчезаетъ тамъ, въ нидъ, и ты самъ останавливаешься передъ этой пропастью и заглядываешь туда".

Въ сущности въ этихъ словахъ дано все, что говоритъ намъ объ индивидуальномъ безсмертіи естественный, внёцерковный религіозный опыть. Если вѣчность, внѣвременность универсальнаго можеть быть пережита всякимъ, кто сознаеть въ себъ разумную жизнь, то индивидуальное безсмертіе есть проблема, которую неустранимо предъ нами ставитъ опыть, но которую он самъ ръшить не можеть. Надо еще добавить: тѣ, кто думають о своемь безсмертін, смогуть пожалуй удовлетвориться пантеистическимы признаніемь, что безсмертно все "разумное, доброе" въ нась. Скажу больше: человъкъ, чъмъ глубже общается онъ съ міровой жизнью, съ Высшей Реальностью, темъ полнее онъ будетъ переживать жажду полнаго сліянія съ Абсолютомъ, тёмъ пламеннёе будеть стремиться утонуть въ безпредёльномъ существ Вога, темъ глубже будеть тяготиться своей личностью, какь ограничивающей его чувство. Уже въ любви одной души къ другой мы всегда найдемъ эту невыразимо манящую жажду исчезнуть въ другой душъ, слиться съ ней безъ конца, безъ думъ, перестать быть отдельнымъ существомъ. Да, все это такъ, и проблема моего личнаго безсмертія,

<sup>1)</sup> Т.-е. ученіе церковнаго христіанства.

ръшенная въ пантеистическомъ смыслъ, не будетъ тревожить меня. Но если мнъ дорого другое существо, то дорого въ немъ не то безличное, общечеловъческое, что есть въ немъ, а оно все цъликомъ, во всей неуловимой, неизъяснимой прелести своей индивидуальности, во всей зовущей тайнъ своей своеобразной, единственной и неповторимой личности. Сердце мое съ неискоренимой мистической устойчивостью тоскуетъ именно объ индивидуальномъ безсмертіи, именно о воскресеніи полнаго человъка, и до чего же нужно было быть погруженнымъ въ себя, въ свою душевную жизнь, чтобы писать, какъ это писалъ Толстой, что воскресеніе плоти есть грубое, дикое представленіе! До кого дошла эта дивная въсть, драгоцъннъйшее объщаніе Спасителя, тоть пойметь его правду по той мистической тоскъ о въчной жизни, которая загорается въ насъ неугасимымъ огнемъ при смерти дорогого и близкаго намъ существа.

Ученіе объ индивидуальномъ безсмертіи, о воскресеніи плоти— это дивное Откровеніе, наполняющее невыразимой радостью насъ всёхь, когда слышимъ мы ликующее "Христосъ Воскресъ"!—есть неизъяснимо глубокое ученіе. Въ немъ ключъ ко всей метафизикѣ міра, въ немъ разрѣшеніе всѣхъ проблемъ,—и какой поэтому бѣдностью мистической жизни, бѣдностью философскаго чутья вѣетъ съ тѣхъ страницъ Толстого, гдѣ онъ, правда не безъ вздоховъ грусти, отказывается отъ вѣсти о воскресеніи плоти! Признать его Толстой не могъ потому, что оно не было, да и не могло быть пережито въ его мистическомъ опытѣ,—и хотя есть много, много данныхъ въ защиту индивидуальнаго безсмертія, но какъ живой фактъ оно раскрывается лишь въ церковномъ общеніи: воскресеніе плоти есть Откровеніе, а живая реальность его усвоивается лишь живущими въ Церкви (вспомните: "Воскресеніе Христово видпьше...").

Толстой въ сущности не разъ сознаваль, что отрицать индивидуальное безсмертіе нѣтъ основанія, но и признать его ему мѣшало—да простится это слово о покойномъ—гордость, нежеланіе отказаться отъ узости и внять Откровенію. Если къ этому присоединить односторонность его мистической жизни, мало дававшей мѣста голосу сердца, то будетъ понятно, что единственная позиція, на которую могъ стать Толстой, когда въ немъ заколебался пантеястическій взглядъ на человѣка, быль агностицизмъ. Уже въ пре-

восходныхъ страницахъ въ трактатъ "О жизни", Толстой, показывая, что истинная индивидуальность выступаеть въ разумномъ "я", даеть намь такую характеристику этого разумнаго "я", которая совершенно невмѣстима въ рамки пантеизма, а неизбѣжно ведеть кь утвержденію метафизической стойкости индивидуальности, къ философскому плюрализму. Въдь характеристика "я", какъ неповторимаго своеобразія, какъ особеннаго отношенія къ міру, рисуеть намъ разумную жизнь не въ ея общечеловъческой сторонъ, а именно въ ея индивидуальной основъ. Конечно, этими мыслямъ, а не мистическимъ запросамъ чувства, почти нигдъ не выраженнымъ, нужно приписать то, что Толстой, утверждавшій тождество Бога и разумнаго я, потомъ переходитъ къ агностицизму. "Человъкъ не можетъ (!) не спрашивать, пишетъ Толстой, критикуя самого себя, для чего Богъ, существо духовное, единое и нераздёльное, заключиль себя въ отдёльныя существа и въ тёло отдъльнаго человъка?" Это возражение противъ пантеизма, которое еще Платонъ развилъ въ глубокомысленную богословскую концепцію, Толстой разрішаеть ссылкой на непостижимость высшей воли. Впрочемъ въ другомъ мѣстѣ ("Христіанское ученіе". стр. 18) онъ пытается метафизически обосновать "раздѣленіе Бога" (довольно часто встръчающееся выражение у Толстого) тъмъ, что лишь такимъ образомъ возможно самосознаніе. Замітимъ только, что проблема самосознанія Бога была разработана еще Аристотелемъ, — и лишь слабостью философскаго дарованія можно объяснить шаткость этого пункта въ системъ Толстого. Часто кажется при чтеніи богословскихъ трактатовъ Толстого, что онъ никогда не умълъ подняться до послъдовательнаго и яснаго мышленія и лишь формулироваль тв (часто противорвчивыя) переживанія, которыя онъ имѣлъ... Вѣдь если "раздѣленіе" Единаго Бога дълаеть возможнымъ самосознание Его, то не слъдуеть ли отсюда вѣчность этого раздробленія Бога на отдѣльныя существа? И воть въ той же главъ читаемъ мы строки, какъ будто выражающія именно эту мысль: "наша любовь къ тому, что доступно намъ. говорить Толстой, составить въ будущей жизни одно цёлое существо, которое будеть близко намъ какъ наше собственное твло". Кто это "мы", которымъ новый коллективный организмъ будеть близокъ, не берусь решать; индивидуальное ли я (равное въ то же время Богу), или нътъ, не знаю,--но не защищаетъ ли сворникъ.

эта мысль (комментирующая, по Толстому, глубокія слова Спасителя: "у Отца вашего обителей много") философскій плюрализмъ?

И все же послѣдняго шага Толстой не рѣшается сдѣлать. Признать вѣчность индивидуальности, которая даже, какъ мы видѣли, отчасти и постулируется имъ, Толстой потому не могъ, что заранѣе отвергъ вѣсть Спасителя о воскресеніи.

Пусть обратится читатель къ попыткамъ Толстого отстоять свое отрицаніе воскресенія, оставаясь на почвѣ Евангелія; пусть вдумается въ то разложеніе пантеизма и переходъ къ философскому плюрализму, который мы только что видѣли, и чѣмъ инымъ, какъ нерѣшительностью мысли и упорствомъ чувства, объяснить онъ отношеніе Толстого къ проблемѣ личнаго безсмертія и воскресенія плоти? И какой уступкой,—послѣ трактатовъ "Въ чемъ моя вѣра", "Критика догматич. богословія",—покажутся ему тѣ строки, которыми заканчивается "Христіанское ученіе", и которыя дышать агностицизмомъ. "Будетъ ли божественная сущность и послѣ смерти продолжать дѣйствовать въ раздѣльности?" спращиваетъ онъ, и отвѣчаетъ: "достовѣрнаго объ этомъ мы ничего не знаемъ"... Да, не дошла до сердца Толстого вѣсть Евангелія!

Разложеніе пантеизма обнаруживается у Толстого не только защитой вѣчности индивидуальности, но и въ другомъ еще направленіи. Поглощая личность, растворяя индивидуальное въ универсальномъ, пантеизмъ отказываетъ Богу въ личномъ существованіи. Мы уже указывали замѣчаніе Толстого, рѣшительно необъяснимое, что признаніе Бога личностью было бы ограниченіемъ. Но и у самого Толстого были яркія переживанія, о которыхъ онъ говорить, что чувствоваль Бога какъ Существо. Соединимо ли это съ пантеизмомъ?

Пантеистическій мистицизмъ, которымъ началъ Толстой какъ богословъ, является одной изъ неизбѣжныхъ формъ, въ которыя отливается естественный религіозный опытъ,—особенно тѣхъ, кто въ своей мистической жизни живетъ лишь запросами ума. И невозможно отрицать относительную правду пантеистическаго мистицизма: міръ дѣйствительно есть твореніе Божіе, и въ немъ для проникающаго взора всегда просвѣчиваетъ Божіе сіяніе. Но въ мірѣ такъ же изначально, вѣчно и индивидуальное: Божество Еди-

ное, и въ то же время Троичное, являетъ намъ ту же тайну неизследимаго сплетенія универсальнаго и индивидуальнаго, общаго
и личнаго, какую мы находимъ и въ душе человеческой. Тайна
собственной индивидуальности проходить для многихъ незамеченной,—и, глухіе къ собственной душевной жизни, они не воспринимають и Откровенія о начале индивидуальности въ сфере
Высшей Реальности. Не случайно поэтому то, что Толстой прошель не только мимо тайны индивидуальности въ человеке, но и
мимо Откровенія о Троице...

Оторвавъ въ человѣкѣ высшую жизнь отъ потока душевныхъ явленій, Толстой ограничиль безсмертіе лишь этой высшей сферой,—и отрицаніе индивидуальнаго безсмертія было для него совершенно неизбѣжнымъ логическимъ выводомъ. Даже ученія о переселеніи душъ,—этой единственной, хотя и неудачной попытки внѣцерковной мысли отстоять стойкость индивидуальности,—не могъ принять Толстой (см. "Христіанское ученіе", стр. 100), такъ какъ оно приписываетъ индивидуальности безсмертіе. Но не самъ ли Толстой такъ хорошо показалъ, что истинный смыслъ индивидуальности раскрывается именно въ разумномъ "я"? Не самъ ли онъ, забывъ свое ученіе объ исчезновеніи личности въ Богѣ, подъ конецъ сознался въ томъ, что судьба начала индивидуальности загадочна?

Агностицизмъ, которымъ кончилъ Толстой, есть безпощадный и безповоротный приговоръ его собственной религіозной системъ. Правда, Толстой самъ сознается, что его ученіе о безсмертіи въ насъ нравственно-разумнаго "я"---"малое",--но отвъчаетъ ли оно въ сущности на тотъ вопросъ, съ котораго началъ Толстой? Устанавливаеть ли оно связь конечнаго съ безконечнымъ, личности съ Богомъ? Нѣтъ, нѣтъ! Трагедія личности, та ея тоска объ осмысленномъ существованіи, то ея стремленіе къ вѣчности, которыми началась религіозная жизнь Толстого, не находять себѣ разрешенія въ религіозной системе Толстого. Жажда безсмертія, возникающая въ предълахъ личности, для того только и просыпается, по Толстому, въ насъ, чтобы мы вышли за предълы личности; она манить къ себъ, она волнуетъ личность лишь для того, чтобы сердце наше, съ разбитыми надеждами на личное безсмертіе, навсегда отвернулось оть любви ко всему личному, индивидуальному, чтобы научилось оно любить лишь Бога въ мірѣ и

презрѣло всю эту дивную красоту индивидуальнаго, Богомъ же созданнаго!...

Сліяніе съ Богомъ до потери личности, какъ я указываль, можеть быть желаннымъ лишь для той стороны нашего существа, которая обращена къ Богу. Для себя я могу удовлетвориться имъ, я даже жажду и жду этого сліянія— да придеть оно! Но другіе люди, которыхъ я люблю? Съ ихъ исчезновеніемъ никогда не помирится сердце, и единственный отвѣть, который разрѣщаеть мнѣ требованія мосго сердца, есть Откровеніе о личномъ безсмертіи, о воскресеніи плоти. И кто только услышить вѣсть эту, тоть пойдеть въ Церковь, чтобы опытно постигнуть силу и правду этой вѣсти.

Отчего же Толстой не пошель въ Церковь? Отчего не вняль онъ словамъ Спасителя?

Не каждому изъ насъ дано вмъстить все, не каждому изъ насъ дано въ полнотъ вмъстить всю сумму запросовъ ума и сердца, на которые отвъчають религія и наука. Какъ въ знаніи, такъ и въ въръ бываютъ широкіе и ограниченные запросы-и въ этомъ нътъ бъды. Есть люди, для которыхъ центральное въ ученіи Христа-ученіе о томъ, какъ жить,--и для нихъ все Откровеніе о будущей жизни не является живой, животворящей перспективой; есть другіе, которые еще ўже усвоивають ученіе Христа: не только отвергають они метафизику, но и изъ этики остановятся лишь на чемъ нибудь одномъ. Пусть! Да будетъ позволено каждому индивидуально и самостоятельно итти за Христомъ, какъ онъ разумъетъ. Но именно въ силу этой индивидуальной ограниченности каждаго мы и находимъ восполнение въ Церкви, которая въ полнотъ хранитъ всю сокровищницу Откровенія; индивидуальная апперцепція ученія Христа вполнѣ законна до тѣхъ поръ, пока она не выдаеть части за цёлое, пока свое, ограниченное толкованіе она не выдаеть за всю полноту Откровенія. А это именно и случилось съ Толстымъ. Если ему было радостно и легко жить съ тъмъ, что онъ нашелъ въ Евангеліи-слава Богу; но когда онъ, опираясь исключительно на лично пережитой религіозный опыть, попытался имъ освътить всю систему религіозныхъ проблемъ, онъ далъ и произвольное толкование Евангелія, и пантеистическое ученіе о Богь и мірь, и свою теорію о безсмертіи разумной жизни. Не Толстой впервые почувствоваль внавременный, безсмертный

смысль правственной жизни: не говоря уже о восточныхъ религіяхъ, въ Европѣ Аристотель, съ его ученіемъ о вѣчности "дѣятельнаго разума", стоицизмъ, средневѣковье, примыкавшее къ Аристотелю, особенно Аверроесъ, наконецъ пантеистическія системы новаго времени,—всѣ защищали ту же религіозно-философскую концепцію, что и Толстой. Но никто изъ защитниковъ пантеизма не выдаваль его за ученіе Христа, Толстой же—и это замѣчательно и, если хотите, трогательно въ немъ—не могъ отойти отъ Христа, хотя на самомъ дѣлѣ вѣрилъ совсѣмъ не въ то, о чемъ училъ Христосъ.

Конечно, кое-гдъ можно найти намеки на то, что Толстой, уже ставши на почву агностицизма, въ своихъ колебаніяхъ доходилъ до признанія индивидуальнаго безсмертія, то чего никогда не могъ онъ понять, даже мистически-это воскресенія плоти. Для Толстого проповъдь о воскресеніи Спасителя осталась, какъ для эллиновъ, безуміемъ... Со своимъ крайнимъ спиритуализмомъ Толстой не могь понять метафизическаго смысла факта Воскресенія Христа, не могъ онъ оценить всю глубину и ценность того, что даеть этоть факть для размышляющаго сознанія. Предпосылки, изъ которыхъ исходилъ Толстой, сдёлали съ нимъ то же въ вопросв о воскресеніи плоти, что ділаеть зачастую современная наука вообще съ религіозными проблемами. Какъ многіе ученые съ упорствомъ слепыхъ и глухихъ не видять и не слышать ничего, кромѣ того, что позволяють имъ видѣть и слышать ихъ мнимо безусловные принципы, такъ и Толстой, односторонне спиритуалистически понимавшій духовную жизнь человіка, доходиль до недопустимыхъ натяжекъ, лишь бы, оставаясь съ Евангеліемъ, отвергать воскресеніе.

Вспомнимъ ученіе Толстого о вѣчной жизни, раскрывающейся въ разумномъ сознаніи. Мы видѣли, что всецѣло отрывая ее отъ потока душевной жизни личности, Толстой вовсе не рѣшаетъ своей нравственной проблемы—связать конечное съ безконечнымъ, такъ какъ безсмертіе принадлежитъ у него не тому, что тоскуетъ и жаждетъ его, не конечному, не ограниченному, не личности, а тому, что безсмертно по самой своей природъ, какъ внѣвременное бытіе, что безлично, универсально, тождественно во всѣхъ людяхъ. Безсмертіе поэтому и не можетъ быть задачей человѣческой дѣятельности, такъ какъ то, что жаждетъ безсмертія (личность), его

не получаетъ; единственное же разръшение проблемы, предлагаемое Толстымъ, заключается въ утвержденіи не того, что конечное связано съ безконечнымъ, а того, что, помимо конечнаго, въ насъ есть безконечное. Оно вив времени и въ этомъ смыслв всегда есть, но если намъ хочется актуально чувствовать себя неподвластными смерти, то мы и должны "развивать" въ себъ высшую жизнь, т. е. помогать ей осуществляться въ личной жизни. Рѣшается поэтому, какъ видимъ, не тотъ вопросъ, который возникаетъ въ нравственныхъ переживаніяхъ личности; вёдь личность, и только она, спрашиваеть себя: что мню дёлать, чтобы моя дёятельность имёла неуничтожаемый и разумный смысль? На этоть вопрось не даеть никакого отвъта Толстой, хотя его даль Христось въ ученіи о спасеніи. Добавлю: лишь та нравственная діятельность можеть быть признана "разумной", которая дёлаетъ возможнымъ и нужнымъ мое усиліе, усиліе моей личности. Безсмертіе же, о которомъ учить-въ своихъ уклонахъ въ сторону пантеизма-Толстой, въ сущности недостижимо, потому что оно и безъ стремленія къ нему есть, было и всегда будеть присуще тому безконечному, что есть въ насъ. Не личность спасается, по Толстому, а нужно спастись от личности... Да, это единственный исходъ для Толстого: нужно запросы личнаго безсмертія, запросы моего участія въ безконечности подавить, устранить; безъ этого, Толстой это чувствоваль, его ученіе не можеть удовлетворить и его самого. Но если нравственная деятельность всегда возникаеть какъ проблема личности, какъ служеніе лично пережитой и лично дорогой ціли, то очевидно, что ученіе Толстого не разрѣшаеть той трагедіи, которую онь самъ пережилъ до религіознаго переворота. Лишь личное безсмертіе дъйствительно дълаеть неизбъжнымъ мою личную нравствен ную работу, лишь оно одно зажигаеть нравственную энергію.

Но отдёленіе разумной жизни оть жизни личности не только этически безцёльно, оно непроводимо и психологически. Внёвременность характеризуеть не только разумно нравственныя переживанія: она еще рёзче нами чувствуется въ логическихъ операціяхъ. И если Платонъ,—съ которымъ вообще есть не мало пунктовъ сближенія у Толстого,—высоко цёня этотъ внёвременный характеръ высшей теоретической жизни, настолько рёзко отцёлялъ ее отъ опыта, отъ дёйствительности, что иногда даже проникался презрёніемъ къ дёйствительному міру,—то уже реак-

ція Аристотеля показала, что логическія функціи нашего ума только на предметахъ опыта и могуть обнаружить свою цённость. Христіанство, при всей своей духовности, также не отрывало людей отъ земли и учило не спасенію отъ личности, отъ плоти (какъ этому, напр., учили гностики 1), а преображенію плоти, спасенію и воскресенію ея. Въ этомъ смыслё христіанство всегда тяготёло къ землё, къ дёйствительности, оно признаетъ даже, если хотите, относительную правду матеріализма.

Но Толстой, съ характерной для него философской близорукостью, пытался оправдать отдёленіе разумной жизни, отрывая ее отъ живого потока душевнаго бытія, самъ не замічая того, что противорвчить себв. Если она непроизводна, и если это позволяеть ее отрывать, не нарушая ея реальности, оть личности, то какъ понять, что личность переживаеть какъ свою задачу то, что на самомъ дѣлѣ возникаетъ не въ ней? Я соглашусь съ непроизводностью всего содержанія разумной жизни (не только этической, но и теоретической),---но всякая высшая функція не можеть быть оторвана оть личности, которая ее чувствуеть и нереживаетъ какъ свою. И какъ возможно самосознаніе безъ высшей функціи разума? Толстой самъ превосходно развиль эту мысль; какъ же не поняль онъ, что то, что реально обусловливаеть самосознаніе, лишь во немо себя и реализуеть? Чёмь будуть содержанія разумнаго сознанія безъ того "я", которое ихъ переживаетъ?

Если древняя исихологія кое-какъ мирилась съ раздѣленіемъ души на три части, то теперь, послѣ того какъ успѣхи психологическаго анализа если не раскрыли намъ природу души, то все-же показали всю цѣлостность и единство душевной жизни,—читать у Толстого его психологическіе выводы трудно безъ того, чтобы не вздохнуть о немъ. Для насъ безспорно, что не только "духъ", высшія духовныя функціи неразрывно связаны со всей полнотой душевной жизни,—но что онѣ (черезъ душу) связаны и съ тѣломъ. Цѣльное существо человѣка, какъ оно есть, несмотря на тройственный свой составъ, метафизически едино,—и ученіе о безсмертіи, въ свѣтѣ всего того, чему учитъ анализъ души, философски

<sup>1)</sup> Съ гностиками въ ихъ ученіи о спасеніи у Толстого есть несомнѣнное сходство.

можеть быть оправдано, лишь какъ ученіе объ индивидуальномъ безсмертіи, лишь въ христіанскомъ смыслѣ,—т. е. какъ воскресеніе цѣльнаго человѣка.

Ложный спиритуализмъ философски ослѣпилъ мысль Толстого, а этическій универсализмъ помогь ему удовлетвориться его односторонней концепціей. Однако психологическая и этическая неудовлетворительность 1) ученія Толстого не разрѣшають религіозной стороны нашего вопроса: можеть быть Толстой неправъ психологически и этически, но можеть быть онъ правъ религіозно, слѣдуя своему толкованію "ученія Христа". Можеть быть его толкованіе ученія Спасителя, будучи само по себѣ неудовлетворительно, всетаки соотвѣтствуеть дѣйствительному смыслу Евангелія?

Я не буду шагъ за шагомъ разбирать богословскую аргументацію Толстого, такъ какъ для меня несомнівню, что онъ никогда. не интересовался Евангеліемъ объективно. Мы видѣли до сихъ поръ, что отношеніе Толстого къ безсмертію опредѣлялось еголичными запросами, его пониманіемъ человѣка, его метафизикой. Религіозно же, какъ в рный ученикъ Христа, Толстой никогда неставиль нашего вопроса, -и характернымь выражениемь этого служить поразительный факть, что то учение о спасении и возстановленіи сына человіческаго, съ помощью котораго Толстой коекакъ истолковалъ Евангельское ученіе о воскресеніи, въ дальнъйшемъ развитіи религіозной системы Толстого не сыграло никакой роли. Поэтому вопросъ о правильности истолкованія Толстымъ. ученія Спасителя о безсмертін, послѣ того, какъ намъ выяснились противоръчивость и неопредъленность тъхъ предпосылокъ, изъкоторыхъ исходилъ Толстой, не имветъ уже значенія. Если толкованіе Толстого фактически имъ самимъ было отвергнуто твиъ, что онъ перешелъ на почву агностицизма,--если это толкованіе совершенно не рішаєть тіхь вопросовь, съ которыми приступаль къ нему самъ Толстой, то не показываеть ли это всю произвольность позиціи его? Единственныя основанія, которыя Толстой выставляль въ защиту своего пониманія ученія Спасителя о судьбѣ личности, были не слова Евангелія, а тотъ новый смыслъ ихъ, который Толстой предлагаетъ въ нихъ видъть. И если смыслъ,

<sup>1)</sup> Напомню читателю ученіе Н. Ө. Өедорова, превосходно показавшаго этическую неизбіжность проблемы всеобщаго воскресенія.

который онъ усмотрѣлъ въ словахъ Спасителя, не только внѣшне, но и внутренно непріемлемъ, въ силу своей неудовлетворительности и противорѣчивости,—не слѣдуетъ ли отсюда, что Толстой остался просто глухъ къ Откровенію объ индивидуальномъ безсмертіи? Если бы мы взялись разбирать толкованіе Толстого чисто филологически, передъ нами бы вскрылась изумительная неосторожность и предвзятость его. Свѣдующіе въ филологіи люди, читая толкованія Толстого, могутъ лишь разводить руками: до того необоснованы у него его отрицанія установившагося пониманія словъ Спасителя!

Я полагаю, что и такая работа не была бы лишней, особенно при распространенномъ у насъ отсутствии свъдъній о сущности филологическаго метода, но я думаю, для широкой интеллигенціи Толстой былъ близокъ не въ своихъ толкованіяхъ Евангелія, а въ своемъ собственномъ ученіи. Правда о Евангеліи, увы, мало трогаетъ нашу интеллигенцію,—и въ Толстомъ ее захватилъ не толкователь ученія Христа, а живой, проникновенный проповъдникъ той религіозной правды, которую онъ пережилъ въ своемъ мистическомъ опытъ. Вотъ почему разборомъ внутренняго опыта Толстого, анализомъ того, какъ у нею ставилась проблема безсмертія, я и ограничилъ свою статью.

Я не сужу Толстого за его неудачныя попытки пуститься въ чуждую ему область филологін и экзегезиса; наобороть, я готовъ преклониться передъ той работой, которую онъ продѣлалъ. Я понимаю и то, что онъ не усвоилъ ученія Христа, не приняль въ себя благой вѣсти о воскресеніи; мнѣ дорога религіозная жизнь Толстого такой, какой она была, дорого чувствовать въ немъ то же, что и въ другихъ религіозныхъ людяхъ — тихое чувство сыновняго довѣрія къ Отцу Небесному, стойкое служеніе религіозной правдѣ. Но мнѣ грустно, невыразимо грустно думать, что эта могучая душа поддалась соблазну индивидуализма и отреклась отъ своей матери — Церкви, что она съ энергіей, достойной лучшаго примѣненія, старалась разрушить то, что ее самое напитало.

Толстой думаль, что онь возсоздаваль христіанство, — но онь его и разрушаль. Прости ему, Господи! И когда я думаю, что Толстой вырось въ родной, безконечно дорогой мнѣ атмосферѣ

православія, я начинаю понимать, что исторія души Толстого отъ ея первой фазы безрелигіозности до последнихъ блужданій и ненужно-злобной борьбы противъ Церкви-есть суровый и грозный урокъ намъ всемъ. Я не знаю, осталась ли бы неукротимая, стихійно-своевольная душа Толстого въ Церкви-даже въ эпоху ранняго христіанства; скоръе я склоненъ думать, что онъ при своемъ психологическомъ укладѣ и тогда бы откололся отъ всѣхъ. Увы, это загадочно и странно-и въ то же время такъ обычно: это все тоть же инстинкть власти, тоть же деспотизмъ и гордость, которые были всегда присущи инымъ душамъ. Пусть одно нельзя забыть: это-успѣха проповѣди Толстого. У насъ до сихъ поръ есть много людей, которые считаютъ Толстого за истиннаго последователя Христа,-и ничемъ инымъ, какъ стращнымъ упадкомъ религіознаго самосознанія, нельзя объяснить этого. И хочется у могилы Толстого молиться о томъ, чтобы скорже прошель соблазнь толстовства, хочется молиться объ упокоеніи души покойнаго. А успокоиться она не сможеть раньше, чёмъ исчезнуть тѣ цвѣты зла, сѣмена которыхъ онъ сѣялъ. Во имя того добраго, что зажигаль покойникь порой въ нашей душь, во имя того, что сдълаль онъ для отрезвленія нашего общества оть его безрелигіозности, во имя того смиренія, которое подчинило его могучую натуру неисповъдимымъ путямъ Божіимъ, да простить ему Господы!...

В. В. Зѣньковскій.

## Споръ Толстого и Соловьева о государствъ 1).

На религіозно-философскомъ обществъ лежитъ печальный долгъ помянуть двухъ великихъ усопщихъ — только что скончавшагося Л. Н. Толстого и почившаго десятью годами раньше В. С. Соловьева. Невольно хочется соединить эти два имени въ одномъ общемъ поминовеніи: объединяются они, разумфется, не однимъ случайнымъ совпаденіемъ датъ, а общей религозной задачей, которую каждый изъ нихъ рѣшалъ по своему: это-практическая жизненная задача осуществленія Царствія Божія на земль. За невозможностью въ предълахъ небольшого реферата разсмотръть вопросъ во всей его необозримой широть и сложности, я ограничусь одной лишь его стороной, — спеціальнымъ вопросомъ о государство, о томъ, какъ надлежить отнестись къ нему съ религіозной, христіанской точки зрѣнія. Извѣстно, что именно по этому вопросу Соловьевъ и Толстой пришли къ діаметрально противоположнымъ взглядамъ. Но будучи полнъйшими антиподами въ другихъ отношеніяхъ, оба сходились между собой въ одной общей черть, въ одномъ общемъ религіозномъ требованіи, которое лучше всего можетъ быть выражено словами Евангелія.

"Ищите прежде всего Царствія Божія и правды его, а остальное приложится вамъ".

Оба были убъждены, что Царствіе Божіе должно стать всёмъ во всемъ человівческомъ обществів, что ніть того интереса, ніть той сферы человівческой жизни, которая могла бы оставаться ему внішней или чуждой. Оба относились къ Царствію Божію какъ къ той евангельской жемчужинів, ради которой купецъ отдаль

<sup>1)</sup> Докладъ, прочитанный на собраніи "Религіозно-философскаго общества" въ Москвв, 30 ноября 1910.

все, что онъ имѣлъ. Но, исходя изъ этой общей посылки, оба пришли къ діаметрально противоположнымъ выводамъ. Соловьевъ въранній и средній періодъ своей дѣятельности высказывалъ взглядъ, отъ котораго, какъ мы увидимъ, онъ отрѣшился впослѣдствіи: онъ требовалъ включенія государства въ Царство Божіе. Наоборотъ, Толстой настаивалъ на необходимости совершеннаго его упраздненія.

Теократія или анархія, святая государственность, подчиненна, церкви, или полное отрицаніе государства, такъ ставился вопросъ служащій предметомъ этого спора. Огромная его важность явствуеть изъ того, что мы имѣемъ здѣсь дилемму религіознаго сознанія, которая съ перваго взгляда кажется неустранимой. Если Царствіе Божіе въ самомъ дѣлѣ не допускаетъ рядомъ съ собой какой либо нейтральной сферы—внѣбожественной общественности, то съ религіозной точки зрѣнія какъ будто и въ самомъ дѣлѣ не можетъ быть иного отношенія къ государству, кромѣ этихъ двухъ: или оно должно влиться въ составъ богочеловѣческаго союза, стать звеномъ всемірной теократіи, или же, если оно неспособно стать вмѣстилищемъ истинной, божественной жизни, оно должно исчезнуть съ лица земли. Возможно ли съ религіозной, въ частности съ христіанской точки зрѣнія, какое либо третье рѣшеніе?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны внимательно разсмотрѣть оба термина только что формулированной дилеммы. И прежде всего нетрудно убѣдиться въ полной несостоятельности теократическаго взгляда Соловьева.

Включеніе государства въ Царствіе Божіе представляется невозможнымъ прежде всего потому, что Царствіе Божіе есть совершенно свободной союзъ между Богомъ и человѣкомъ; между тѣмъ государство по самому своему понятію есть союзъ принудительный. Теократическое государство по самому существу своему не мирится съ требованіемъ свободы совѣсти, которое съ христіанской точки зрѣнія представляется непремѣннымъ условіемъ истинной религіозной жизни: ибо въ немъ и черезъ него человѣкъ входитъ въ составъ богочеловѣческаго союза пе какъ впрующій, а какъ подданный. Одно изъ двухъ, или теократическое государство включаетъ въ свой составъ только гражданъ какого либо опредѣленнаго вѣроисповѣданія; въ такомъ случаѣ о свободѣ вѣроисповѣданій въ немъ не можетъ быть и рѣчи; или же оно допускаетъ

въ себъ лицъ всевозможныхъ въронсповъданій; но если такъ, то оно совершаеть еще болье жестокое насиліе надъ совыстью своихъ гражданъ: совершенно очевидно, что какой-нибудь еврей, мусульманинъ или просто невърующій не можеть добровольно, по внутреннему убъжденію, осуществлять діло Христово на земль. "Свободная теократія", о которой мечталь Соловьевь, -- одна изъ самыхъ противоръчивыхъ фантазій, какія когда либо зарождались въ человъческой головъ. Не совмъщаясь съ идеаломъ христіанской свободы, теократія не соотв'єтствуеть и требованію полноты религіозной жизни. Изъ того, что единеніе человъка съ Богомъ должно быть всецёлымъ и полнымъ, следуеть не то, что государство должно стать частью Царства Божія, а какъ разъ наобороть, что въ этомъ Царствъ для него нътъ мъста. Религіозный идеаль требуеть не включенія государства въ теократическую организацію, а напротивъ, исключенія его изъ Царствія Божія. Хрпстосъ въ своемъ царствъ хочетъ видъть въ людяхъ друзей, а не подданныхъ. Онъ хочетъ господствовать не какъ принудительная власть, а какъ истина. Но темъ самымъ теократія осуждена съ христіанской точки зрінія. Идеаль Царствія Божія не теократичент, а анархичент: ибо вмъстъ съ міромъ въ немъ окончательно исчезаеть всякая мірская власть.

Съ этой точки зрѣнія мы можемъ признать ту относительную долю истины, которая заключается въ "новомъ жизнеописаніи" Толстого. Его оцѣнка государства, несмотря на ея несовершенство, всетаки заслуживаетъ предпочтенія передъ оцѣнкой теократическою. Онъ правъ въ своемъ утвержденіи, что Царствіе Божіе безгосударственно, что государство несовмѣстимо съ пдеаломъ христіанскаго совершенства.

Но здѣсь, какъ и всюду, разсужденія Толстого обезцѣниваются основнымъ его заблужденіемъ—отрицаніемъ того самаго религіознаго содержанія, которое составляеть отличіе Царствія Божія отъ всего мірского, временнаго. Поэтому самое ученіе о непротивленіи злу въ связи съ отрицаніемъ государства у него оторвано отъ его положительнаго смысла.

Въ ученіи Христа Царствіе Божіе есть мистическій порядокъ, въ которомъ совершенно и окончательно побѣждается зло, и человѣкъ становится едино съ Богомъ. Сущность этого порядка коротко и ясно выражается предсмертными словами Христовыми—

даль, чтобы они были едины, какъ и Мы".

Въ этомъ мистическомъ единствъ Царствія Божія заключается окончательный смысль всъхъ нравственныхъ требованій Евангелія, въ томъ числь и заповъди "непротивленія злому". Въ этомъ царствь, гдь у человъка нътъ своей жизни, отдъльной отъ Бога и отъ другихъ людей, никто не долженъ утверждать себя, какъ обособленную мичность, а потому всъ должны прощать личныя обиды;—не противиться злому, а подставлять львую щеку тому, кто ударить по правой. Но если во имя всеединства, ради любви къ Богу, я не долженъ сопротивляться дълающему минь зло, то та же заповъдь, очевидно, неприложима къ тъмъ случаямъ, когда зло причиняется другимъ людямъ. Тотъ же долгъ любви, тотъ же идеалъ всеединства, который въ однихъ случаяхъ заставляетъ меня подставлять щеку подъ ударъ, въ другихъ случаяхъ требуетъ, чтобы я силой воспрепятствовалъ убійству или покушенію на честь женщины.

Ошибка Толстого—въ томъ, что онъ утверждаетъ заповѣдь непротивленія злу, какъ безусловное нравственное начало, которое выражаетъ собою сущность и смыслъ христіанскаго ученія о Царствіи Божіемъ. Между тѣмъ въ подлинномъ христіанскомъ жизнепониманіи этому принципу принадлежитъ значеніе подчиненное и ограниченное. Онъ не есть цѣль самъ по себѣ, а лишь средство для утвержденія мистическаго начала всеединства въ человѣческихъ отношеніяхъ.

Зломъ съ христіанской точки зрѣнія является не всякое насиліе, какъ такое, а только то, которое противно духу любви. Ставъ на эту точку зрѣнія, Соловьевъ въ "Трехъ разговорахъ" успѣшно доказываетъ несостоятельность тѣхъ возраженій Толстого противъ государства, которыя ссылаются на заповѣдь непротивленія злу. Доводы "генерала" въ первомъ разговорѣ тутъ, очевидно, имѣютъ существенное значеніе. Существованіе башибузуковъ, поджаривающихъ на огнѣ христіанскихъ младенцевъ, оправдываетъ необходимость мірской организаціи, которая обуздываетъ человѣка-звѣря силою вещественнаго оружія.

Говоря словами Соловьева, безусловно неправымъ должно быть признано самое начало зла, какъ такое, а не тв или другіе способы борьбы съ нимъ, какъ мечъ, война и принудительныя мѣры государственной власти. Словомъ, Соловьеву нетрудно доказать

противъ Толстого, что государство не есть эло: по сравненію съ тѣмъ хаотическимъ состояніемъ общества, гдѣ, говоря словами Гоббеса, "человѣкъ человѣку волкъ", оно представляетъ собою даже относительное благо. Но для религіознаго оправданія государства этого недостаточно: ибо религіозный идеалъ требуетъ безусловнаго совершенства. Въ указаніяхъ Толстого на несовмѣстимость государства съ идеаломъ христіанскаго совершенства есть чрезвычайно много положительнаго и цѣннаго.

Какова бы ни была *относительная* польза, приносимая государствомь, совершенно очевидно, что оно несовмѣстимо съ *полнотого* обладанія Бога человѣкомь. Чтобы всею душою и всѣми помыслами принадлежать къ Царствію Божію, какъ того требуетъ религіозный идеалъ,—человѣкъ долженъ отрѣшиться отъ всякихъ заботь о завтрашнемъ днѣ и жить какъ птицы небесныя. Но что такое государство, какъ не олицетворенная забота о завтрашнемъ днѣ? Можетъ ли оно вообще существовать, если евангельскій идеалъ будетъ осуществленъ во всей полнотѣ, безъ всякаго снисхожденія къ человѣческой слабости?

Доведеніе евангельскихъ требованій до конца, вообще, ведеть къ упраздненію государства. Мы виділи, что принудительныя мізры, принимаемыя государствомъ, не суть зло, но онв необходимо предполагають человическое несовершенство. Возможна ли принудительная власть въ обществъ, гдъ всякій готовъ отдать другому последнюю рубашку, и где никто не считаетъ дозволительнымъ судиться съ ближнимъ? Но и этого мало: спрашивается возможна ли полнота жизни въ Богѣ для тѣхъ христіанъ, которые по должности своей вынуждены принимать насильственныя мёры противъ другихъ? Можно себъ представить государство безъ смертной казни. Но мыслимо ли государство, которое бы не было готово защищать себя вещественнымъ оружіемъ противъ враговъ внутреннихъ или внъшнихъ? Готовность къ войнъ для государства является условіемъ существованія. Но, спрашивается, возможно ли совершенство религіозной жизни для христіанина-воина или администратора? Не очевидно ли, съ другой стороны, что воспретить христіанамъ занятіе этихъ должностей--значить темь самымъ потребовать уничтоженія государства?

Всѣ эти вопросы, выдвигаемые Толстымъ, съ христіанской точ-ки зрѣнія вполнѣ законны и даже необходимы. Но правильно по-

ставить вопрось еще не значить дать правильный на него отвътъ.

Туть кь указанной раньше ошибкѣ Толстого присоединяется еще другая. Игнорируя мистическій смысль христіанскаго жизнепониманія, онь вмѣстѣ съ тѣмъ основываеть всѣ свои сужденія объ этомъ жизнепониманіи на отдѣльныхъ текстахъ Евангелія, взятыхъ внѣ связи съ цѣлымъ, и оставляеть въ сторонѣ то самое, что для христіанина должно служить высшимъ руководящимъ началомъ, — ипъльный образъ Христа, который не находить себѣ исчерпывающаго выраженія въ отдѣльныхъ Его изреченіяхъ.

Парствіе Божіе не укладывается въ рамки государственной ортанизаціи именно потому, что оно есть порядокъ мистическій, 
между тѣмъ какъ государство — порядокъ естественный. Поэтому и 
самое требованіе упраздненія государства съ христіанской точки 
зрѣнія получаетъ совершенно иной смыслъ нежели у Толстого. 
Слова "да пріидетъ Царствіе Твое", которыя выражаютъ собою 
конечный идеалъ христіанства, означаютъ не только конецъ государства, но и конецъ міра: ибо въ нихъ высказывается требованіе совершеннаго преображенія всего земного, человѣческаго, пресуществленія его въ божественное. Для осуществленія этого требованія нужно не только упраздненіе государства какъ отдѣльнаго 
мірского союза, но упраздненіе міра какъ обособленной и отличной отъ Царствія Божія сферы. Государство должно исчезнуть 
вмѣстѣ со всею внѣбожественной дѣйствительностью, къ которой 
оно относится какъ часть къ цѣлому.

Въ своемъ существованіи государство органически связано съ тёмъ естественнымъ порядкомъ, въ которомъ еще нѣтъ полной внутренней побѣды добра надъ зломъ. Въ немъ зло не уничтожается въ самой своей сущности, а ограничивается извнъ, сдерживается въ своихъ проявленіяхъ вещественнымъ оружіемъ и вещественными оковами. Въ этомъ заключается весь смыслъ существованія принудительной организаціи государства; но въ этомъ же—объясненіе того, почему государство не можетъ претвориться въ Царствіе Божіе, или войти, какъ звено, въ его составъ.

Слѣдуеть ли отсюда, что въ нашемъ земномъ настоящемъ, съ христіанской точки зрѣнія, возможно только отрицательное отношеніе къ государству? Поразительно, что какъ Библія, такъ и Евангеліе безконечно далеки отъ такого прямолинейнаго макси-

мализма. Соловьевь отмѣчаеть двойственное и съ перваго взгляда будто противорѣчивое отношеніе Библіи къ мірской власти. Съ одной стороны Іегова порицаеть желаніе еврейскаго народа имѣть царя, Онъ говорить Самуилу: "не тебя устранили они, а Меня устранили они отъ царствованія надъ ними". Несовмѣстимость между Царствіемъ Божіимъ и царствомъ мірскимъ, человѣческимъ тутъ подчеркивается какъ нельзя болѣе рѣзко: или Царь Небесный или царь земной,—земное царство есть то, въ которомъ Богъ не царствуетъ. И не смотря на это, Богъ тутъ же велить Самуилу исполнить желаніе народа и дать ему царя. Вз виду несовершенства рода человѣческаго, Богъ благословляетъ то самое царство мірское, которое въ идеѣ Царствія Божія подлежить упраздненію.

То же самое мы видимъ и въ Евангеліи. Когда Христосъ говорить о своемь царствъ, Онъ прямо противополагаеть его тому царству мірскому, которое борется внишней физической силой принужденія: "царство Мое не отъ міра сего: если бы отъ міра сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не быль предань Іудеямь: но царство Мое не отсюда" (Іоанн. XIX, 36). И туть же Царствіе Божіе изображается какъ царство истины, которое властвуеть не насиліемь, а убіжденіемь. "Пилатъ сказалъ Ему: и такъ, Ты Царь? Іисусъ отвѣчалъ: говоришь, что я Царь, я на то родился и на то пришель міръ, чтобы свидѣтельствовать о истинѣ; всякій кто от Истины, слушает гласа Моего" (Іоанн. XIX, 37). Слова Спасителя апостолу Петру ясно предрекають грядущую гибель той внашней принудительной организаціи, которая орудуеть мечомъ крови: "возврати мечъ твой въ его мъсто: ибо всъ, взявшее мечъ, мечемъ погибнутъ" (Мате. XXVI, 52).

И однако рядомъ съ этимъ поражаетъ благосклонное отношеніе Христа и Евангелія къ государству. Между Евангеліемъ и ученіемъ Толстого тутъ существуетъ цѣлая пропасть. Признавая грѣ-хомъ для христіанина платить государству подати, Толстой, самъ того не замѣчая, осуждаетъ Христа. Положительное предписаніе—платить динарій, воздавать "кесарево кесареви"—выражаетъ собою нѣчто большее, чѣмъ терпимость по отношенію къ государству: Христосъ прямо вмѣняетъ въ обязанность христіанамъ участвовать въ заботахъ о его сохраненіи. Рядомъ съ этимъ, своимъ отношеніемъ къ мытарямъ Онъ показываетъ, что можно "сидѣть у

сворникъ.

сбора пошлинъ" и тъмъ не менъе слъдовать за Спасителемъ (Мате. IX, 9).

Еще болье разительный контрасть заключается между евангельскимъ и толстовскимъ отношеніемъ къ военной службѣ. Воспрещаль ли Христось върующимь въ Него воинское служение, хотя бы въ языческомъ государствъ Ничего подобнаго Онъ не требовалъ отъ Капернаумскаго сотника, у котораго Онъ исцелилъ слугу. И прямо наперекоръ Толстому, который полагаеть, что христіанство несовивстимо съ военной службой, Спаситель призналь этого воина однимъ изъ лучшихъ христіанъ: "истинно говорю вамъ, и въ Израиль не нашель Я такой выры" (Мате. VIII, 16). Въ Евангелін есть еще болье поразительное мысто, гды прямо говорится обы обязанностяхъ воина: "никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ" (Лук. Ш, 14). Въ контекств проповъди покаянія эти слова особенно знаменательны. Евангеліе не велить воинамъ каяться въ ихъ воинскомъ званіи; а между твиъ устами Іоанна оно даетъ отвътъ на ихъ вопросъ о жизненномъ пути: "спрашивали Его и воины: "а намъ, что делать (Лук. III, 14).

Отвѣтъ на поставленные Толстымъ вопросы этимъ, однако, не исчерпывается. Ибо, спрашивается, нѣтъ ли въ отношеніи Евангелія къ государству внутренняго противорѣчія? Какъ совершенно справедливо утверждаютъ и Толстой, и Соловьевъ, — религія не можеть быть только чѣмъ-нибудь для человѣка; она или все, или ничего. Какъ можно съ этой точки зрѣнія понять благосклонное отношеніе Евангелія къ тому мірскому царству, гдѣ Христосъ не царствуеть? Если безусловная цѣль Божія—все соединить съ собою, быть всѣмъ во всемъ, то какъ возможно съ этой точки зрѣнія терпимое, а тѣмъ болѣе, положительное отношеніе къ внѣ божественной дѣйствительности?

Нетрудно убѣдиться, что мы имѣемъ здѣсь лишь кажущееся, а не дѣйствительное противорѣчіе. Если Богъ долженъ стать всѣмъ во всемъ, то въ этомъ заключается не начало, не исходная точка, а июль мірового процесса; но эта цѣль, очевидно, не можетъ быть отрицаніемъ самаго процесса. Съ точки зрѣнія конечной цѣли всего менѣе возможно отвергать тѣ ступени бытія, хотя бы и несовершеннаго, которыя ведутъ къ ней въ послѣдовательномъ восхожденіи. Мы имѣемъ здѣсь ту самую трудность, которая заклю-

чается въ понятіи процесса во времени и внібожественной дійствительности вообще. Вогь заключаеть въ себі полноту бытія, оть віка совершеннаго: какъ совмістить съ этимъ возможность процесса, т. е. бытія несовершеннаго, а только совершающагося, становящагося во времени. Если Царствіе Божіе есть ціль всего существующаго, то какъ возможень міръ, гді его нітъ, какъ возможно вообще существованіе внібожественной дійствительности? Въ христіанскомъ віроученіи это противорічіе разрішается въ понятіи Бога какъ начала и конца всякаго существованія: все оть Него и все къ Нему. Въ самомъ міровомъ процессі Онъ обнаруживается какъ чимманентное его содержаніе, постепенно раскрывающееся и иміющее раскрыться во всей полноті во конить времень.

Вопросъ объотношении Царствія Божія къ государству-не болье какъ часть общаго вопроса объ отношении Бога абсолютнаго и совершеннаго къ міру становящемуся и несовершенному. И отвътомъ на этотъ вопросъ является не то или иное отдъльное положеніе христіанскаго ученія, а все христіанское міропониманіе въ его цёломъ. Центральная мысль этого міропониманія именно въ томъ и заключается, что Богъ всемогущій и совершенный не подавляеть своимъ всемогуществомъ бытія относительнаго, несовершеннаго, а напротивъ, — снисходитъ къ нему и привлекаетъ его къ себъ. Безграничное по своей природъ Слово Божіе свободно налагаеть на себя рядь ограниченій во времени, является въ оковахъ конечнаго бытія. Всемогущій Царь Небесный принимаетъ зракь раба. Совершенный входить всёмь своимь существомь въ процессъ усовершенствованія. Богочелов в чество рождается во времени, растеть, развивается: оно само сравниваеть свое царство съ зерномъ горчичнымъ, которое, будучи первоначально меньше всъхъ зеренъ, къ концу временъ вырастаетъ въ большое дерево. Съ точки зрѣнія поверхностнаго раціоналистическаго пониманія всѣ эти утвержденія представляють собою рядь безысходныхъ противоръчій. А между тымь въ сознаніи религіозномъ всь эти кажущіяся противорічія находять себі разрішеніе столь же необходимое, сколь и естественное.

Два коренныхъ требованія лежать въ основѣ всякаго религіознаго сознанія. Оно покоится на вѣрѣ въ Бога, какъ вѣчную, неподвижную основу всего: это значить, что Богъ въ Существѣ своемъ безконечно выше нашихъ тревогъ, радостей и страданій. Съ другой стороны всякое религіозное сознаніе предполагаеть, что нѣтъ ничего дѣйствительнаго, что бы не имѣло отношенія къ Богу, что Богъ есть смысль всего, что есть, а, стало быть, и всего относительнаго, конечнаго, временнаго. Однимъ словомъ, вѣра въ Бога какъ Абсолютное непремѣнно предполагаетъ, что Онъ находится въ двоякомъ отношеніи къ намъ и къ нашей дѣйствительности. Онъ одновременно и безконечно далекъ отъ насъ и безконечно къ намъ близокъ, безконечно возвышенъ надъ нами и вмѣстѣ съ тѣмъ живетъ въ насъ, участвуетъ въ нашихъ мужахъ и радостяхъ, свободно ограничиваетъ себя ради насъ и свободно преодолѣваетъ эти границы, претворяя наши страданія въ радости и наше несовершенство въ полноту.

Смыслъ всего становящагося—въ этомъ ростѣ Царствія Божія, въ этомъ постепенномъ преодолѣніи границъ "зерна горчичнаго". Съ этой точки зрѣнія кажущіяся противорѣчія въ отношеніи Библіи и Евангелія къ государству разрѣшаются сами собою. Тутъ мы имѣемъ одно изъ тѣхъ неебходимыхъ самоограниченій во времени Слова Божія, которыя оправдываются вѣчною цѣлью Царствія Божія. Съ одной стороны несовершенство натуральнаго человѣчества дѣлаетъ для Христа необходимымъ отказъ ото царства: но съ другой стороны и для этой внѣбожественной дѣйствительности Царство Божіе является цѣлью; поэтому съ религіозной точки зрѣнія далеко не все равно, какой въ ней водворится порядокъ, правильное ли государство, которое ограничитъ междоусобія и обезпечить возможность мирнаго общенія людей, или же дикое своеволіе, оргія взаимнаго истребленія.

Въ концѣ временъ восторжествуетъ добро всецѣлое и полноез тогда зло не будетъ противолежать добру, какъ внѣшняя границаз въ этой внутренней и вмѣстѣ внѣшней побѣдѣ и заключается идеаль Царствія Божія. Та смѣшанная дѣйствительность, гдѣ зло сосуществуетъ съ добромъ, еще не есть Царствіе Божіе. Но для послѣдняго не безразлично, что дѣлается у его преддверія, приприближается ли къ нему та среда, гдѣ ему надлежитъ расти. Съ христіанской точки зрѣнія неизмѣримо лучше то состояніе человѣчества, гдѣ зло сдержано хотя бы внѣшней силой, матеріальными, вещественными преградами, нежели то, гдѣ господство злабезгранично и не сдержано ничѣмъ. Вотъ почему Самуилъ блабезгранично и не сдержано ничѣмъ. Вотъ почему Самуилъ блаба

гословиль царя Израильскаго, и самъ Христосъ велѣлъ христіанамъ платить кесарю тотъ динарій, на который содержались римскіе легіоны.

Евангеліе цѣнить государство не какъ возможную часть Царствія Божія, а какъ ступень, ведущую къ нему въ историческомъ процессѣ. Кто хочетъ, чтобы человѣческая жизнь когда-нибудь претворилась въ рай, тотъ долженъ благословлять ту силу, хотя бы и внѣшнюю, которая, говоря словами Соловьева, до времени мѣшаетъ міру превратиться въ адъ. Въ извѣстномъ видѣніи Іакова путь къ царствію небесному явился въ видѣ лѣстницы между небомъ и землею. Ложный максимализмъ нашего времени съ мнимо религіозной точки зрѣнія отвергаетъ посредствующія и низшія ступени этой лѣстницы во имя ея вершины; это значить во имя христіанскаго идеала отвергать христіанскій путь; такъ поступаетъ максимализмъ не христіанскій, а безпутный.

Въ настоящее время встръчаются иногда христіане, которые во имя формулы— "или все, или ничего" съ презрѣніемъ относятся ко всему относительному, въ томъ числе и къ государству. Этоточка зрвнія техь, кто хочеть быть более христіанами, чемь самь Христосъ.—Не таково религіозное отношеніе къ дъйствительности. Съ одной стороны оно выражается въ идеальномъ призывѣ — "будьте совершенны, какъ Отецъ Вашъ Небесный"; съ другой стороны, съ точки зрѣнія этого идеала безусловнаго совершенства, должно ценить всякое, даже относительное усовершенствованіе. Одинъ и тотъ же евангельскій духъ выразился и въ признаніи дъвственной жизни высшею ступенью личной добродътели и въ благословленіи брака въ Канѣ Галилейской. Тоть же Христось признаеть недостойнымъ Себя человѣка, который ради Него не откажется оть отца и матери, и благословляеть семейное начало. Это значить, что по пути къ совершенству есть выстія и низтія ступени. Кто върить въ путь Христовъ, тотъ не долженъ отрицать ни тъ, ни другія. Признаніе относительных цънностей не только не противоръчить религіозному идеалу, но прямо имъ требуется. Если совершенное Богоявленіе составляеть дійствительный конецъ мірового процесса, то этимъ оправданъ весь процессъ-и несовершенное его начало и отдёльныя относительныяего стадіи. Тѣмъ самымъ оправдано и государство. Христіанскою должна быть признана не та точка зрвнія, которая требуеть немедленнаго его упраздненія, а та, которая считается съ несовершенствомъ человѣческаго рода, а потому воздаеть "кесарево кесареви". Вопреки брандовской формулѣ "или все, или ничего", съ христіанской точки зрѣнія "что-нибудь" всегда лучше, чѣмъ "ничего". Если одинъ всемогущій Богъ можетъ быть всюмъ, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы человѣку было дозволительно быть ничѣмъ; если онъ не въ силахъ быть святымъ, то это не значить, чтобы ему не стоило быть добрымъ гражданиномъ.

Такимъ образомъ мы получаемъ нѣкоторый отвѣтъ на вопросъ, поставленный въ началѣ этого чтенія. Отношеніе къ государству съ религіозной точки зрѣнія не должно быть ни теократическимъ, ни анархическимъ. Соловьевъ въ своемъ утвержденіи святой государственности такъ же не правъ, какъ и Толстой въ своемъ отрицаніи государства. Государство—не болѣе какъ форма существованія натуральнаго, непреображеннаго человѣчества, и въ этомъ качествѣ ему принадлежитъ нѣкоторая относительная цѣнность.

Но этимъ, однако, еще не разрѣшается окончательно задача, поставленная споромъ Соловьева и Толстого: ибо цѣнность государства нуждается въ болѣе близкомъ и точномъ опредѣленіи. Мы должны уяснить себѣ его мѣсто и назначеніе въ христіанскомъ обществѣ.

По этому поводу мы находимъ рядъ замѣчательныхъ мыслей въ "Трехъ разговорахъ", т. е. именно въ томъ предсмертномъ произведеніи Соловьева, въ которомъ онъ окончательно отказался
отъ прежней своей теократической точки зрѣнія. Замѣчательно,
что здѣсь, въ своей апологіи государства, противъ Толстого Соловьевъ становится на свѣтскую гуманитарную точку зрѣнія. Характерно, что самая рѣчь въ защиту государства влагается Соловьевымъ въ уста не представителю религіознаго идеала—г-ну Z, а
свѣтскому "Политику", дипломату, который съ своей исключительногуманитарной точки зрѣнія относится къ религіи отрицательноонъ оправдываетъ государство аргументами чисто натуралистическими,—естественной необходимостью,—невозможностью безъ него
устроитъ человъческое общежитіе 1). И Соловьевъ въ своемъ пре-

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій В. С. Соловьева, Т. VIII, 496.

дисловій признаеть "относительную правду" такого взгляда. Въ "Трехъ разговорахъ" онъ учить, что государство вообще есть область относительной правды и что за предёлами относительнаго кончается его задача. Его назначение-не въ томъ, чтобы быть земнымъ явленіемъ безусловнаго, хотя бы и явленіемъ неполнымъ, частичнымъ, а въ томъ, чтобы осуществить "предварительныя условія проявленія" высшей безусловной истины. Для этого оно должно частью истреблять мечомь тв внашнія проявленія зла, которыя доступны ударамъ вещественнаго оружія; частью же оно должно послужить общей культурной средой, гдф до времени должны совмъстно развиваться какъ добрыя, такъ и злыя историческія силы 1). Замѣчательно, что именно въ организаціи этой смѣшанной среды и въ обезпеченіи мира между ея составными частями "Три разговора" видять высшее, что можеть дать государство; "Политикъ", который такъ понимаетъ его задачу, тутъ же присовокупляеть, что онь считаеть дёло созиданія государства "завершеннымъ въ общихъ чертахъ" 2). Это заявление остается безъ возраженій со стороны представителя безусловной религіозной точки зрѣнія и, стало быть, выражаеть взглядь самого Соловьева. Но это еще не все. Мысль "Трехъ разговоровъ" вообще заключается въ томъ, что задача государства-въ осуществленіи временнаго перемирія между добрыми и злыми историческими силами. Какъ только кончается это перемиріе, положительная миссія государстватыть самымъ оказывается исчерпанною. Съ этой минуты государство не только безполезно, но и прямо вредно: оно служить уже не Христу, а антихристу.

Эта новая оцѣнка государства, очевидно, выражаеть собою полный перевороть въ воззрѣніяхъ Соловьева, переходъ отъ теократическаго пониманія "Царствія Божія" къ анархическому. Съ одной стороны Царствіе Божіе безгосударственно: въ этомъ отношеніи Соловьевъ, повидимому, кое-чему научился у своего противника; съ другой стороны государство рисуется ему какъ область внѣбожественная и, слѣдовательно, внѣцерковная, неподчиненная какому-либо вѣроисповѣданію.

Раньше Соловьевъ думалъ, что разрѣшеніе религіозной пробле-

<sup>1)</sup> T. VIII, 457-458.

<sup>2)</sup> T. VIII, 497.

мы государства заключается въ подчинени его Церкви. Наоборотъ, въ "Трехъ разговорахъ" оно представляется ему въ видъ самостоятельнаго, чисто человъческаго и мірского учрежденія. Съ перваго взгляда кажется непонятнымъ, какимъ образомъ такое государство можеть служить цёлямь религіи. А между тёмь, въ этомъ парадоксальномъ утвержденіи заключается одна изъ глубочайшихъ мыслей "Трехъ разговоровъ". Именно въ качествъ учрежденія внъконфессіональнаго государство можеть быть ценно съ религіозной точки зрѣнія. Одно изъ коренныхъ религіозныхъ требованій заключается въ томъ, чтобы отношенія человѣка къ Богу были совершенно свободны, т. е. независимы отъ какого-либо внъшняго давленія. Чтобы союзь человіка сь Богомь быль свободень, требуется во-первыхъ, чтобы человъкъ не быль привлекаемъ къ нему какими-либо побужденіями корысти и страха, а во-вторыхъ, чтобы принудительный государственный аппарать совершенно не вмѣшивался въ область въры. Первое, чего требуеть оть государства религіозный, христіанскій идеаль, заключается въ томъ, чтобы оно не оказывало односторонняго покровительства какой-либо одной въръ или исповъданію, а обезпечивало общую свободу; во имя религіозныхъ мотивовъ оно не должно полагать этой свободъ никакихъ ограниченій: ибо свобода вспх религіозныхъ мивній составляеть необходимое предварительное условіе явленія Безусловной Истины. Съ этой точки зрвнія въ государствв не должно быть никакого господствующаго вёроисповёданія: ибо съ господствующимъ в роиспов заніемъ всегда связываются изв зстныя мірскія выгоды, которыя несовивстимы съ идеаломъ совершенной свободы человъка въ Богъ. Религіозный идеалъ требуетъ не подчиненія государства Церкви и тімь болье-Церкви государству, а какъ разъ наоборотъ-полнаго ихъ взаимнаго освобожденія.

Чтобы быть дѣйствительной и совершенной выразительницей Царствія Божія, Церковь должна стать царствомъ не отъ міра сего; для этого она должна окончательно отрѣшиться отъ всякой юридической связи съ государственной властью. Въ ней не должно оставаться мѣста для какого-либо принудительнаго властвованія. Въ этомъ и заключается та правда религіознаго анархизма, о которой говорится въ Евангеліи: "князья народовъ господствують надъ ними, и вельможи властвують надъ ними. Но между вами да не будеть такъ: а кто хочеть между вами быть большимъ, да будеть вамъ слугою". Этими словами Евангеліс утверждаеть анархію не въ порядкѣ мірскомъ, а въ Царствіи Божіємъ. Оно не требуеть немедленнаго упраздненія государства. Оно хочетъ не того, чтобы отношенія принудительнаго властвованія исчезли изъ міра, лежащаго во злѣ, а лишь того, чтобы эти отношенія и основанныя на нихъ іерархическія различія не вторгались въ Церковь, чтобы они стали ей окончательно посторонними и внѣшними.

Разумбется, окончательный идеаль заключается не въ этомъ раздвоеніи между Церковью и государствомъ, не въ этомъ взаимномъ отръшении и освобождении духовной и мірской сферы. Въ идев Церковь есть универсальное Царствіе Христово, которое должно стать всёмь во всемь; въ действительности она -- только особый домъ Божій среди другихъ-не божіихъ строеній. Въ пределахъ земного своего существованія Богочеловечество есть ограниченное явленіе. И въ этомъ противорѣчіи между идеаломъ и дъйствительностью заключается аномалія нашего несовершеннаго земного существованія. Но разр'єшеніе этого противор'єчія—не въ теократіи и не въ мірской монархіи, не въ поглощеніи государства и не въ его уничтожении. Разръшение заключается въ соверщенномъ и окончательномъ упраздненіи внібожественной дійствительности какъ такой, -- въ томъ совершенномъ объединеніи міра и Бога, которое составляеть конець мірового процесса, въ грядущемъ всеобщемъ воскресеніи.

Въ этомъ и заключается окончательный отвъть на вопросъ, поставленный споромъ Соловьева и Толстого. Оба они искали Царствія Божія и правды его; оба они поняли его, какъ всеединство, въ которомъ человѣкъ долженъ безъ остатка принадлежать Богу, какъ ивлостную жизнь, въ которой должно исчезнуть раздвоеніе нашего земного существованія. И въ этомъ оба были правы; правы они были и въ томъ, что это объединеніе людей въ Царствіи Божіемъ должно совершаться уже здѣсь на землѣ. Ибо Царствіе Божіе въ одно и то же время и близко и далеко отъ насъ. Въ совершенствѣ своемъ оно—за предѣлами нашей дѣйствительности, но въ зародышномъ, зачаточномъ видѣ, оно уже снутри насъ и, стало быть,—здѣсь.

Но въ своемъ исканіи Царствія Божія запредѣльнаго и имманентнаго, оба писателя, хотя и каждый по своему, впали въ одно и то же заблужденіс. Оба они ошиблись въ опредѣленіи грани

между запредѣльнымъ и здѣшнимъ: оба попытались утвердить совершенство Божескаго Царства въ формахъ непросвѣтленнаго, здѣшняго существованія. И на этомъ оба потерпѣли крушеніе.

Злѣйшій врагь всякой религіозной мысли есть тоть имманентизмь, коего сущность заключается въ утвержденіи здѣшняго, земного какъ безусловнаго. Въ чистомъ своемъ видѣ онъ выражается въ совершенномъ и полномъ отрицаніи запредѣльнаго; для религіозной мысли такой имманентизмъ не опасенъ: гораздо стращнѣе для нея тѣ компромиссныя, смѣшанныя формы имманентизма, гдѣ утвержденіе здѣшняго прикрывается тѣми или другими религіозными формулами, гдѣ трансцендентное, Божественное незамѣтно для неискушеннаго глаза заслоняется той или другой земной величиной. Этому имманентизму заплатили ту или иную дань почти всѣ религіозные мыслители, а въ ихъ числѣ—Соловьевъ и Толстой.

На всв попытки воплотить Царствіе Божіе въ формв внешней, принудительной организаціи Толстой совершенно справедливо отвъчаеть текстомъ Евангелія---, И не придеть Царствіе Божіе примѣтнымъ образомъ и не скажутъ: вотъ оно здѣсь или вотъ оно тамъ. Ибо вотъ: Царствіе Божіе внутрь васъ есть" (Лук. XVII, 20). Этотъ тексть действительно изобличаеть ложность теократіи и, следовательно, быеты по Соловыеву. Вы качестве порядка мистическаго, Царствіе Божіе не можеть найти себѣ адекватнаго внъшняю выраженія въ порядкѣ естественномъ. Оно можетъ прійти примътными образоми только въ той преображенной, одухотворенной действительности, где какъ духовный, такъ и телесный міръ становится прозрачной оболочкой и совершеннымъ воплощеніемъ Божественнаго. До всеобщаго преображенія, которое откроется въ концѣ вѣковъ,--Царствіе Божіе не находить себѣ адекватныхъ внёшнихъ формъ, не исчерпывается никакимъ внёшнимъ деломъ, не наполняетъ внешней действительности и постольку остается внутреннимъ.

Но этимъ изобличаются ошибки не только Соловьева, но и Толстого; ибо, если Царствіе Божіе не приходить примѣтнымъ образомъ, то оно не осуществится ни въ формѣ третьяго Рима, ни въ противоположной формѣ всеобщаго отказа отъ уплаты податей, отъ воинской повинности и отъ повиновенія государству. Оно не есть ни теократія, ни мірская анархія. Ложь той и другой заключается въ попыткѣ осуществить всеединство Царствія Вожія въ томъ естественномъ порядкѣ, который по самому существу своему обреченъ на раздвоеніе. Анархія Толстого отказывается отъ сопротивленія злу въ мірѣ, гдѣ злу принадлежитъ сила; этимъ она не утверждаетъ Царствія Божія, а только разнуздываетъ злыя силы. Не утверждаетъ Царствія Божія и государство: ибо оно не побѣждаетъ зла извнутри, а только ограничиваетъ его внѣшней силой пробужденія.

Совершенство Царствія Божія находить себѣ полное, адекватное выраженіе только въ совершенной побѣдѣ надъ зломъ, въ совершенномъ и всеобщемъ одухотвореніи, Чтобы побѣдить раздвоеніе духовнаго и мірского, Богочеловѣчество должно преодолѣть раздвоеніе духа и плоти. Эта окончательная побѣда выражаетъ собою предѣлъ и конецъ здѣшняго существованія. Ибо Царствіе Христово—не отъ міра сего.

Кн. Евгеній Трубецкой.

## Гр. Л. Н. Толстой и св. Іоаннъ Златоусть въ ихъ взглядѣ на жизненное значеніе заповѣдей Христовыхъ.

Я люблю заповъди Твои... всли повельнія Твои—всь признаю справедливыми... Откровенія Твои, которыя Ты заповъдаль,—правда и совершенная истина. Пс. СХУШ, 127—138.

Взаимное непонимание великими современниками другь другаявленіе обычное во всѣ времена. Случайныхъ жизненныхъ столкновеній, несущественныхъ разногласій, при единствѣ основъ жизнепониманія, бываеть достаточно для того, чтобы это непониманіе переходило въ прямую враждебность. Но когда великихъ людей отдѣляють вѣка, тогда, обычно, исчезаеть всякая нетерпимость, является полная готовность объективно оцёнивать дёятельность и ученіе своихъ предшественниковъ, и даже замічается усиленное желаніе находить въ этой діятельности и ученіи черты сходства со своимъ міровоззрѣніемъ и со своимъ путемъ практическаго служенія человічеству. Графъ Л. Н. Толстой даль достаточно примфровъ такого именно отношенія къ религіозной проповъди своихъ современниковъ и предшественниковъ. Разбираться въ горячемъ споръ Л. Н. Толстого съ современными проповъдниками христіанства еще не пришло время. Глубокое же и искреннее уваженіе Льва Николаевича къ древнимъ великимъ учителямъ человъчества сквозить почти во всёхь его сочиненіяхь послёднихь десятильтій. Конфуцій, Лао Тсе, Зороастръ, Сократъ, Эпиктетъ и другіе—все это не мертвыя имена въ устахъ Л. Н. Толстого, но живые выразители одной всемірной религіозной идеи... Но есть цёлый рядъ учителей человёчества, которыхъ отдёляеть отъ насъ полторы тысячи леть, и къ которымъ темъ не менее у Льва Николаевича пробивается такое різко отрицательное отношеніе, какъ будто они являлись непосредственными противниками самаго дорогого, самаго родного ему въ его проповеди. Это-рядъ великихъ отцовъ и учителей Церкви, особенно начиная съ IV вѣка. Въ нихъ Левъ Николаевичъ Толстой видитъ систематическихъ извратителей христіанской идеи вселенской любви; и, терпимо не замѣчая коренныхъ несогласій своей системы съ религіозными ученіями другихъ религій, гр. Толстой горячо негодуетъ по поводу несущественныхъ разногласій въ пониманіи святыми отцами отдёльныхъ стиховъ Евангельскаго нравственнаго ученія, сравнительно съ пониманіемъ самого Льва Николаевича. Для последняго великіе церковные учители 4—5 віковъ находятся въ одной плоскости съ современными ему богословами, и самъ Л. Н. Толстой быль, повидимому, искренно убъжденъ, что какъ теперь наше казенное богословіе едва ли не главныя усилія направляеть на защиту всего, противнаго духу Христова ученія, но фактически царящаго въ жизни, такъ точно такую же печальную задачу поставляли себъ и древніе учители Церкви. И подобное недоразумѣніе имѣло грустные результаты. Не будетъ, думаемъ, оскорбленіемъ памяти усопшаго Льва Николаевича сказать, что онъ быль недостаточно знакомъ съ твореніями великихъ церковныхъ учителей. Но еще менье эти творенія знакомы читателямь сочиненій гр. Точстого, и для нихъ все историческое христіанство могло представляться въ видъ процесса постояннаго приспособленія къ преданіямъ человъческимъ, что такъ сурово, и часто справедливо, гр. Толстой обличаль въ направленіи современнаго богословія. А между тімь это не такъ, и въ отношеніи того, что въ пропов'єди самого Льва Николаевича является самымъ цённымъ для сознанія современнаго христіанскаго человічества, въ лиці учителей древней церкви гр. Толстой имъль предшественниковъ неизмъримо болъе близкихъ, чамь великіе восточные мудрецы... Потребовалось бы цалое богословское изследование, чтобы выяснить вопросъ о сравнительномъ пониманіи Евангельскаго нравственнаго ученія святыми учителями

Церкви и Л. Н. Толстымъ. Въ настоящемъ очеркѣ я позволю себѣ въ нѣсколькихъ штрихахъ сопоставить взглядъ гр. Толстого и св. Іоанна Златоустаго по одному изъ важнѣйшихъ для того и для другого вопросу — о жизненномъ значеніи Евангельскаго ученія, въ частности—заповѣдей нагорной проповѣди. Выбираю св. Іоанна потому, что это величайшій изъ учителей Церкви конца IV-го и начала V-го вѣка, съ одной стороны; а съ другой—потому, что Л. Н. Толстой чаще другихъ называетъ имя этого великаго христіанскаго проповѣдника и нерѣдко, особенно въ первыхъ своихъ богословскихъ сочиненіяхъ, не безъ недоброжелательства, какъ имя человѣка, много содѣйствовавшаго будто бы извращенію истиннаго христіанства.

Религіозная пропов'єдь гр. Л. Н. Толстого вызвала самое различное отношеніе къ себѣ — отъ благоговѣйнаго преклоненія до злобныхъ проклятій. Но есть одна сторона въ религіозно-нравственномъ ученін великаго писателя, которая не могла не заставить преклониться предъ нею самыхъ убъжденныхъ противниковъ Толстовскаго пониманія христіанства. Это — горячая вёра и убёжденная защита Л. Н. Толстымъ жизненнаго значенія Евангельскаго нравственнаго ученія. Левъ Николаевичь съ присущей ему геніальной проницательностью не могь, конечно, пройти мимо того явленія нашей жизни, которое неизбіжно поражаеть сознаніе каждаго, внимательно прочитавшаго Евангеліе. Явленіе это --- совершенный разладъ между евангельскими требованіями, признаваемыми при томъ святыми и истинными, и наличной жизнью христіанскаго общества. Съ присущей Льву Николаевичу искренностью и честностью, онъ не могь закрыть глаза предъ лицомъ разъ открывшейся ему жизненной неправды, равно какъ не могъ удовлетвориться и тъмъ примиряющимъ путемъ, которымъ стремится притупить остроту сознанія этого разлада господствующее направленіе современнаго богословія. Напротивъ, этотъ именно путь, думается, отчасти и содъйствоваль тому, что гр. Толстой навсегда ушель изъ Церкви и съ такою страстностью и односторонностью критиковаль все оть нея исходившее. И чтобы яснье выступила занятая Л. Н. Толстымъ въ интересующемъ насъ вопросъ позиція, мы въ двухъ словахъ охарактеризуемъ основы того решенія вопроса объ отношеніи Евангелія къ жизни, какое, всёми путями защищаеть господствующее направление современнаго богословия.

Передъ лицомъ поражающаго разлада между евангельскимъ ученіемъ, высокимъ и чистымъ, и современнымъ укладомъ христіанской жизни, основанномъ на лжи и насиліи, всегда быль великъ соблазнъ признать евангельское ученіе мечтой, утопіей, признать, что возвъщенныя имъ новыя начала человъческихъ отношеній неприложимы къ жизни. Для невърующей мысли этотъ соблазнъ легко разрѣшался отверженіемъ Евангелія какъ основы жизни. Но въ трудномъ положеніи оказывалось христіанское богословіе. Признать, что евангельская проповёдь не пригодна для жизни, значило отречься отъ Христа, какъ Учителя человъчества. Признать нормальнымь самый факть режущаго разлада между ученіемъ Христа и жизнью христіанъ не дозволяла совъсть, для которой невозможно върить въ одно, а жить по другому. Признать же, наконецъ, что евангельское ученіе жизненно въ собственномъ смыслъ слова, т. е. — что согласно съ нимъ можетъ и должна устрояться какъ личная, такъ и общественная жизнь, это значило въ принципъ разрушить всъ устои современной культурной жизни и проповъдывать юродство Христа ради. И воть, нашлась дорога, обходящая, по видимости, эти затрудненія: освятить отъ имени божественнаго ученія устои современной жизни и особенно жизни общественной. Такъ именно оказалось возможнымъ путемъ искусственнаго подбора мѣстъ изъ новозавѣтнаго, а преимущественно ветхозавѣтнаго Откровенія оправдывать весь строй, господствующій въ жизни христіанскихъ народовъ, со всёми его ужасами, противными не только христіанскому, но и языческому сознанію. Такъ, именно, и наша русская богословская мысль запятнала себя попытками доказать совершенное согласіе съ основами евангельскаго ученія и крупостного права, и тулесных наказаній, и роскоши богатыхъ, и смертной казни, и насилія надъ совъстью людей, и многаго, многаго другого...

И ясно, что такой путь примиренія Евангелія и жизни могь только оттолкнуть оть себя и Л. Н. Толстого, и всякаго, добросовъстно ищущаго истины. Нужно было искать новые пути устроенія христіанской жизни и созиданія царства Божія на земль, и русская богословствующая мысль въ этомъ именно направленіи уже внесла цынный вкладъ въ сокровищницу постиженія христіанской истины человычествомь. Гр. Л. Н. Толстой, въ частности, въ раскрытіи своего взгляда на отношеніе Евангелія къ жизни

всегда исходиль изъ отрицанія господствующей въ оффиціальномъ нашемъ богословіи тенденціи къ оправданію существующихъ формъ жизни и человъческихь отношеній и поставляль себъ въ прямую задачу доказывать, что Евангеліе Христово жизненно въ собственномъ смыслѣ слова, что Христосъ Спаситель училъ людей правдѣ жизни именно для того, чтобы они исполняли Его ученіе здёсь и теперь. Признавая безконечную высоту Евангельского идеала жизни, благодаря которой между идеаломъ и жизнью всегда будетъ неизмѣримое разстояніе 1), Л. Н. Толстой тѣмъ не менѣе нашелъ возможнымъ признать этотъ идеалъ истинно жизненнымъ, а тъ заповъди или частныя нормы поведенія христіанина, которыя указаны Господомъ, особенно въ Его нагорной беседе, такими, которыя могутъ и должны осуществляться въ жизни и явиться въ своемъ осуществленіи путемъ къ водворенію на землі среди людей Царства Божія. А что же дёлать съ вёковыми человёческими обычаями и преданіями? Что дёлать со всёмъ тёмъ, что противорѣчить идеѣ равенства и братства людей какъ дѣтей одного Небеснаго Отца, что подавляеть христіанскую свободу, что несовмѣстимо съ закономъ любви и прощенія? Отвергнуть все это, если вы върите во Христа и Его Евангеліе, или отвергнуть Христа и Евангеліе, если вы върите въ жизнь міра и въ ея правдутаковъ быль отвъть гр. Толстого. Онь высоко подняль знамя, на одной сторонъ котораго было написано: "ищите Царствія Божія и правды Его", и этотъ святой девизъ привлекъ сердца людей, тоскующихъ по Богѣ и правдѣ, къ великому русскому писателю, а последній обезсмертиль свое имя горячей и преданной любовью къ добру, пониманіемъ его великой внутренней силы и святости.

Ученіе Л. Н. Толстого, такъ недавно еще ушедшаго отъ насъ, достаточно знакомо русскому обществу. Подробно излагать это ученіе не буду, но отмічу ті основныя положенія, которыми опреділяется взглядь гр. Толстого на отношеніе Евангелія къ жизни. Первое утвержденіе въ этомъ случай — утвержденіе жизненности евангельскаго идеала нравственнаго совершенства. "Христовъ идеаль—приводить Левъ Николаевичъ слова, типичныя для современ-

<sup>1) &</sup>quot;Царство Божіе внутри вась", ч. І, стр. 134. (Берлинское изданіе).

наго христіанина, -- недостижимъ, поэтому не можетъ служить намъ руководствомъ въ жизни; о немъ можно говорить, мечтать, но для жизни онъ неприложимъ" 1). Дѣйствительность, какъ уже было упомянуто, видимо подтверждала подобныя соображенія: всёми признавалась высота и чистота Христова ученія, но жизнь утверждалась на другихъ основахъ. Но съ этимъ-то разсужденіемъ и не соглашается прежде всего гр. Толстой. "Это разсужденіе, говорить онъ, съ самаго начала невърно; невърно прежде всего то, чтобы идеаль безконечнаго совершенства не могь быть руководствомъ въ жизни, и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказавъ, что онъ мнв не нуженъ, такъ какъ я никогда не достигну его, или принизить идеаль до тёхъ ступеней, на которыхъ хочется стоять моей слабости... Идеалъ совершенства, данный Христомъ, не есть мечта или предметь риторическихъ проповъдей, а есть самое необходимое, всъмъ доступное руководство нравственной жизни людей... Въ какомъ бы ни находился человъкъ положеніи, всегда достаточно ученія идеала, даннаго Христомъ, для того, чтобы получить самое върное указаніе тъхъ поступковъ, которые должно и не должно совершать. Но надо върить этому ученію вполнъ, этому одному ученію, — перестать върить во всъ другія... Христіанское ученіе идеала есть то единое ученіе, которое можеть руководить человічествомь. Нельзя, не должно замѣнять идеаль Христа внѣшними правилами, а надо твердо держать этотъ идеаль передъ собой во всей чистотъ его и, главное, върить въ него "2). Итакъ, Евангеліе возвъщаетъ жизненную истину. "Христосъ училъ истинъ, и если истина отвлеченная есть истина, то она будеть истиною и въ дъйствительности. Если жизнь въ Богѣ есть единая жизнь истинная, блаженная сама въ себъ, то она истинна, блаженна здъсь на землъ при всъхъ возможныхъ случайностяхъ жизни. Если бы жизнь здёсь не подтверждала ученія Христа о жизни, то это ученіе было бы не истинно" 3). И самъ Христосъ "понималъ свое ученіе не какъ какой-то далекій идеаль человічества, исполненіе котораго невоз-

<sup>1) &</sup>quot;Послѣсловіе къ Крейцеровой сонать", Всемірн. Вѣст., февр. 1906 г., стр. 17.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 17-20.

<sup>3) &</sup>quot;Въ чемъ моя вѣра", Всемірн. Вѣст., февр. 1906 г., стр. 116. сборникъ.

можно... Онъ понималь свое ученіе, какъ діло, такое діло, которое спасеть человъчество. И Онъ не мечталь на крестъ, а кричаль и умерь за свое ученіе, и также умирали и умруть еще много людей. Нельзя говорить про такое ученіе, что оно мечта" 1). Конечно, христіанскій идеаль безконечнаго совершенства не можеть быть всецёло достигнуть человёкомъ какъ существомъ ограниченнымъ. Но вся жизнь последняго должна определяться стремленіемъ приближаться къ этому идеалу, осуществлять его, и въ этомъ только случав самый идеалъ будетъ жизненнымъ. "Совершенство, указываемое христіанамъ, безконечно и никогда не можеть быть достигнуто, и Христось даеть свое ученіе, им'я въ виду то, что полное совершенство никогда не будетъ достигнуто, но что стремленіе къ полному безконечному совершенству постоянно будеть увеличивать благо людей, и что благо это поэтому можеть быть увеличиваемо до безконечности... Истинная жизнь, по помежнимъ ученіямъ, состоитъ въ исполненіи правилъ закона; по ученію Христа, она состоить въ наибольшемъ приближеніи къ указанному и сознаваемому каждымъ-челов комъ въ себ в божескому совершенству... Только этотъ идеалъ полнаго безконечнаго совертенства действуеть на людей и подвигаеть ихъ къ деятельности. Умъренное совершенство теряетъ свою силу воздъйствія на души людей. Ученіе Христа только тогда имжеть силу, когда оно требуетъ полнаго совершенства, т. е. сліянія божеской сущности, находящейся въ душѣ каждаго человѣка, съ волей Бога, соединенія сына съ Отцомъ... Жизнь человъческая есть составная изъ жизни животной и жизни Божеской. И чемь больше приближается эта составная жизнь къ жизни Божеской, темъ больше жизни. Жизнь по ученію христіанскому есть движеніе къ Божескому совершенству". "Ученіе Христа руководить людьми указаніемъ имъ того безконечнаго совершенства, къ которому свойственно произвольно стремиться всякому человѣку, на какой бы ступени несовершенства онъ ни находился" 2). И, по мысли гр. Толстого, въ нагорной проповёди выражень Христомь и вёчный идеаль, къ которому свойственно стремиться людямъ, и та степень его достиженія, которая уже можеть быть въ наше время достигнута людь-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 29.

<sup>2) &</sup>quot;Царство Божіе внутри васъ", стр. 139—143.

ми" 1). И заповъди нагорной проповъди 2), по гр. Толстому, суть только какъ бы "замътки на безконечномъ пути совершенства, къ которому идеть человъчество", и заповъди эти не какой-либо недостижимый идеаль, но обязательная норма жизни, которая указываеть "степень, ниже которой вполнѣ возможно не спускаться въ достиженіи идеала" 3). Много спорили съ Л. Н. Толстымъ относительно правильности пониманія имъ частнаго смысла этихъ заповъдей, но общій смысль ихъ безспорень, конечно, одинаково и для православнаго богослова и для гр. Толстого. Всё согласны съ тёмъ, что въ человъческомъ обществъ, живущемъ по закону Христову, не должно быть гнвва, развода, клятвы, насилія, вражды національностей... Сущность и жизненный интересъ спора сосредоточивался не на томъ, можно ли оставить въ Евангеліи Матеея V, 22 слово "напрасно" или какъ понимать слова стиха 32: "кромъ вины любодъянія", —но на томъ: эти заповъди могуть ли и должны ли стать действительнымъ руководствомъ въ жизни современнаго христіанскаго общества, или же должны считаться нормами недостижимоидеальными, осуществление которыхъ возможно лишь въ какомъ-то новомъ совершенномъ обществъ, въ какомъ-то неизвъстномъ будущемъ. И гр. Л. Н. Толстой съ истиннымъ духовнымъ мужествомъ взяль на себя задачу доказать, что эти заповъди-не утопическія мечтанія, но истинно жизненныя правила поведенія; что и теперь, когда въ жизни царятъ тьма и злоба, эти заповъди въ своемъ осуществленіи должны явиться источникомъ свёта въ жизни и путемъ къ ея совершенствованію. Въ этомъ, именно, пунктѣ ученіе Льва Николаевича поднимается на высоту истинно христіанскаго воодушевленія, и защита высшей разумности и спасительности ученія Христова останется навсегда памятникомъ того, насколько человъческая совъсть способна постигать духовную силу добра. Для Льва Николаевича центръ тяжести въ отрицательныхъ, по

<sup>1) &</sup>quot;Мысли о новомъ жизнепониманіи", стр. 190, изд. 1907 г.

<sup>2)</sup> Заповедей этихъ пять по счету Л. Н. Толстого. Первая заповедь—не оскорблять людей словомъ. Вторая—чистота брачной жизни. Третья—не клясться. Четвертая—не платить эломъ за эло, терпеть обиды, отдавать рубаху. Пятая—не делать зла врагамъ, говорить о нихъ доброе, не делать различія между ними и своими гражданами. Тамъ же, стр. 190—191.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 190.

его терминологін, запов'ядяхъ нагорной пропов'яди и заключается въ ученіи Господа о непротивленіи злу или злому. Поэтому и свою мысль о томъ, что заповъди Христовы исполнимы здъсь и теперь, гр. Толстой утверждаеть главнымь образомь на доказательствъ того, что исполнение заповъди о непротивлении возможно для современнаго человъка, и направлена эта заповъдь не къ тому, чтобы увеличить его страданія, но напротивь, къ повышенію его блага и истинной радости. Подобный же смыслъ имфютъ и другія запов'єди Христа Спасителя: он отв'єчають вполн внутреннему стремленію нашего сердца и должны явиться не обремененіемъ нашей жизни, но спасти ее отъ гибели. "Христосъ не призываеть къ худшему отъ лучшаго, а напротивъ-къ лучшему оть худшаго. Онъ жалбеть людей... Онъ говорить, что ученики Его будутъ гонимы за Его ученіе и должны терпъть и переносить гоненія міра съ твердостью. Но Онъ не говорить, что, слѣдуя Его ученію, они будуть терпіть больше, чімь слідуя ученію міра; напротивъ, Онъ говорить, что тѣ, которые будуть слѣдовать ученію міра, ті будуть несчастны, а ті, которые будуть слідовать Его ученію, тв будуть блаженны... Разбирая отвлеченно вопросъ о томъ, чье положение будеть лучше: учениковъ Христа или учениковъ міра, нельзя не видіть, что положеніе учениковъ Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, дълая всёмъ добро, не будутъ возбуждать ненависти въ людяхъ. Ученики Христа, не дѣлая никому зла, могутъ быть гонимы только злыми людьми; ученики же міра должны быть гонимы всёми, такъ какъ законъ жизни учениковъ міра есть законъ борьбы, т. е. гоненіе другь друга" 1). "Исполненіе ученія Христа трудно. Христосъ говоритъ: кто хочетъ следовать Мне, тотъ оставь домъ, поля, братьевъ и иди за Мной, Богомъ, и тотъ получить въ мірѣ этомъ во сто разъ больше домовъ, полей, братьевъ и, сверхъ того, жизнь вѣчную. И никто не идеть. А въ ученіи міра сказано: брось домъ, поля, братьевъ, уйди изъ деревни въ гнилой городъ... живи безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь въ мірѣ этомъ и не получишь никакой въчной жизни. И всъ пошли... и никто не находить, что это трудно... Можно бы повърить, что исполнение учения Христа трудно и

<sup>1) &</sup>quot;Въ чемъ моя въра", стр. 116—117.

страшно, и мучительно, если бы исполненіе ученія міра было очень легко и безопасно, и пріятно. Но въдь ученіе міра много трудиве, опаснъе и мучительнъе исполненія ученія Христа. Были когда-то, говорять, мученики Христа, но это было исключеніе; ихъ насчитывають у насъ 380 тысячь — вольныхъ и невольныхъ за 1800 лътъ; но сочтите мучениковъ міра-и на одного мученика Христа придется 1000 мучениковъ ученія міра, страданія которыхъ въ 100 разъ ужаснъе. Однихъ убитыхъ на войнахъ нынъшняго стольтія (XIX) насчитывають тридцать милліоновь человькь. Въдь это все мученики ученія міра... Не мученикомъ надо быть во имя Христа, не этому учить Христосъ. Онъ учить тому, чтобы перестать мучить себя во имя ученія міра" 1). "Христось призываеть людей къ ключу воды, которая туть подлѣ нихъ... Стоитъ только повърить Христу, что Онъ принесъ благо землю, повърить, что Онъ дасть намъ, жаждущимъ, ключъ воды живой, и придти къ нему, чтобы увидъть.., какъ безумны наши страданія, когда спасеніе наше такъ близко... Поколінія за покольніями мы трудимся надъ обезпеченіемъ своей жизни посредствомъ насилія и упроченія своей собственности. Счастье нашей жизни представляется намъ въ наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы такъ привыкли къ этому, что ученіе Христа о томъ, что счастье человъка не можетъ зависъть отъ власти и имънія, что богатый не можеть быть счастливь, представляется намъ требованіемъ жертвы во имя будущихъ благъ. Христосъ же и не думаеть призывать насъ къ жертвъ, Онъ, напротивъ, учить насъ не дълать того, что хуже, а дълать то, что лучше для насъ здъсь, въ этой жизни... Онъ говорить, что человѣкъ, живущій по Его ученію, должень быть готовь умереть во всякую минуту оть насилія другого, оть холода и голода, и не можеть разсчитывать ни на одинъ часъ своей жизни. И намъ кажется это страшнымъ требованіемъ какихъ-то жертвъ; а это только утвержденіе тъхъ условій, въ которыхъ неизб'єжно живеть всякій челов'єкъ. Ученикъ Христа долженъ быть готовъ во всякую минуту на страданія и смерть. Но ученикъ міра развѣ не въ томъ же положеніи? Мы такъ привыкли къ нашему обману, что все, что мы дѣлаемъ для мнимаго обезпеченія нашей жизни: наши войска, крѣпости,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 124—125.

наши запасы, наши одежды, наши леченія, все наше имущество, наши деньги, кажется намъ чёмъ-то действительнымъ, серьезно обезпечивающимъ нашу жизнь. Мы такъ привыкли къ этому обману мнимаго обезпеченія своей жизни и своей собственности, что и не замѣчаемъ всего, что мы теряемъ изъ-за него; а теряемъ мы все-всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой объ этомъ обезпеченіи жизни, приготовленіемъ къ ней, такъ что жизни совсѣмъ не остается. Вёдь стоить на минуту отрёшиться оть своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы дълаемь для мнимаго обезпеченія нашей жизни, мы дълаемъ не для того, чтобы обезпечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этимъ, забывать о томъ, что жизнь никогда не обезпечена и не можеть быть обезпечена... Ученіе Христа о томъ, что жизнь нельзя обезпечить и надо всегда, всякую минуту, быть готовымь умереть, несомнанно лучше, чамь учение міра о томъ, что надо обезпечить свою жизнь; лучше темь, что неизбежность смерти и необезпеченность жизни остается та же при ученіи міра и при ученіи Христа, но сама жизнь, по ученію Христа, не поглощается уже вся безъ остатка празднымъ занятіемъ мнимаго обезпеченія своей жизни, а становится свободной и можеть быть отдана единой, свойственной ей цѣли—благу себѣ и людямъ" 1).

Мы привели лишь небольшіе отрывки изъ тѣхъ сочиненій гр. Л. Н. Толстого, гдѣ онъ защищаеть жизненное значеніе ученія Христова. И во множествѣ другихъ мѣстъ онъ предусматриваетъ возраженія противъ исполнимости заповѣдей Христовыхъ и нерѣдко съ несокрушимой силой обнаруживаетъ въ этихъ возраженіяхъ невѣріе въ силу добра. Вотъ нѣкоторые примѣры такой защиты жизненности заповѣдей Христовыхъ.

"Всякое ученіе истины—мечта для заблудшихъ. Мы до того дошли, что есть много людей, которые говорятъ, что ученіе это (Христово) мечтательно, потому что оно несвойственно природѣ человѣка. Несвойственно, говорятъ, природѣ человѣка подставить другую щеку, когда его ударятъ по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на другого. Человѣку свойственно, говорятъ, отстаивать себя, свою безопасность, безопасность своей семьи, собственность, другими словами—

<sup>1) &</sup>quot;Въ чемъ наше счастье", т. 13, стр. 19-20, изд. 1890 г.

человъку свойственно бороться за свое существованіе... Но стоить на минуту отръшиться отъ той мысли, что устройство, которое существуеть и сдёлано людьми, есть наилучшее священное устройство жизни, чтобы возражение о томъ, что учение Христа несвойственно природѣ человѣка, тотчасъ же обратилось противъ возражателей. Кто будеть спорить о томъ, что не то, что мучить и убивать человѣка, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно природѣ человѣка. А между тѣмъ все устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека пріобретается страданіями другихъ людей, которыя противны природѣ человѣка... Не будемъ только утверждать, что привычное зло, которымъ мы пользуемся, есть неизмённая божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человъку: насиліе или законъ Христа... Стоить только понять разъ, что всякая радость моя, всякая минута спокойствія при нашемъ устройствѣ жизни, покупается лишеніями и страданіями тысячь, удерживаемыхь насиліемь; стоить разъ понять это, чтобы понять, что свойственно всей природѣ человъка, т. е. не одной животной, но и разумной и животной природѣ человѣка; стоитъ только понять законъ Христа во всемъ его значеніи, со всёми его последствіями, для того чтобы понять, что не ученіе Христа несвойственно человічнеской природі, но все оно только въ томъ и состоитъ, чтобы откинуть несвойственное человъческой природъ мечтательное ученіе людей о противленіи злу, дѣлающее ихъ жизнь несчастною 1). "И кто ударитъ тебя въ правую щеку... подставь левую"... Эти слова представлялись мне требованіемъ страданій, лишеній, несвойственныхъ человіческой природъ. Слова эти умиляли меня, мнъ чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить ихъ. Но мнѣ чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду въ силахъ исполнить ихъ только чтобы страдать... Теперь мив стало ясно, что Христосъ ничего не преувеличиваеть и не требуеть никакихъ страданій для страданій... Онъ говорить: "не противьтесь злому, и дълая такъ, впередъ знайте, что могутъ найтись люди, которые, ударивъ васъ по одной щекѣ и не встрѣтивъ отпора, ударять и по другой; отнявъ рубаху, отнимуть и кафтань; воспользовавшись вашей работой, заставять еще работать; будуть брать безъ отдачи. И воть, если это такъ

<sup>1) &</sup>quot;Въ чемъ моя вера", стр. 30—31.

будеть, то вы все-таки не противьтесь злому. Тѣмъ, которые будуть вась бить и обижать, все-таки дёлайте добро"... И когда я поняль эти слова такъ, какъ они сказаны..., я понялъ, что Христосъ нисколько не велить подставлять щеку и отдавать кафтанъ для того, чтобы страдать, а велить не противиться элому и говорить, что при этомъ придется можеть быть и страдать. Точно такъ же, какъ отецъ, отправляя своего сына въ далекое путешествіе, не приказываеть своему сыну не досыпать ночей, не добдать, мокнуть и зябнуть, если онъ скажеть: "ты иди дорогой, и если придется тебъ и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди"... Я върю, что жизнь моя по ученію міра была мучительна, и что только жизнь по ученію Христа дасть мнѣ въ этомъ мірѣ то благо, которое предназначилъ мнъ отецъ жизни. Я върю, что учение это даетъ благо всему человъчеству, спасаетъ меня отъ неизбъжной погибели и даеть мив здесь наибольшее благо 1).—"Ученикъ Христа будеть бъдень, — предусматриваеть Л. Н. Толстой возраженія противъ исполнимости заповъдей Христовыхъ. Да, онъ будетъ поль--зоваться всегда всёми тёми благами, которыя ему даль Богь... Бъденъ — это значитъ: онъ будетъ не въ городъ, а въ деревнъ, не будеть сидъть дома, а будеть работать въ лъсу, въ полъ, будеть видеть светь солнца, землю, небо, животныхъ; не будеть придумывать, что ему съвсть, чтобы возбудить аппетитъ.., будетъ имъть дътей, будеть жить съ ними, будеть въ свободномъ общеніи со всёми людьми... Болёть, страдать, умирать онъ будеть такъ же, какъ и всъ (судя по тому, какъ больють и умирають бъдные-лучше, чемъ богатые), но жить онъ будетъ несомненно счастливъе... "Но никто не будетъ кормить тебя, и ты умрешь съ голоду", говорять на это. На возражение о томъ, что человъкъ, живя по ученію Христа, умреть съ голоду, Христосъ отвѣтиль однимъ короткимъ изреченіемъ: трудящійся достоинъ пропитанія... Для того, чтобы понять это слово въ его настоящемъ значеніи, надо прежде всего отръщиться отъ привычнаго намъ представленія о томъ, что блаженство человѣка есть праздность. Надо возстановить то свойственное всёмъ неиспорченнымъ людямъ представленіе, что необходимое условіе счастья человіка есть не праздность, а трудъ... Работа производить пищу, пища производить

<sup>1)</sup> Crp. 8-9, 157.

работу — это въчный кругъ: одно слъдствіе и причина другого... При теперешнемъ устройствъ міра люди, не исполняющіе законовъ Христа, но трудящіеся для ближняго, не им'я собственности, не умирають оть голода. Какъ же возражать противъ ученія Христа, что исполняющіе Его ученіе, т. е. трудящіеся для ближняго, умруть съ голода?.. Среди язычниковъ христіанинъ будетъ такъ же обезпеченъ, какъ и среди христіанъ. Онъ работаетъ на другихъ, следовательно, онъ нуженъ имъ, и потому его будутъ кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормять и берегуть, какъ же не кормить и не беречь человѣка, который всѣмъ нуженъ? Но бѣдный человъкъ, человъкъ съ семействомъ, съ дътьми не нуженъ, не можетъ работать, — и его перестанутъ кормить, скажутъ тѣ, которымъ непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажуть это, они и говорять это, и сами не видять того, что они сами, говорящіе это,.. поступають совсёмь иначе. Эти самые люди, тѣ, которые не признаютъ приложимости ученія Христа-исполняють его. Они не перестають кормить овцу, быка, собаку, которая заболветь. Они даже старую лошадь не убивають, а дають ей по силамь работу; они кормять семейство ягнять, поросять, щенять, ожидая оть нихъ пользы; такъ какъ же они не найдуть посильной работы старому и малому, и какъ же не стануть выращивать людей, которые будуть на нихь еще работать?"1)

Какъ было отмѣчено, главное вниманіе въ ученіи Господа гр. Толстой удѣляеть заповѣди о непротивленіи злу или злому (Ме. V, 39.). Пониманіе Л. Н. Толстымъ этой заповѣди вызвало наиболье горячія нападки на его ученіе какъ со стороны вѣрующихъ, такъ и не вѣрующихъ. Естественно, что и развивается этотъ пункть въ сочиненіяхъ Льва Николаевича преимущественно въ формѣ полемической. Не буду слѣдить за ходомъ этой полемики²).

<sup>1)</sup> CTp. 129-133.

<sup>2)</sup> Особенно много мёста этой полемикё гр. Толстой удёляеть въ своемъ сочиненіи "Царство Божіе внутри вась". Здёсь послёдовательно опровергаются слёдующія возраженія противъ долга исполнять заповёдь о непротивленіи злу: во 1-хъ, что будто бы Христосъ Спаситель разрёшаль насиліе; во 2-хъ, что безъ насилія погибнуть добрые; въ 3-хъ, что насиліе законно для защиты другого, въ 4-хъ, что заповёдь о непротивленіи не есть принципъ жизни, но лишь ея частное правило, нарушать которое свойственно человёческой слабости (часть I), въ 5-хъ, что начало непротивленія злу несовиёстимо съ государствомъ; въ 6-хъ,

Отмѣчу лишь самое существенное по вопросу, именно о жизненномъ значеніи принципа непротивленія злу насиліемъ. Это самое существенное, на мой взглядъ, состоитъ въ разрѣшеніи вопроса объ одиночествъ христіанина, готоваго въ своей жизни исполнять ученіе Христово, въ той видимой гибели, которая неизбѣжно грозить ему, какъ гражданину другого, враждебнаго міру царства. "Положимъ, говоритъ Л. Н. Толстой, что учение Христово даетъ блаженство міру, положимъ, что оно разумно, и человѣкъ на основаніи разума не имфетъ права отрекаться отъ него; но что дфлать одному среди міра людей, не исполняющихъ законъ Христа? Если бы всё люди вдругь согласились исполнять ученіе Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя одному человъку итти противъ всего міра. "Если я одинъ среди міра людей, не исполняющихъ ученіе Христа, говорятъ обыкновенно, "стану исполнять его, буду отдавать то, что имью, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы итти присягать и воевать, меня оберуть, и если я не умру съ голода, меня изобьють до смерти, и если не изобьють, то тюрьму или разстреляють, и я напрасно погублю все счастье своей жизни и всю свою жизнь". Возражение это основано на томъ же недоразумѣніи, на которомъ основывается и возраженіе о неисполнимости ученія Христа... Христосъ предлагаетъ свое ученіе о жизни какъ спасеніе отъ той губительной жизни, которою живуть люди, не следуя Его ученю, и вдругь я говорю, что я бы и радъ последовать Его ученію, да мне жалко погубить свою жизнь. Христось училь спасенію отъ гибельной жизни, а я жалью эту погибельную жизнь... Итакъ, что же я долженъ дёлать, если одинъ понялъ ученіе Христа и повёрилъ въ него, одинъ среди не понимающихъ и не исполняющихъ его: что мнѣ дѣлать? Жить, какъ всѣ, или жить по ученію Христа? Я поняль ученіе Христа въ Его запов'єдяхь и вижу, что исполненіе ихъ даеть блаженство и мнв, и всвмъ людямъ міра. Я понялъ, что исполнение этихъ заповъдей есть воля того начала всего, отъ

что необходимость насилія обусловливается существованіемъ дикихъ народовъ, которые могутъ разрушить нашу цивилизацію (часть 2). Подробно разбираются гр. Толстымъ возраженія противъ интересующаго насъ пункта его ученія и въдругихъ его сочиненіяхъ.

котораго произошла и моя жизнь. Я поняль, кром' того, что чтобы я ни дёлаль, я неизбёжно погибну безсмысленною жизнью и смертью со всёмъ окружающимъ меня, если я не буду исполнять этой воли Отца, и что только въ исполнении ея — единственная возможность спасенія. Дёлая какъ всё, я навёрно противодёйствую благу всёхъ людей, навёрно дёлаю противное волё Отца жизни, навърно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положеніе. Ділая то, чему Христось учить меня.., я содыйствую благу всыхь людей..., дылаю то, что хочеть оть меня тоть, кто произвель меня, и дёлаю то, что одно можеть спасти меня. Горить циркъ въ Бердичевъ, всъ жмутся и душатъ другъ друга, напирая на дверъ, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорить: "отступите отъ двери, вернитесь назадъ; чемъ больше вы напираете, темъ меньше надежды спасенія. Вернитесь, и вы найдете выходъ и спасетесь". Многіе ли, одинъ ли я услыхаль это и повфриль, все равно; но услыхавши и повфривши, что же я могу сдълать, какъ не то, чтобы пойти назадъ и звать всёхъ на голось спасителя? Задушать, задавять, убьють меня можеть быть; но спасеніе для меня все-таки лишь въ томъ, чтобы итти туда, гдв единственный выходъ... Циркъ горить часъ, н надо спешить, и люди могутъ не успеть спастись. Но міръ горить ужъ 1800 леть, горить съ техъ поръ, какъ Христосъ сказалъ: Я огонь низвелъ на землю; и какъ томлюсь, пока онъ разгорится, — и будетъ горъть, пока не спасутся люди... И понявъ это, я понять и повірить, что Іисусь не только Мессія, Христось, но что Онъ точно и Спаситель міра. Я знаю, что выхода другого нътъ ни для меня, ни для всъхъ тъхъ, которые со мною вмъстъ мучаются въ этой жизни. Я знаю, что всёмъ, и мнё съ ними вивств нъть другого спасенія, какъ исполнять тв заповъди Христа, которыя дають высшее, доступное моему пониманію благо всего человъчества. Больше ли у меня будеть непріятностей, раньше ли я умру, исполняя ученіе Христа, мнѣ не страшно... Я умру такъ же, какъ и всъ, такъ же, какъ и не исполняющие ученія; но моя жизнь и смерть будуть имъть смыслъ и для меня и для всъхъ. Моя жизнь и смерть будуть служить спасенію и жизни всёхъ, — а этому-то и училь Христосъ. Исполняй всѣ люди ученіе Христа, и было бы царство Бога на земль; исполняй я одинь — я сдылаю самое лучшее для всёхъ и для себя. Безъ исполненія ученія Хри-

ста нъть спасенія" 1). "Есть религіозныя ученія, которыя объщають людямь, следующимь имь, полное и совершенное благо въ жизни не только въ будущей, но и въ этой. Есть даже такое пониманіе и христіанскаго ученія. Люди, понимающіе такъ христіанское ученіе, говорять, что стоить только человіку слідовать ученію Христа: отрекаться оть себя, любить людей, и жизнь его будеть непрестающей радостью. Есть другія религіозныя ученія, которыя въ жизни человъческой видять нескончаемыя, необходимыя страданія, которыя человінь должень переносить, ожидая наградь въ будущей жизни. Есть такое пониманіе и христіанскаго ученія: одни видять въ жизни постоянную радость, другіе -- постоянное страданіе. Ни то, ни другое пониманіе невірно... Жизнь по христіанскому ученію въ его истинномъ смыслѣ не есть ни радость, ни страданіе, а есть рожденіе и рость истиннаго духовнаго я человъка.., есть постоянное увеличение его сознания любви. И такъ какъ рость души человъческой-увеличение любви - непрестанно совершается, и непрестанно совершается въ мірѣ то дѣло Божіе, которое совершается этимъ ростомъ, то человѣкъ, понимающій свою жизнь, какъ учить понимать ее христіанское ученіе, какъ увеличеніе любви для установленія Царства Божія, никогда не можеть быть несчастливъ и неудовлетворенъ. На пути его жизни могутъ встръчаться радости и страданія, но... человъкъ, живущій христіанской жизнью, не приписываеть своимъ радостямъ большого значенія, не смотрить на нихь, какь на осуществленіе своихь желаній, а только какъ на случайныя, встръчающіяся на пути жизни явленія, какъ на то, что само собой прикладывается тому, кто ищеть Царства Божія и правды его и на страданія свои смотрить не какъ на то, чего не должно быть, а какъ на столь же необходимое въ жизни явленіе, какъ треніе при работь, зная, напротивъ, что какъ треніе признакъ совершающейся работы, такъ и страданія признакъ совершающагося діла Божія 2).

Каждый, лично знакомый съ сочиненіями Л. Н. Толстого, знаетъ, что составляетъ ихъ главную силу и убъдительность, —это особенная наглядность доказательствъ и поражающая способность великаго мыслителя видъть и указывать такія явленія и переживанія въ нашей жизни, которыя, при всей ихъ близости и извъстности,

<sup>1) &</sup>quot;Въ чемъ моя въра", стр. 85—103.

<sup>2) &</sup>quot;Христіанское ученіе", ч. VIII, §§ 389—393.

остаются для насъ незамъченными. Понятно поэтому, что въ нашемъ краткомъ изложеніи взгляда Л. Н. Толстого на жизненное значеніе запов'ядей Христовыхъ ніть той выразительности и силы, съ какими это значеніе показывается имъ во множествѣ замѣчательныхъ мъсть его сочиненій. Но съ другой стороны въ нашемъ изложеніи показана только одна сторона того знамени, съ какимъ шель въ жизни великій усопшій пропов'єдникъ, та сторона, на которой начертанъ призывъ: ищите Царства Божія и Его правды, призывъ святой равно для всёхъ, исповёдующихъ ученіе Христово, предъ которымъ преклоняется совъсть каждаго, и за проповъдь котораго, защиту и уясненіе о Л. Н. Толстомъ сохранится благодарная память въ человъчествъ. Эта именно сторона ученія гр. Толстого дъйствительно можеть послужить и тому великому дълу, служеніе которому онъ ставиль цёлью своей жизни-увеличенію любви въ человъчествъ. Но знамя гр. Толстого имъло и обратную сторону, гдѣ были начертаны слова не любви, но злобы и непониманія, гді быль начертань роковой призывь: долой оть Церкви съ ея върою въ живого тріиностаснаго Бога, Христа воскресшаго и душу человъка лично безсмертную. Л. Н. Толстой умеръ отлученнымъ отъ Церкви. Но не будь этого внашняго акта отлученія, все равно этотъ обратный девизъ его жизни и двятельности ставиль его внѣ Церкви, внѣ соборнаго познаванія истины Христовой. Остается верить и желать, чтобы то святое семя истинной любви и преданности добру, которое посѣяно Львомъ Николаевичемъ, росло и приносило плодъ свой и заглушило постепенно тъ сѣмена непріязни и раздраженія, которыя могуть только тормозить дъло Божіе на землъ... Для нашей цъли нътъ нужды въ настоящемъ очеркъ слъдить за гр. Толстымъ въ его движеніи по пути и со знаменемъ отрицанія, и мы можемъ ограничиться сдёланнымъ нами краткимъ изложеніемъ его пропов'єди истиннаго добра и любви. Только одинъ пунктъ въ отрицательномъ ученіи гр. Толстого долженъ быть отмъченъ нами, когда ръчь идеть о въръ самого графа въ жизненное значение заповъдей Христовыхъ. Пунктъ этотъубѣжденіе самого Льва Николаевича, что однимъ изъ важнѣйшихъ тормозовъ на пути реализаціи ученія Христова въ жизни является догматическая въра Церкви въ гръхопадение прародителей 1), иску-

<sup>1)</sup> Напр. "Въ чемъ моя въра", стр. 77.

иленіе Господомъ Іисусомъ Христомъ вины человѣка и дарованіе міру благодати Св. Духа 1), а особенно вѣра въ будущее воскресеніе и личную загробную жизнь 2). Ошибочность этого сужденія гр. Л. Н. Толстого ясна будеть сама собой, когда мы будемъ излагать ученіе одного изъ учителей историческаго христіанства. Теперь мы и переносимся мыслію за 1500 літь назадь и попытаемся показать, какъ смотрѣлъ на отношеніе Евангелія къ жизни величайшій церковный пропов'єдникъ. И мы увидимъ, что на высоко поднятомъ его словомъ и страдальческой жизнью знамени съ одной стороны быль начертань тоть же святой призывъ, что и у Л. Н. Толстого: ищите Царства Божія и правды Его, а на другой --- слова всецѣлой преданности ученію Церкви. Само собою предполагается, что взглядъ св. Іоанна Златоустаго на отношеніе Евангелія къ жизни и свидътельства его въры въ жизненное значеніе заповъдей Христовыхъ мы изложимъ лишь отрывочно и по возможности параллельно изложенному уже взгляду на этоть предметь Л. Н. Толстого.

Какъ для гр. Толстого былъ ясенъ разладъ Евангельскихъ заповъдей и устоевъ наличной жизни христіанъ, и этотъ разладъ заставляль его тяжко страдать, такъ подобное же можно сказать и относительно великаго церковнаго учителя. Ему пришлось проповёдывать въ такихъ культурныхъ центрахъ, какъ Антіохія и Константинополь. Въ последнемъ особенно святитель долженъ былъ столкнуться съ укладомъ жизни своихъ пасомыхъ, а въ значительной мъръ и пастырей, который до противоположности расходился съ завътомъ евангельской любви. Живое сознаніе этого разлада и боль отъ этого сознанія постоянно вызывали св. Іоанна на горячую и воодушевленную проповёдь, обличающую неправый путь человъчества, называющаго себя христіанскимъ, и призывающую къ жизни по заповъдямъ Христа. "Если бы, —говорить въ одной бесъдъ святитель, характеризуя отношеніе жизни современныхъ ему христіанъ къ евангельской ея нормѣ,-кто со стороны пришель бы къ намъ, и хорошо узналь и заповѣди Христовы и разстройство нашей жизни, то не знаю, какихъ бы еще могъ онъ представить себъ другихъ враговъ Христа хуже насъ; потому что мы

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 73—76 и др.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 82, 100 и мн. др.

идемъ такою дорогой, какъ-будто решились итти противъ заповъдей Его" 1). "Я вижу, что многочисленныя чада церкви повержены нынъ долу, подобно мертвому тълу. И какъ въ тълъ недавно умершемъ, хотя можно видъть и глаза, и руки, и ноги, и шею, и голову, однако ни одинъ членъ не исправляетъ своего дъла, такъ и здъсь присутствующіе. Здъсь всь-върные, но въра ихъ бездъйственна. Мы погасили ревность, и тъло Христово сдълали мертвымъ. Страшно выговорить это; но гораздо страшнее видеть на самомъ дълъ. По имени мы братья, а по дъламъ враги; всъ называемся членами одного тёла, а чужды другь другу, какъ звёри" 2). И св. Іоаннъ убѣжденъ, что такое несогласіе жизни и вѣры христіанъ унижаеть самые догматы Церкви и тормозить діло Божіе на земль. По мысли святителя, тъ самые догматы, которые, по мнѣнію гр. Толстого, могли усыплять совѣсть христіанъ, эти самые догматы и требують оть върующихь следованія заповъдямъ Христа. "Великое дъло-жизнь, возлюбленные... То и ослабляеть важность нащей жизни, то и низвращаеть все, что никто нисколько не думаеть о жизни; это унижаеть въру. Мы говоримъ, что Христосъ есть Богь, предлагаемъ множество и другихъ догматовъ, между прочимъ говоримъ и то, что Онъ заповъдалъ всъмъ жить праведно; но, на самомъ дѣлѣ, это у немногихъ" 3). "Когда язычникъ увидить, что ты любомудрствуешь о царствв и твмъ не менве прилвпленъ къ настоящему, боишься геены и трепещешь здішнихь бідствій.., онь станеть укорять тебя и скажеть: если желаешь царства, почему не презираешь настоящаго; если ожидаешь Страшнаго Суда, то почему не презираешь здёшнихъ бёдствій; если надвешься на безсмертіе, почему страшишься смерти? Когда онъ увидитъ, что ты, ожидая неба, боишься потери денегъ. бываешь весьма радъ каждой малой монеть и за монету отдаешь душу, тогда и подумай: въдь это, это именно и соблазняеть язычника" 4). "Вѣдь когда язычникъ увидитъ, что тотъ, кому заповѣдано любить и враговъ... обращается съ одноплеменниками, какъ съ дикими звърями, онъ назоветъ наши слова пустыми бреднями.

<sup>1)</sup> Слово I, "О сокрушенін", т. 1, стр. 130—131.

<sup>2)</sup> Бесъда XXVII на 2 Корине., т. 10, стр. 704.

<sup>3)</sup> Бес. XLVII на Дѣянія Апост., т. 9, стр. 412.

<sup>. 4)</sup> Бес. XXVI на Послан. къ Римл., т. 9, стр. 811—812.

Когда увидить, что христіанинь трепещеть смерти, какъ приметь слова о безсмертіи?"... 1) "Будемъ върить Божественному Писанію и, следуя тому, что въ немъ сказано, будемъ стараться хранить въ душахъ своихъ здравые догматы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вести правильную жизнь, чтобы и жизнь свидетельствовала о догматахъ, и догматы сообщали жизни твердость "2). "Будемъ жить такъ, чтобы не хулилось имя Божіе... Если бы мы соблюдали заповѣди Христовы, если бы мы благодушно переносили обиды и насилія, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы, терпя оскорбленія, воздавали добромъ, то никто не быль бы столь дикимъ, чтобы не обратиться къ истинной въръ... Если бы мы были такими, то сколько вселенныхъ мы обратили бы?.. Теперь они (язычники) видять жизнь порочную, души земныя, видять, что мы столько же пристрастны къ деньгамъ, какъ и они, и даже еще больше, передъ смертію такъ же, какъ и они, трепещемъ, боимся бъдности.., одинаково любимъ власть и силу... Итакъ, ради чего они станутъ въровать? Ради знаменій? Но ихъ уже больше нътъ. Ради жизни праведной? Но она уже погибла. Ради любви? Но ея и следа нигде не видно... Воспрянемъ, станемъ бодрствовать, покажемъ на землъ житіе небесное... и на землъ станемъ совершать подвиги" 3).

Въ такихъ чертахъ св. Іоаннъ изображаетъ разладъ жизни современныхъ ему христіанъ и евангельскихъ заповъдей, исповъдуемыхъ устами. Какъ видимъ, передъ великимъ проповъдникомъ стояла такая же проблема, какъ и передъ гр. Л. Н. Толстымъ и каждымъ современнымъ богословомъ: законъ Христовъ или законъ человъческій, законъ борьбы за свое существованіе или законъ служенія другимъ, любовь или эгоизмъ. Не только своимъ словомъ, но всею своею жизнью и смертью св. Іоаннъ доказалъ, что для него жизнь—Христосъ, и въ своихъ бестрахъ этотъ святитель съ одушевленіемъ и убъжденностію показывалъ слушателямъ, что только путь Христовъ есть путь, достойный человъка, путь труда, но и радости; подвига, но и награды; самоотреченія, но и спасенія жизни. Для върующей души проповъдника духовный неви-

<sup>1)</sup> Бес. LXXII на Еванг. Іоанна, т. 8, стр. 485.

<sup>2)</sup> Бес. XIII на вн. Бытія, т. 4, стр. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Бес. X на 1 Тимое., т. 11, стр. 687—688.

димый міръ быль такою же живой реальностью, какъ и міръ видимый, и естественно, что въ своихъ беседахъ онъ обращался къ слушателямъ, какъ къ христіанамъ, вѣрующимъ въ будущую жизнь и личное воскресеніе. Но св. Іоаннъ, этотъ великій сердцевъдецъ, не ограничивался ръчью о небесномъ, но раскрывалъ неръдко передъ своими пасомыми и мысль о великомъ значеніи заповъдей Христа для нашей здъшней жизни, причемъ въ этомъ случав сужденія св. Іоанна во многомъ предупредили взгляды Льва Николаевича Толстого. Какъ последній, такъ и св. Іоаннъ согласно убъждены, что осуществленіе заповъдей Христовыхъ еще здѣсь и теперь должно явиться залогомъ истинной свободы и радости человѣка. По мысли св. Іоанна, мы имѣемъ "возможность получить и настоящія блага и достигнуть будущихъ, если бы какъ должно повиновались заповъдямъ Христа... Христосъ все узаконилъ надлежащимъ образомъ и показалъ, что служитъ къ нашей славъ, и что — къ нашему позору. И, конечно, Онъ предписаль не съ темъ, чтобы сделать учениковъ Своихъ смешными, но заповедаль все это потому, что не злословить, когда слышишь злословіе, и не дълать зла, когда тернишь его, - это возвеличиваетъ насъ предъ всеми... Гораздо лучше на злоречие отвечать добромъ, хвалить оскорбляющихъ и благодетельствовать злоумышляющимъ на насъ. Потому Христосъ и далъ такую заповѣдь. Онъ щадитъ 1) учениковъ Своихъ и ясно знаетъ, что делаетъ человека малымъ и великимъ. А если онъ щадить и знаетъ, то зачёмъ ты упорствуещь и хочешь идти инымъ путемъ? Въдь побъждать посредствомъ зла есть одинъ изъ діавольскихъ законовъ... Потому-то я и скорблю, что мы не исполняемъ на дълъ сказаннаго, хотя и должны пріобрѣсти отъ этого величайшія выгоды" 2). "Богъ все дѣлаетъ, чтобы склонить насъ любить Его... Но мы непреклонны и жестокосерды. Сделаемся же, наконець, кроткими и возлюбимь Бога, какъ любить должно, чтобы мы могли съ полнымъ удовольствіемъ наслаждаться добродётелью... Въ этомъ, именно въ этомъ заключается небесное царствіе, въ этомъ-наслажденіе благами, удовольствіе, веселіе, радость, блаженство, а върнье-что бы я ни сказаль объ этомъ, ничто не въ состояніи будеть изобразить его, но одинъ

<sup>1)</sup> По терминологіи гр. Толстого "жальеть".

<sup>2)</sup> Бес. XXII на Посл. въ Римл., т. 9, стр. 772—773. сворникъ.

только опыть можеть съ нимъ познакомить... Итакъ, станемъ повиноваться и наслаждаться любовью Его. И тогда еще здѣсь мы узримъ царствіе, поживемъ ангельскою жизнью и, пребывая на землѣ, будемъ имѣть у себя нисколько не меньше, чѣмъ обитающіе на небѣ, а послѣ переселенія отсюда свѣтлѣе всѣхъ предстанемъ престолу Христову" 1).

Мы уже видъли, что Л. Н. Толстой, настаивая на исполнимости заповедей Христовыхъ, отмечаетъ съ особою силою естественность ихъ исполненія человікомъ, совершенное соотвітствіе этихъ заповъдей нашей природъ. На этой же почвъ неръдко утверждается и св. Іоаннъ Златоустъ. "Тогда какъ то, говоритъ святитель, что Онъ (Христосъ) повельваеть делать, для желающихъ легко и удобоисполнимо, а что запрещаетъ, тяжело и трудно мы, пренебрегая Его повельнія, дылаемь то, что воспрещено "2). "Что тягостнаго намъ заповъдано? Горы ли разсъкать. Или летать по воздуху? Или переплыть Тирентское море? Совствить нать. Намъ заповъданъ столь легкій образъ жизни, что не нужно никакихъ къ тому орудій, нужна только душа и расположеніе... Что труднаго въ заповѣдяхъ Христовыхъ? Ни къ кому не питай ненависти, никого не злословь: противное гораздо тяжелье" 3). "Любить ближняго, какъ самого себя. Что можеть быть легче этого? Ненавидъть тяжело и сопряжено съ безпокойствомъ: а любить-легко и удобно. Подлинно, если бы Господь сказаль: вы, люди, любите звърей, — такая заповъдь была бы трудна; но когда Онъ заповъдалъ людямъ любить людей же, къ чему и однородность, и единство происхожденія, й естественное влеченіе служать великимъ побужденіемъ, то какая можетъ быть здісь трудность? Это бываеть и у львовъ, и у волковъ, и ихъ родство природы располагаеть къ взаимной пріязни" 4). И св. Іоаннъ часто сравниваетъ въ своихъ беседахъ два закона: законъ нашего эгоизма и страстей и законъ Христовъ, и наглядно показываетъ, какъ легокъ и радостенъ для насъ второй, и какъ неестественъ, безсмысленъ и деспотиченъ первый. Вотъ, напримъръ, какихъ ВЪ

<sup>1)</sup> Bec. XXIII, crp. 783.

<sup>2)</sup> Слово "Объ ученіи и наставленіи", т. 12, стр. 522.

<sup>3)</sup> Бес. XC на ев. Мате., т. 7. стр. 885.

<sup>4)</sup> Бес. на псалми, т. 5, стр. 38.

вахъ св. Іоаннъ изображаетъ противоположность благого закона Христова и закона нашей страсти къ сребролюбію. "Ни одинъ господинъ, какъ бы жестокъ онъ ни былъ, не дастъ такихъ строгихъ и жестокихъ повельній, какъ страсти. Посрами твою душу, говорять они, безь нужды и причины; оскорбляй Бога; не знай природы; будеть ли это отець или мать, отложи всякій стыдь, возстань противъ нихъ. Таковы повеленія сребролюбія. Приноси мнъ въ жертву, говорить оно, не тельцовъ, а людей..., приноси въ жертву не сдълавшихъ никакой неправды; убей и того, кто окажеть тебѣ благодѣяніе. И опять: будь враждебень ко всѣмъ, будь общимъ врагомъ всъхъ-и самой природы и Бога... Если увидишь, что бъдный умираеть съ голоду, не давай ему ничего, но, если возможно, сними съ него даже самую кожу... Развѣ не такіе законы предписываеть сребролюбіе? Будь дерзкимъ и постыднымъ..., преступнымъ и безчестнымъ, неблагодарнымъ и безчувственнымъ, безжалостнымъ... больше звъремъ, нежели человъкомъ. Развѣ не это вѣщаетъ оно? И мы слушаемся его. Но Богъ даетъ противоположныя заповёди. Будь друженъ со всёми, будь кротокъ, всеми любимъ, никого напрасно не оскорбляй, чти отца, чти мать, помогай нуждающимся, не будь дерзкимъ, ни наглымъ. И нъть никого, кто бы слушался этого... До какихъ поръ будемъ блуждать по стремнинамь? До какихъ поръ будемъ ходить по терніямъ? До какихъ поръ будемъ прободать себя гвоздями и благодарить за это? Мы подчиняемся жестокимъ мучителямъ и отвращаемся отъ милосерднаго Владыки, который ничего не говорить оскорбительнаго, ни грубаго, ни жестокаго, ни неразумнаго, но заповъдуеть все нужное, прибыльное и доставляющее намъ великую пользу $^{\alpha}$  2).

На этой мысли объ естественности для человѣка Христовыхъ заповѣдей, какъ мы видѣли, утверждается св. Іоанномъ и та мысль, вполнѣ раздѣляемая также гр. Толстымъ <sup>2</sup>), что заповѣди Христовы "тяжки не суть" и бремя этихъ заповѣдей—бремя легкое. И эту послѣднюю мысль св. Іоаннъ раскрываеть не разъ въ своихъ бесѣдахъ, доказывая, что заповѣди Христовы, исполненіе которыхъ кажется намъ труднымъ и даже невозможнымъ, въ дѣйстви-

<sup>1)</sup> Bec. XVIII на 1 Тимов., т. 11, стр. 753-755.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Въ чемъ моя вѣра", стр. 11.

тельности имъютъ цълью не возложить на насъ новое бремя, но облегчить нашу жизнь. "Пріндите ко Мить вси труждающійся и обремененни и Азг упокою вы", приводить св. Іоаннъ слова Христа Спасителя и говорить по поводу этихъ словъ: "не тотъ или другой приходи, но прійдите всв, находящіеся въ заботахъ, скорбяхъ и грахахъ: прійдите не для того, чтобы я подвергнуль васъистязанію, но потому, что Мнѣ нужно ваше спасеніе. Я, говорить, упокою вы... возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кротокт есмь и смирент сердцемт; и обрящете покой душамъ вашимъ. Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть. Не бойтесь, говорить Онъ, услышавъ объ игъ: оно благо. Не страшитесь, услышавъ о бремени: оно легко... Если ты боишься и содрогаешься, слыша объ игѣ и бремени, то этотъ страхъ не отъ свойства самой вещи, но отъ твоей лености. Если ты будешь иметь желаніе и рѣшительность, то все будеть для тебя удобно и легко... Если добродътель представляется тебъ тяжкою, то знай, что порокъ еще тягостиве. Это-то самое давая разумьть, Господь не прямо сказаль: возмите иго Мое, но напередъ: придите труждающися и обремененнии, показывая твмъ, что и грвхъ тяжель, и бремя его не легко и не удобоносимо... То же доказываетъ опытъ. Ничто такъ не обременяеть душу, ничто такъ не ослѣпляетъ мысль и не преклоняетъ долу какъ сознаніе грѣха; напротивъ, ничто такъ не воскрыляеть и не возносить горв душу, какъ пріобратеніе правды и добродътели. Смотри, можетъ ли что быть труднъе того, какъ не имъть ничего? Или подставлять щеку? Не бить быющаго и умереть насильственною смертью? Но если мы исполнены любомудріемъ, то все это и легко, и удобно, и радостно. Чтобы разсъять ваше недоумѣніе, разсмотримъ... каждую изъ указанныхъ трудностей. Возьмемъ первую. Не имъть ничего для многихъ кажется: тяжкимъ. Но скажи мнъ, что болье трудно и тягостно: объ одномъ ли чревъ заботиться, или обременяться безчисленными заботами? Одной ли одеждой одеваться и не искать ничего более, или, обладая великимъ богатствомъ, и день и ночь безпокоиться, бояться, трепетать... тщетно мучиться... Равнымъ образомъ и подставить щеку, если ты разсудителень, легче, нежели ударить другого, потому что здёсь начинается брань, а тамъ оканчивается. Ударомъ ты въ другомъ воспаляешь огонь, а терпеніемъ и свой: пламень потушаешь... Даже и смерть бываеть лучше жизни... Если

ты не въришь словамъ моимъ, послущай тъхъ, которые видъли лица мучениковъ во время ихъ подвиговъ, какъ они, будучи бичуемы и строгаемы, радовались и веселились; радовались, даже лежа на сковородахъ, и веселились болъе, чъмъ возлежащие на ложахъ, убранныхъ цвътами" 1).

Во многихъ своихъ бесъдахъ св. Іоаннъ Златоустъ показываетъ, что если исполнение заповъдей Христовыхъ не можетъ въ этой жизни освободить христіанъ отъ скорбей и страданій, и даже последнія неразрывно связываются съ жизнью по вере 2), то все и наиболье тяжкія страданія-общій удьль всьхь людей, но и въ этомъ случав ученикъ Христовъ переносить свои страданія несравненно легче, чёмъ ученикъ міра. Въ этомъ пунктё замізчается прямое совпаденіе мысли св. Іоанна и гр. Толстого. "Многіе изъ нерадивыхъ, говоритъ святитель, думали имъть нъкоторое извиненіе, указывая на чрезмірную тяжесть заповідей, на великій трудъ, на безконечное время и невыносимое бремя, но... ничего подобнаго мы не можемъ представить въ оправданіе... Поистинъ и время кратко, и трудъ малъ. На землъ подвизаешься, а на небѣ вѣнецъ; отъ людей принимаещь мученія, а отъ Бога получаешь честь; два дня бъжишь, а на безконечные въка награда. А сверхъ этого должно еще представлять и то, что, хотя бы мы и не ръшились потерпъть для Христа нъкоторыя скорби, все-же совершенно необходимо будемъ терпъть ихъ, только инымъ образомъ. Если ты и не умрешь за Христа, то не будешь же безсмертенъ, если и не отвергнешь для Христа богатство, то не возьмешь его съ собой но смерти. Онъ требуеть отъ тебя того, что и безъ требованія отдашь... Онъ желаетъ, чтобы ты добровольно сділаль то, что должень будешь сдёлать и по необходимости; требуеть только одного того, что приходить и случается и по естественной необходимости". 3) "Мы, если и не положимъ за Него (Христа) душъ своихъ, то по закону природы непременно должны будемъ положить, спустя немного времени поневоль разстанемся съ жизнью. Такъ и съ деньгами... Такъ и со смиреніемъ: если мы не будемъ смиренными для Него, то смиряетъ насъ скорбь, несчастья, при-

<sup>1)</sup> Бес. ХХХУШ на ев. Мате., т. 7, стр. 417—420.

<sup>2)</sup> Напр., т. 11, стр. 814; т. 1, стр. 130, 232, 815 и др.

<sup>5)</sup> Бес. LXXVI на ев. Мате., т. 7, стр. 768—769.

тъсненія... Возлюбимъ Его по мъръ силъ своихъ, отдадимъ все изъ-за любви къ Нему-и душу, и имущество, и славу, и все прочее съ радостью, съ готовностью, съ усердіемъ, не считая этого полезнымъ для Него, но для насъ самихъ. Таковъ, дъйствительно, законъ любви: любящіе считають счастьемъ для себя, когда страдають за любимыхъ" 1). И если, такимъ образомъ, по взгляду святителя, смерть, скорби и лишенія равно составляютъ удъль всякаго человъка, то слъдующій Христу имъетъ несравнимое преимущество: благое иго Христовыхъ заповедей помогаетъ ему нести свое жизненное бремя легко, свободно и радостно. "Никто не свободенъ, кромъ того, кто живетъ для Христа: онъ стовыше всёхъ бёдствій, и если онъ самъ не захочеть сдёлать себъ зла, то никто другой никогда не въ состояніи ему будеть сдёлать это. Онъ неприступень, не терзается отъ потери имѣнія, потому что знаеть, что "ничтоже внесохомь въ мірь сей, ниже изнести что можемъ"; не уловляется честолюбіемъ или славолюбіемъ, такъ какъ знаетъ, что наше житіе на небестах; порицающій его не причиняеть ему скорби, и біющій не приводить въ раздражение. Одно у христіанина несчастіе-оскорбить Бога; а прочее, какъ-то: потерю имущества, лишеніе отечества, самую крайнюю опасность, онъ и не считаеть за бъдствіе; даже то самое, чего всв страшатся-переходъ отсюда туда-для него пріятнъе жизни" <sup>2</sup>). "Нельзя, поистинъ нельзя выразить словомъ того удовольствія, какое случается испытывать страждущимъ за Христа. Они радуются болье среди бъдствій, нежели во время благоденствія. Если кто возлюбиль Христа, — тоть понимаеть, что я говорю " 3). "Для челов ка съ такимъ настроеніемъ ничего не значить и то, что кажется страшнымъ въ настоящей жизни: онъ не боится ни меча, ни крѣпости, ни зубовъ звѣрей, ни пытокъ, ни рукъ палачей, ни другой какой-либо непріятности житейской" 4). И если въ приведенныхъ словахъ святителя о внутренней свободъ христіанина св. Іоаннъ преимущественно утверждается на чувствъ

<sup>1)</sup> Бес. 2 на посл. къ Филимону, т. 11, стр. 899.

<sup>2) &</sup>quot;Увѣщаніе къ беодору падшему", т. 1, стр. 41, сравн. "Бесѣда, когда Евтихій быль схвачень", т. 3, стр. 410—411.

<sup>3)</sup> Бес. XIII на Дѣян. апост., т. 9, стр. 129.

<sup>4)</sup> Bec. XXVIII на кн. Бытія, т. 4, стр. 294.

любви, соединяющей върующаго съ его Спасителемъ, то и вообще святитель върить, что добродътель, какъ она выражается въ исполненіи запов'єдей Христовыхъ, въ себ'є самой заключаеть залогъ истинной свободы и радости. "Спаситель, показывая, какъ полезна добродѣтель и въ здѣшней жизни и какъ вреденъ порокъ, говоритъ: всякъ убо, иже слышитъ словеса Моя сія, и творить я, уподобится мужу мудру... Въ чемъ же состоить эта сила добродътели? Въ томъ, что съ нею живутъ безопасно, не колеблются ни отъ какихъ несчастій, стоять выше всёхъ гонителей. Что можеть сравниться съ этимъ? Добродътельный... одинъ стяжаль такую безопасность, въ пучинѣ настоящей жизни наслаждаясь великою тишиною. Сниде дождь, пріидоша ръки, говорить Спаситель, возвъяше вътры, и нападоша на храмину ту, и не падеся; основана бо бъ на камени. Здёсь дождемъ, рёками и вётрами онъ иносказательно называеть человъческія несчастья и злоключенія, какъ-то: клеветы, навѣты, скорби, смерть, погибель ближнихъ, оскорбленія отъ другихъ и всякое другое зло, какое только бываеть въ настоящей жизни. Но душа праведнаго, говорить Онъ, ничемъ не побеждается. Причина этого въ томъ, что она основана на камит. Камнемъ здъсь Христосъ называетъ твердость Своего ученія. И поистинь: заповыди Его гораздо тверже камня: помощію ихъ праведникъ становится выше всёхъ волнъ человъческихъ... и ты всему посмъешься, если захочешь тщательно исполнять заповёди Христовы. Стоить тебё только оградиться любомудрыми этими наставленіями, — тогда ничто тебя не сможеть опечалить. Какой вредъ тебѣ можеть причинить тотъ, кто захочетъ коварствовать противъ тебя? Отниметъ у тебя имѣніе? Но еще прежде его угрозы тебѣ повелѣно презирать богатство... Ввергнеть ли тебя въ темницу? Но еще прежде темницы тебъ заповъдано такъ жить, чтобы уже распяться міру. Злословить ли тебя? Но Господь освободиль тебя и туть оть печали... и настолько сдёлаль тебя непричастнымь досадё и огорченію, что даже повельль молиться за враговь. Гонить ли тебя.., убиваеть ли тебя и заколаеть? И чрезъ это опять приносить тебѣ величайшую пользу, поскольку готовить для тебя мученическія награды, ускоряеть твой путь въ безмятежное пристанище... Сказавши, что путь добродетели тесень и прискорбень, Спаситель тотчась, чтобы оболрить своихъ слушателей къ трудамъ, показываеть на этомъ

пути великую безопасность и великое услажденіе" 1). "Никому, никому нельзя жить безъ печали, равно какъ и безъ всякаго удовольствія. Этого бы не вынесла и природа наша... Если же одинъ больше радуется, а другой больше скорбить, то происходить это отъ самого человѣка... Если же хотимъ всегда радоваться, то много имѣемъ къ тому случаевъ. Если утвердимся въ добродѣтели, то ничто уже насъ не будетъ печалить... Много труда стоитъ утвердиться въ добродѣтели; но зато она много радуетъ совѣсть и столько производитъ внутренняго удовольствія, что никакимъ словомъ и выразить нельзя" 2).

До сихъ поръ мы стояли на чисто принципіальной почвѣ при изложеніи взглядовъ св. Іоанна на жизненное значеніе запов'ядей Христовыхъ. Мы видимъ, что горячая въра святителя въ будущую жизнь 3), небесныя награды, наслёдственную грёховность человъческой природы не помъщали этому великому учителю Церкви въровать и исповъдывать, что Христосъ Спаситель училь людей для того, чтобы они исполняли Его ученіе, что это ученіе—не мечта 4), но основа истинной жизни и радости, и что заповъди Христовы воистину имъютъ обътованія жизни и будущей и настоящей. Теперь, въ дополнение къ сказанному, я позволю себъ отмътить и нъкоторыя частности во взглядъ св. Іоанна на то, что исполненіе запов'єдей Христовыхъ всегда является залогомъ истиннаго блага для следующаго этимъ заповедямъ. Ограничусь, впрочемъ, указаніемъ взгляда святителя по одному лишь вопросу о томъ, что христіанская кротость и непротивленіе злу есть великая жизненная сила. Какъ мы видъли, это центральный вопросъ для гр. Л. Н. Толстого въ пониманіи имъ христіанскаго ученія и защить его жизненнаго смысла. Съ другой стороны и противники гр. Толстого съ горячностью ухватились за критику ученія графа по этому

<sup>1)</sup> Бес. XXIV на Ев. Матеея, т. 7, стр. 279-281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bec. LIII, T. 7, crp. 550—551.

<sup>3)</sup> Если гр. Толстой думаль, что люди живуть плохо потому, что много думають о будущей жизни, то св. Іоаннь цолагаль какь разь обратное: онь думаль, что современные ему христіане не живуть по запов'ядить Христовымы именно оть недостатка въры и думы о будущей жизни.

<sup>4) &</sup>quot;Христіанство не шутка, возлюбленные, и не праздное діло"... т. - 3, стр. 166.

вопросу, при чемъ нерѣдко не столько критиковали гр. Толстого, сколько самый принципь непротивленія злу силой. Этоть принципъ объявлялся и неразумнымъ, и вреднымъ, и даже преступнымъ... Тёмъ интереснёе услыхать по этому вопросу голосъ великаго учителя Церкви вселенской. Исходная точка зрвнія св. Іоанна по интересующему насъ вопросу та, что заповъдь о непротивленіи злу и о прощающей любви дана намъ Господомъ, и потому не только ддя насъ обязательна, но и направлена къ нашему благу. "Проповъдуй слово Божіе посредствомъ кротости. Оскорбиль ли тебя кто? Молчи, благословляй, если можешь... Но, скажешь, чемь более обидчикь видить кротости, темь более нападаеть.., дълается неукротимымъ. Это предлогъ твоего малодушія; напротивъ, тогда онъ дълается неукротимымъ, когда ты мстишь. Если бы Богъ зналъ, что вследствіе немстительности оскорбители дълаются неукротимыми, то не заповъдаль бы ея, а сказаль бы: мсти за себя; но Онъ знаетъ, что она приноситъ болѣе пользы. Не полагай законовъ противныхъ Богу; Ему повинуйся; ты не лучше Сотворившаго насъ. Онъ сказалъ: переноси оскорбленія; а ты говоришь: я отмщу оскорбителю, чтобы онъ не сделался неукротимымъ. Такъ ты болъе Бога печешься о немъ? Это-слова страсти, строптивости, гордости, противленія заповідямъ Божіимъ... Когда Богъ повелѣваетъ, мы не должны полагать законовъ, противныхъ Ему... Сказалъ ли онъ худо о тебъ? Ты похвали его. Поносиль ли? Ты превозноси. Замышляль ли зло? Ты окажи благодінніе... Но, скажешь, неоднократно испытавъ мое терпініе, онъ сдёлался хуже. Это касается не тебя, а его... Чёмъ сильнёе онь оскорбляеть, тымь въ большей кротости имыеть нужду" 1). И св. Іоаннъ предвидить самыя крайнія послідствія изъ соблюденія заповъди непротивленія, какими можно было бы оправдать ея нарушеніе, и съ убіжденностью доказываеть невозможность такого оправданія. "Спаситель присовокупляеть: Азъ же глаголю вамь не противитися злому... Что же скажешь ты? ужели намъ не должно противиться лукавому? Должно, но... какъ повелёль самъ Спаситель, то есть готовностью терпъть зло. Не огнемъ, въдь, погашають огонь, по водою... Спаситель требуеть высшаго любомудрія,

<sup>1)</sup> Бес. на Делн. апост., т. 9, стр. 275—286, сравн. бес. VI, стр. 68—69.

повельвая обиженному не только молчать, но и подставить обижающему и другую щеку... И Онъ не только предписываетъ, чтобы мы переносили великодушно одни заушенія, но чтобы не смущались и всякимъ другимъ страданіемъ... Воть почему Онъ... здёсь упомянуль объ ударѣ по щекѣ, который считается особенно позорнымъ. Давая эту заповъдь, Спаситель имъетъ въ виду пользу и наносящато удары, и терпящаго ихъ... Наоборотъ, мщеніе производить совершенно противныя следствія. Оно обоимъ причиняетъ стыдъ, ожесточаетъ ихъ еще больше, воспламеняетъ гнфвъ... Хотящему судитеся съ тобою, и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу. Спаситель хочеть, чтобы мы показывали такое же незлобіе не только когда насъ быють, но и когда хотять отнять имфніе, потому опять предлагаеть столь же высокое правило, предписывая не только отдать сопернику то, что онъ хочеть взять, но и оказать большую щедрость. Что-жъ? Неужели, скажешь, мнъ ходить нагимъ? Не были бы мы наги, если бы въ точности исполняли эти повельнія; напротивь, еще были бы гораздо лучше всьхъ одъты. Во-первыхъ потому, что никто не нападаетъ на человъка, имѣющаго такое расположение духа, а, во-вторыхъ, если бы и нашелся кто настолько жестокій и немилосердный..., то безъ сомнънія еще болье бы нашлось такихъ, которые человька, восшедшаго на такую степень любомудрія, покрыли бы не только одеждами, но, если бы было возможно, и самою плотію своею. А если бы кому довелось и нагимъ ходить ради такого любомудрія, то и въ этомъ не было бы стыда... Нимало не худо такъ обнажаться, но постыдно и смешно такъ одеваться, какъ мы одеваемся ныне, т. е. въ драгоденныя одежды... Итакъ, не будемъ почитать невозможными повелѣнія Господни. Они и полезны, и весьма удобны къ исполненію, если только мы будемъ бодрствовать. Они такъ спасительны, что не только намъ, но и обижающимъ насъ приносять величайшую пользу... Воть что значить та соль, каковою Спаситель желаеть быть ученикамъ Своимъ... Вотъ что значитъ и тотъ свёть: онь свётить и самому себё, и другимъ"... Въ такомъ духё толкуетъ всѣ заповѣди нагорной бесѣды св. Іоаннъ Златоустый 1). И неоднократно онъ обращается къ заповѣди Господа о непро-

<sup>1)</sup> Бес. XVIII на Ев. Мате., т. 7, стр. 206—208 и дал.

тивленіи злому и показываеть величіе и силу христіанской кротости, не имфющей границъ въ своемъ обнаружении. "Чтобы изъ современной жизни-говорить святитель-тебѣ видѣть, что можно смягчить всякаго человъка, враждующаго противъ насъ, то спрошу я: что свиръпъе льва? Однако его укрощають люди: сильнъйшій и лютьйшій изъ звърей дълается смирнье всякой овцы... Итакъ, какое будемъ мы имъть оправданіе, какое извиненіе, если, укрощая звёрей, будемъ говорить о людяхъ, что никакъ не можемъ ихъ смягчить и расположить къ себъ? Между тъмъ для звъря не естественна кротость, а для человъка не естественна жестокость... Если же ты и послѣ этого еще упорствуешь, скажу тебь, что если врагь твой болить неизцыльно, тымь больше у тебя труда и ухода за неизлѣчимо больнымъ... Поэтому будемъ заботиться не о томъ, чтобы намъ не потерпъть отъ враговъ ничего худого, но о томъ только, чтобы самимъ не сдёлать никакого зла. Тогда мы дъйствительно не потерпимъ никакого зла, хотя бы подверглись безчисленнымъ опасностямъ... Въ самомъ дёлё, что остается, на что указывая, не хочешь ты примириться со врагомъ? Или врагъ твой покусился на твою жизнь, замыслиль убить тебя? Если злоумышленника, который простеръ злобу свою даже до этого, причислишь къ благодътелямъ и не перестанешь молиться за него и умолять Бога о милосердіи къ нему, -- это діло вмізнится тебѣ въ мученическій подвигъ" 1). "Если кто изостритъ на тебя мечь и руку свою обагрить въ твоей гортани, то не сдълаетъ тебъ никакого вреда, а себя самого убьетъ" 2). "Между людьми раздраженными обыкновенно считають побъдителемь того, кто болье нанесь обидь; но этоть-то въ самомь дель и остался побъжденнымъ жесточайшею страстью и обиженнымъ; а кто равнодушно перенесъ обиду, тотъ побъдилъ и одержалъ верхъ... Итакъ, не всегда будемъ искать побъды. Конечно, оскорбившій обыкновенно одерживаетъ побъду надъ оскорбленнымъ; но это худая побъда, такъ какъ она причиняетъ погибель побъдителю... Какъ въ обыкновенномъ сраженіи паденіе считается пораженіемъ, такъ у насъ-побъдою. Мы никогда не бываемъ побъдителями, когда дълаемъ зло; напротивъ, всегда побъждаемъ, когда терпимъ зло...

<sup>1)</sup> Бес. III о Давидѣ и Саулѣ, т. 4, стр. 859.

<sup>2)</sup> Бес. XXII на посл. къ Римл., т. 9, стр. 773.

Не тревожься, не безпокойся: Богь даль тебѣ силу побѣждать не сражаясь, но чрезъ одно только терпъніе. Не ополчайся, не выходи самъ, — и ты одержишь побъду; не сражайся, — и ты получишь вънецъ, ты гораздо сильнъе самаго могущественнаго изъ твоихъ противниковъ" 1). И такое побъдное значение начало непротивленія злу силой имфеть, по мысли св. Іоанна Златоустаго, не только въ личной жизни върующихъ 2), но и въ жизни цълаго христіанскаго общества-Церкви, о чемъ наглядно проповъдуеть вся исторія. "Когда проповідь (Евангелія) распространялась.., все было полно смущенія. Когда одиннадцать, единственно они, выстроились на борьбу противъ вселенной, произошла противъ нихъ непримиримая у всёхъ война.., если только нужно назвать это войною, а не чэмъ-либо инымъ, болье тягостнымъ, чэмъ война. Въ самомъ дѣлѣ, на войнѣ боевыя стороны находятся въ одинаковыхъ условіяхъ; какъ то, такъ и другое войско и поражаеть, и поражается, а тогда не такъ было, но одинъ свободно нападалъ, а другіе только подвергались нападенію, поражать же для нихъ было невозможно, равно какъ и защищаться отъ коварствующихъ, потому что такъ повелѣлъ Предводитель боевого строя: посылаю васт яко овим посреди волновт, и не только повелёль выходить противъ коварствующихъ, но даже доставлять имъ удовольствіе безчинствовать, потому что обращение правой щеки и посылание овецъ среди волковъ намекаютъ не на иное что, какъ на то, что имъ дано въ удълъ страданіе, чтобы побъдный знакъ сдълался блистательне. Какъ? Такъ, что, будучи въ числе одиннадцати, они преодольли вселенную, - что достигли этого страдая, а не причиняя страданія, будучи поражаемы, а не поражая, подвергаясь казнямъ, а не коварствуя.., будучи изгоняемы, а не изгоняя, будучи преслъдуемы, а не преслъдуя, будучи убиваемы, а не убивая, — и что, какъ овцы, назначенныя на закланіе, они измѣнили до кротости овецъ всёхъ волковъ, бёснующихся, дышащихъ убійствомъ, бывщихъ свиръпъе звърей. Когда слово распространялось и благочестіе посывалось, отовсюду разгорались костры, вражда и войны..., кто принималь слово, обращался для всёхь въ общаго врага, изгонялся изъ отечества, терялъ имущество и подвергался

<sup>1)</sup> Бес. LXXXIV на Ев. Мате., т. 7, стр. 842-843.

<sup>2)</sup> Обычное ограничение въ системахъ нашего оффиціальнаго богословія.

опасности относительно... самой жизни... Видишь ли, какъ скорбь утверждаетъ Евангеліе" <sup>1</sup>). И въ дальнѣйшей исторіи Церкви святитель съ гордостью отмѣчаетъ, что она росла безъ насилія и мщенія, но, напротивъ, возрастала и возвеличивалась среди гоненій отъ невѣрныхъ. "Съ того времени, какъ пришелъ Христосъ, были невѣрные цари, были и вѣрные, но изъ невѣрныхъ большая часть ввергала вѣрующихъ въ пропасти, въ костры, въ бездны, въ моря, предавала бѣшенству звѣрей... И хотя вѣрующіе были терзаемы всѣми способами, но вѣра возрастала еще болѣе. А благочестивый царь ни одинъ никогда не рѣшался наказывать и мучить кого-либо изъ невѣрующихъ, принуждая его отстать отъ заблужденія,—и, однако, заблужденіе и такъ само собою проходитъ и исчезнетъ" <sup>2</sup>). Непозволительно христіанамъ ниспровергать заблужденія принужденіемъ и насиліемъ, но заповѣдано убѣжденіемъ, словомъ и кротостію совершать спасеніе людей" <sup>3</sup>).

Можно было бы и еще отмѣтить черты согласнаго пониманія евангельскихь заповѣдей и устроенія христіанскаго быта у великаго учителя Церкви и Л. Н. Толстого. Такъ они согласно смотрять на основы права собственности, въ частности на то, что земля не должна входить въ частное владѣніе <sup>4</sup>), одинаково отрицають клятву въ христіанской жизни <sup>5</sup>), согласно смотрять на преимущества бѣдности <sup>6</sup>), на ненормальности жизни въ городѣ <sup>7</sup>), преимущества рабочей трудовой жизни <sup>8</sup>), на характеръ христіанской жизни, какъ бы по природѣ страннической <sup>9</sup>) и т. д. Подробно, однако, останавливаться на этихъ чертахъ сходства этическихъ воззрѣній двухъ проповѣдниковъ христіанскаго ученія намъ не

<sup>1) &</sup>quot;Бес. VII, сказанная въ храмѣ св. Анастасіи", т. 12, стр. 323—327.

<sup>2) &</sup>quot;Похвала св. муч. Дросидъ", т. 2, стр. 733.

<sup>3) &</sup>quot;О святомъ Вавилъ", т. 2, стр. 577.

<sup>4)</sup> Подробное изложеніе взгляда св. Іоанна на собственность можно читать въ моей книжкѣ "Ученіе древней Перкви о собственности", стр. 42—50, 113—139, 195—246.

<sup>5)</sup> Напр. Творенія св. Іоанна въ русск. пер. т. 12, "Слово о клятвъ", стр. 726—733, особенно стр. 729 и множ. др.

<sup>6) &</sup>quot;Ученіе древней Церкви о собственности", стр. 139—143.

<sup>7)</sup> Напр, т. 1, стр. 53 и др.

<sup>8)</sup> Напр., т. 7, стр. 550.

<sup>9)</sup> Напр., т. 7, стр. 706.

представляется нужнымъ. Много у нихъ есть общаго, много и различнаго. Мы ограничиваемся указаннымъ согласіемъ сравниваемыхъ пропов'вдниковъ христіанскаго нравственнаго ученія по вопросу о жизненномъ значеніи запов'вдей Христовыхъ. Какъ бы ни было велико различіе св. Іоанна и гр. Толстого во вс'яхъ остальныхъ отношеніяхъ и въ пониманіи частныхъ запов'ядей Господа, но согласіе двухъ столь различныхъ моралистовъ въ пониманіи такого великаго жизненнаго вопроса им'єть самое существенное значеніе для нашего времени, и потому заслуживаетъ быть отм'єченнымъ.

Графа Толстого отдёляеть оть св. Іоанна Златоустаго полторы тысячи лътъ, но ръшаютъ они одинъ и тотъ же, центральный для христіанской совъсти, вопросъ о жизни по въръ Христовой. И, конечно, удивительно здёсь не то, что рёшается одинъ и тотъ же вопросъ: безъ сомнънія, если бы прошли десятки тысячъ льтъ, вопросъ этоть все равно неотступно стояль бы передъ совастью людей и требоваль бы своего разрѣщенія. Удивительно то, что графъ Л. Н. Толстой, проповъдуя, что Христосъ Спаситель училь людей для того, чтобы они исполняли Его ученіе и на основ'в этого ученія построяли свою жизнь, пропов'ядуя это, Л. Н. Толстой быль искренно убъждень, что онь предлагаеть новое, сравнительно съ церковнымъ, пониманіе отношенія Евангелія къ жизни. Что же это такое? Русская церковь всегда была единомысленна съ греческой; творенія святыхъ отцовъ церкви, и особенно св. Іоанна Златоуста, тщательно изучались въ Россіи, и авторитетъ ихъ стояль всегда высоко. Согласно со св. Іоанномъ учили и всѣ великіе церковные учители. И вдругь гр. Толстой какъ бы откровеніе какое возв'ящаеть міру, что Христось училь людей для того, чтобы Его последователи исполняли Его ученіе. И не одинъ графъ Толстой такъ думалъ. Широкіе интеллигентные круги русскаго общества также приняли его слово за новое откровеніе. Но и этого мало: наше богословіе въ лиць очень и очень многихъ его представителей съ величайшей горячностью начало опровергать и этоть пункть въ ученіи гр. Толстого, и съ особенною любовью и ревностью, достойными лучшей участи, начало доказывать, что безъ убійства, побоевъ, войны, клятвы и т. д. міръ существовать не можетъ. Конечно, голосъ нашего богословія, при томъ далеко неединодушный, не есть голосъ Церкви вселенской. Но все-же

неръдко самыя удивительныя вещи выдавались нашими богословами за церковное ученіе, а ихъ санъ и ученые дипломы легко могли заставить читателей повёрить тому, что и дёйствительно разныя богословскія измышленія выражають церковное сознаніе. В риль же этому самъ Л. Н. Толстой... Получается поражающая картина. Пятнадцать вѣковъ назадъ великій христіанскій проповѣдникъ со всею силою убъжденности доказывалъ, что заповъди Господа, какъ онъ выражены въ нагорной бесъдъ, могутъ и должны быть исполняемы въ Церкви Христовой. Ревностно обличаль св. Іоаннъ неправый путь жизни человьчества и призываль горячо и неустанно вступить на путь последованія Христу. Прошли полторы тысячи лътъ, и эту самую мысль также горячо и неустанно защищаеть графъ Толстой, но уже не столько обличая членовъ Церкви, сколько самую учащую церковь. Конечно, произошло страшное недоразумѣніе: гр. Толстой смѣшаль голось Церкви съ голосомъ отдельныхъ ея представителей. Но все же нельзя закрывать глаза на то явленіе, что и пятнадцать в ковъ спустя посл св. Іоанна, а върнъй-19 послъ проповъди въ міръ Евангелія, находятся люди, которые отъ лица Церкви доказывають и убъждають, что евангельскія заповіди, какъ безконечно высокія, неприложимы къ нашей жизни во всей ихъ чистотъ. На первый взглядъ можеть показаться, что христіанское самосознаніе какъ бы понизилось. Но върится, что это не такъ, и полторы тысячи лътъ не прошли безплодно для христіанизаціи человіческаго сознанія. Въ самомъ дълъ, въ лицъ св. Іоанна и другихъ святителей древней Церкви мы имфемъ великихъ христіанскихъ учителей, мысль которыхъ высоко-высоко поднималась надъ уровнемъ широкихъ круговъ ихъ современниковъ. Поэтому и произошло такъ, что жизнь далеко отстояла отъ возвъщаемой учителями церкви истины, и эта жизнь, человъческій эгоизмъ и плотяность не только не были, повидимому, побъждены призывомъ великихъ церковныхъ учителей, но укоренялись, и прямое нарушеніе запов'ядей Христовыхъ вошло въ самый быть жизни христіанской какъ нічто законное, извиняемое немощностью человъческой природы и устоями человъческихъ общежитій. Поэтому также остро, а можеть быть и еще острѣе ставится для нашего сознанія проблема о разладѣ между жизнью и идеаломъ. Но однако самая проблема ставится уже не только съ высоты церковной канедры, но и изъ недръ народнаго сознанія. Говориль одинь графъ Толстой, но отвічали ему тысячи сердецъ. Велико и теперь разстояніе жизни христіанскаго общества отъ ея евангельской нормы, больше, быть можетъ, чемъ во дни св. Іоанна. Но совъсть народная, эти глаза сердца, уже видять это разстояніе, плачуть оть сознанія своего убожества, готовы иногда осудить себя, иногда отвергнуть, и даже съ ненавистью, идеаль, но совъсть современнаго сознательнаго христіанина уже не можеть лгать и не захочеть лгать. Она можеть простить гр. Толстому его заблужденія и Богу предоставить судъ надъ его кощунствомъ. Но эта совъсть никогда не признаетъ учителями истины тѣхъ, которые говорять отъ имени Христа, но говорять не то, чему Онъ училъ. И въ этомъ отношеніи пропов'ядь Л. Н. Толстого не пройдеть безследно. Толстой не учитель Церкви. Та "часть истины", которая прошла черезъ его сознаніе 1), уже съ первыхъ въковъ христіанства заключена въ твореніяхъ великихъ провозвъстниковъ церковнаго ученія, и заключена во всей полнотв, потому что утверждается на живомъ камнв, который есть Христосъ, Единородный Сынъ Вожій. Но гр. Л. Н. Толстой—это живой укоръ нашему христіанскому быту и будитель христіанской совъсти. Дремлеть эта совъсть... Высоко поднимаются храмы христіанскіе и много ихъ по лицу земли, — этихъ символовъ того, что побѣдиль Галилеянинь. Но внѣ стѣнь этихъ храмовъ жизнь течеть по своимь законамь, глубоко враждебнымь тому, что возвыщается въ Евангеліи, и приносятся непрестанныя жертвы богамъ инымъ. И усыпляется совъсть этимъ мнимо-христіанскимъ бытомъ, и сладко сознаніе, что можно считать себя последователемъ Христа, сдёлавъ Его кресть украшеніемъ своей жизни, но не нося

<sup>1)</sup> Хочется привести здёсь слова самого Толстого, могущія служить дёйствительно руководящими въ отношеніи къ нему. "Я прошу всёхъ тёхъ, которые будуть читать и понимать мое писаніе, откинувь такъ же, какь и я, всё свётскія соображенія, имёя въ виду только то вёчное начало истины и добра, по воль котораго мы пришли въ этоть мірь, и очень скоро, какъ телесныя существа, исчезнемь изъ него, и безъ носпешности и раздраженія понимать и обсуждать то, что я высказываю, и въ случай несогласія не съ презреніемь и ненавистью, а съ сожальніемь и любовью поправлять меня; въ случай же согласія со мной помнить, что если я говорю истину, то истина эта не моя, а Божія, и что только случайно часть ея проходить черезъ меня, точно такъ же, какъ она проходить черезъ каждаго изъ насъ, когда мы познаемь истину и передаемь ее" ("Христіанское ученіе", предисловіе).

на себъ тяжести этого креста. Дремлетъ совъсть, и не нарушаетъ покоя ея слабый голось церковныхъ проповёдниковъ. Этотъ голосъ не только легко заглушается шумомъ міра, но нерѣдко и самъ сливается съ нимъ и начинаетъ учить, следуя "заповедямъ, преданіямъ человіческимъ". Много, слишкомъ много есть въ нашей повседневной проповёди отъ лица Церкви такого, что дёлаетъ эту проповѣдь лишенной внутренней силы и убѣдительности; уныло звучать слова наши о любви къ Богу, о жизни въ Немъ одномъ, о слёдованіи заповёдямъ Его. Не будитъ эта проповёдь дремлющихъ сердецъ, не влечетъ къ себъ душу, погибающую въ суеть міра... Но раздалось это же слово о жизни въ Богь и по Его закону изъ устъ великаго писателя родной земли, и къ нему прислушивается міръ; какъ удары призывного колокола несутся его слова по міру и ударяють въ сердца, будять дремлющія силы человъческаго духа и зовутъ ихъ могучимъ призывомъ на дъло Божье. Правда, и эти слова еще непонятны и часто непріятны міру, но все-таки есть что то, что ділаеть эти непонятныя слова родными для человъка, привлекающими сердца людей своею искренностью, личной выстраданностью, какою то общечеловъческой правдой. И въ лучахъ этой правды яснымъ дѣлается весь ужась современнаго уклада христіанской жизни и виднется, хотя сквозь туманъ ощибокъ и заблужденій, новая обътованная земля на которой царствуеть воля Божья.

"Не увидать той обътованной земли, куда ввель другихъ,—хотя бы содъйствоваль сколько нибудь введенію другихъ,—есть неизмѣнный законъ истинной жизни". Такъ говорилъ самъ Л. Н. Толстой, и тихою грустью вѣетъ отъ словъ этихъ. Но для всѣхъ, ищущихъ обѣтованной земли, тоскующихъ по ней, дороги эти самоотверженные вожди человѣчества, хотя бы они вели людей въ землю обѣтованія и не прямою дорогой, и благодарная память о нихъ не умираетъ.

Василій Экземплярскій.

Кіевъ, 26 августа 1911 г.

# Простота и опрощеніе.

I.

Кризисъ жизнепониманія, приведшій, въ концѣ концовъ, къ опытамъ опрощенія и породившій т. наз. "толстовство", постигъ Л. Н. Толстого въ началѣ 80-хъ годовъ. Его отраженіе даютъ намъ три важнѣйшихъ произведенія этой эпохи: 1) Такъ что же намъ дюлать? 2) Исповидь. 3) Въ чемъ моя впра? Въ этихъ произведеніяхъ вскрываются различные мотивы, которые приводили къ одному стремленію, — уйти изъ города, изъ культуры, сѣсть на землю, опроститься, слившись съ земледѣльческимъ людомъ въ трудѣ, въ религіозномъ осмысленіи жизни, въ свободѣ отъ дурмана цивилизаціи. Въ каждомъ изъ этихъ произведеній проповѣдь опрощенія поворачивается особой стороной. Въ первомъ вскрывается преимущественно ея соціальный мотивъ, во второмъ—религіозный, въ третьемъ—догматическій.

Въ статьяхъ Такъ что же намъ дълать (вмѣстѣ съ статьей о Московской переписи) съ потрясающей силой и искренностью Толстымъ изображаются его усилія узнать міръ городской бѣдноты и стать ему полезнымъ, а также его неудачи на этомъ пути. Въ сущности то, что здѣсь описывается, уже многократно излагалось и излагается въ экономической литературѣ, сухимъ языкомъ фактовъ и цифръ. Здѣсь эта жестокая жизненная правда раскрыта въ не-изгладимыхъ образахъ, нельзя этихъ страницъ перечитывать, не переживая какъ бы страшнаго суда надъ своей жизнью. Нищета, порокъ, паденіе глядятъ здѣсь на васъ своими мертвыми глазами и терзаютъ слабую и грѣховную совѣсть. Что сдѣлалъ ты для насъ? говорятъ они намъ. Да и побѣдимо-ли это зло? слѣдомъ встаетъ и другой вопросъ. Нѣтъ спора, что съ нимъ можно и должно вести

борьбу, и оно отступаетъ предъ соціальной помощью, но скороли оно отступить да и отступить-ли когда-нибудь совсвиъ? Но даже еслибы и совсвмъ отступило, развъ уничтожится этимъ все прошедшее зло? Развѣ слезы ребенка, о которыхъ не хочетъ забыть Иванъ Карамазовъ и ради булущей гармоніи, развъ ужасы дътской проституціи или нищенства, гніеніе въ сифилисъ, алкоголизмъ, моръ, голодовки, даже если все это и будетъ когда-либо побъждено въ исторіи, развъ же можеть совершенно изгладиться изъ памяти? Вѣдь это ипна прогресса, вѣдь все это роковымъ образомъ связано съ цивилизаціей. Вѣдь путь исторіи и культуры совершается по трупамъ, цѣна его-слезы, потъ и кровь. Все это фатально и непоправимо такъ. Все связано со всемъ, въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ, и всѣ за всѣхъ и во всемъ виноваты. Возможно-ли, сознавая это, оставаться въ этой цивилизаціи, чувствовать себя въ исторіи, или же надо сдёлать salto mortale, куда-то выпрыгнуть изъ нея, отрясти прахъ отъ ногъ своихъ? Однако исполнимо-ли это? Вѣдь это не такъ просто, какъ написать на эту тему рядъ книгъ и брошюръ, или, поселившись въ своемъ имфніи, заняться паханьемъ земли и шитьемъ сапоговъ. Есть-ли отсюда выходъ? Или же остается принять жизнь, какъ она есть, со всёмъ ея гръхомъ, съ сознаніемъ неизбывности своей вины, но вмъстъ и тяжести своего долга?

Толстой испыталь такой же жгучій стыдь своего существованія, какой испытывается многими, когда приходится войти въ соприкосновеніе съ міромъ, который обычно отділень глухою стіной, и пережить при этомъ жуткое чувство своего безсилія. Передъ Толстымъ какъ будто впервые встаетъ въ это время соціальный вопросъ. Какъ же онъ справляется съ нимъ?

Следуеть отметить поразительное несоответствие между первой и второй частью Тако что же намо долать. Если первая часть потрясаеть и мучить своей жизненной правдой, то во второй части она словно забывается или куда-то исчезаеть. Здёсь сразу начинается собственная политическая экономія Толстого, упрямая отсебятина, которую трудно читать безъ чувства раздраженія противь своенравія и капризовъ знаменитости, не желающей считаться ни съ логической принудительностью, ни съ вёковой научной работой. При этомъ несогласіе съ нимъ научной политической экономіи (о которой онъ, вообще говоря, иметь представленія

очень одностороннія, а то и прямо невірныя) имъ объясняется или "глупостью" или "злонамфренностью" 1). "Вопросъ экономической науки следующій: какая причина того, что одни люди, имеющіе землю и капиталь, могуть порабощать твхь людей, у которыхь неть земли и капитала? Отвътъ, представляющійся здравому смыслу, тоть, что это происходить оть денегь, имфющихь свойство порабощать людей". За то, что наука не признаеть теоріи денегь Толстого, она обвиняется въ сознательномъ стремленіи "поддерживать суевъріе и обманъ въ людяхъ и тымь препятствовать человычеству въ его движеніи къ истинѣ и благу". Такъ "кающійся дворянинъ" незамѣтно для себя принимаетъ болѣе удобную и привычную позу обличителя. Онъ не считается съ мучительной экономической необходимостью, въ силу которой при извъстной густотъ населенія часть его не вміщается въ земледілін и должна обратиться къ промышленности, и для него не существуетъ проистекающая отсюда историческая миссія капитализма. Развитіе индустріализма, которое, какъ порожденіе неотвратимой экономической необходимости, является, въ извъстномъ смыслъ, отнюдь не менье естественнымъ чъмъ земледъліе, здісь объясняется всеціло злоумышленіемъ. Въ политической экономіи Толстого возрождается ни больше, ни меньше какъ физіократизмъ 18-го вѣка, однако съ опозданіемъ на цѣлый вѣкъ. Спора нътъ, можетъ быть это было бы и проще, еслибы всъ могли оставаться въ деревнъ, занимаясь земледъліемъ. Но насколько возможно это? Или, наоборотъ, это давно уже стало невозможно, по крайней мъръ, при данномъ уровнъ земледъльческой техники, и пока нечего и дразнить себя несбыточной мечтой? Толстой никогда не ставиль этого вопроса во всей его экономической серьезности, онъ только сердился и видѣлъ одну недобросовѣстность въ соображеніяхъ, колебавшихъ его физіократизмъ. "Если у мужика нътъ земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды (?) и шила, то это значить что кто-нибудь согналь его съ земли и отняль или выманиль у него косу, телегу, лошадь, шило; но никакъ не значитъ то, что могуть быть земледёльцы безъ сохи и сапожники безъ инструмента" (94). Такъ наивничаетъ Толстой по вопросу о происхожденіи пролетаріата, какъ будто мужикъ такъ и родится мужикомъ, прямо съ землей, а сапожникъ съ "домомъ, водой и шиломъ".

<sup>1)</sup> Такъ что же намъ дълать? Изд. 2-ое, Посредника, стр. 135.

Поэтому происхождение городовъ онъ объясняеть единственной причиной, значеніе которой, конечно, нельзя отрицать, но лишь въ ряду другихъ причинъ, именно, скопленіемъ богатствъ въ рукахъ непроизводителей и сосредоточеніемъ ихъ въ городахъ. Изъ этой упрощенной концепціи оказалось не трудно получить простой отвъть на мучительный и, казалось, безотвътный вопросъ: такъ что же намъ делать? въ духе новаго физіократизма: "прежде всего что мнъ самому нужно, мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, —все, что я могу самъ сдълать" (115). Онъ доказываетъ далъе на своемъ примъръ, что физическій трудъ совстмъ не мъщаеть и умственному, но содъйствуеть большему счастью жизни (116-18). И съ высоты достигнутаго равновъсія душевныхъ и физическихъ силь Толстой объявляеть: "все, что мы называемъ культурой: наши науки и искусства, усовершенствованія пріятностей жизни---это попытки обмануть нравственныя, естественныя требованія челов ка; все, что мы называемъ гигіеной и медициной—это попытки обмануть естественныя, физическія требованія человіческой природы" (120). "Такъ что же выйдеть изъ того, что десятокъ людей будеть пахать, колоть дрова, шить сапоги не по нуждь, а по сознавію того, что человіку нужно работать и что чімь онь больше будеть работать, тымь ему будеть лучше? Выйдеть то, что десятокъ или хоть одинъ человѣкъ и въ сознаніи и на дѣлѣ покажутъ людямъ, что то страшное зло, отъ котораго они страдаютъ, не есть законъ судьбы, воля Бога или какая-нибудь историческая необходимость, а есть суевъріе, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное" (138-9). Такимъ образомъ не на малое притязаеть этоть пробный урокь прикладного физіократизма. Ну а что же тъ бъдные, которые были описаны вначаль? Въдь, казалось бы, ихъ следовало бы прежде всего посадить на землю или устроить какъ-нибудь иначе раньше, чёмъ сёсть на нее самому, да еще съ такими міровыми задачами? Но они какъ-то незамътно забываются, а центръ вниманія переносится на вопросъ. какъ мить освободиться отъ своей привилегированности и не участвовать въ злѣ? Какъ мнѣ обрѣсти потерянное спокойствіе совъсти и отрясти прахъ культуры отъ ногъ своихъ? Но-увы!это невозможно. Въ костяхъ своихъ, какъ наследственную болезнь, несемъ мы это прошлое, и эту культуру, и это соучастіе въ общечеловъческомъ добръ и злъ и, взявъ отъ нея такъ много, считать, что можно оть нея отречься, достаточно лишь сѣсть на землю, это значить впасть въ моральное самообольщеніе. Трудная положительная задача оказалась подмѣнена отрицательной, а потому облегченной и упрощенной. Въ дальнѣйшемъ развитіи идей Толстого, его физіократизмъ приближается къ экономической доктринѣ американскаго неофизіократа Г. Джорджа (такъ что "воскресающій" Нехлюдовъ излагаетъ своимъ мужикамъ уже "Жоржу"). Таковъ соціально-экономическій мотивъ проповѣди опрощенія.

## П.

Второй, религіозный, мотивъ опрощенія связанъ былъ для Толстого съ тъмъ способомъ, какимъ онъ "добывалъ отъ мужика въру въ Бога", (какъ выразился Достоевскій 1) по поводу Левина). Объ этомъ онъ самъ разсказываетъ въ Исповиди. Во время религіознаго кризиса, здёсь описываемаго, онъ началъ сближаться съ "върующими изъ бъдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей", которые, хотя и имъли "суевърія", но "они были необходимымъ условіемъ этой жизни". "Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки, искусства-все это предстало мив въ новомъ значении. Я понялъ, что все это одно баловство, что искать смысла въ этомъ нельзя. Жизнь же всего трудящагося народа, всего человъчества, творящаго жизнь, представилась мнв въ ся настоящемъ значеніи. Я поняль, что это -- сама жизнь и что смысль, придаваемый этой жизни, есть истина, и я приняль его" 2). Дёло въ томъ, что народъ "добываетъ свою жизнь", въ этомъ и состоитъ смыслъ жизни, а "я не добывалъ свою жизнь" (56). Критерій труда для добы-

<sup>1)</sup> Дневникъ писателя за 1877 годъ, іюль—августь, гл. II, IV. Достоевскій замічаеть здісь о Левині—Толстомь слідующее: "воть эти, какь Левинь, сколько бы ни прожили съ народомь или подлів народа, но народомь вполнів не сділаются, мало того,—во многихъ пунктахъ такъ и не поймуть его никогда вовсе. Мало одного самомнівнія, или акта воли, да еще столь причудливой, чтобы захотіть и стать народомь. Пусть онь и поміщикь, и работящій поміщикь, и работы мужицкія знаеть, и самъ косить, и теліну запрячь умість, и знаеть, что къ сотовому меду огурцы свіжіе продаются. Всетаки въ душів его, какъ онь ни старайся, останется оттіновь чего-то, что можно, я думаю, назвать праздношатайстволю".

<sup>2)</sup> Исповыдь, изд. "Посредника", 1907, стр. 54.

ванія жизни страннымъ образомъ оказался руководящимъ при разрѣшеніи религіознаго кризиса, и стремленіе слиться съ народомъ прежде всего въ его трудъ, чтобы затъмъ соединиться и въ въръ, явилось отсюда естественнымъ исходомъ. Своего Бога Толстой нашель у народа, и въ этомъ своемъ религіозномъ народничествъ, въ качествъ его придатка или логическаго послъдствія, пытался принять и православіе 1). Но, конечно, въ концѣ концовъ изъ такого принятія православія могло выйти лишь то, что вышло: сначала затаенный, а потомъ и открытый противъ него бунтъ. Съ Толстымъ случилось здёсь аналогичное тому, что Герценъ въ своемъ явно стилизованномъ и, очевидно, несоотв тствующемъ исторической истинъ разсказъ приписываетъ И. В. Киръевскому. Послёдній въ изображенін Герцена сталь будто бы поклоняться чудотворной иконъ Богоматери, лишь потому, что видълъ общенародное ей поклоненіе, отъ котораго она "наполнялась силой" 2). Итакъ, опрощеніе, соединеніе съ народомъ въ трудѣ "добыванія жизни", оказалось для Толстого тёмъ мостомъ, которымъ онъ пришель кь своей въръ. Религія и опрощеніе сливаются для него поэтому неразрывно.

#### Ш.

Третій мотивъ опрощенія у Толстого содержится уже въ его собственномъ вѣроученіи, основанномъ на своеобразномъ истолкованіи Евангелія. Нагорная проповѣдь приходитъ здѣсь у него на помощь физіократизму. Призывъ Христа къ послѣдованію за Нимъ и обѣтованіе плодовъ, которые даеть оно не только для жизни вѣчной, но также и для жизни здѣшней <sup>3</sup>), ибо даже страданія и кресть суть "иго благое" и "бремя легкое", Толстой перетолковываеть въ своемъ опрощенски-физіократическомъ духѣ. Помимо

<sup>1) &</sup>quot;Какъ ни странно было многое изъ того, что входило въ въру народа, я приняль все, ходиль къ службамъ, становился утромъ и вечеромъ на молитву, постился, говъль, и первое время разумъ мой не противился ничему" (тамъже, 63).

<sup>2)</sup> Герценг. Былое и Думы, т. VII, 302 (Загран. изд. 1879). Что это не можеть быть върно относительно Ив. Киръевскаго, ясно и на основании его сочинений, и біографическихъ о немъ свъдъній.

<sup>3)</sup> Cp. tercth: Mo. 19, 27-9, Mp. 10, 28-30, Jr. 18, 28-30.

метафизическаго содержанія для него "ученіе Христа имѣеть и самый простой, практическій смысль для жизни каждаго отдѣльнаго человѣка. Этоть смысль можно выразить такь: Христось учить людей не дълать глупостей (Sic!). Въ этомъ состоить самый простой, всѣмъ доступный смысль ученія Христа" 1).

"Не мученикомъ надо быть во имя Христово, не этому учитъ Христосъ. Онъ учитъ тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложнаго ученія міра... Христось говорить: не сердись, не считай никого ниже себя-это глупо. Будешь сердиться, обижать людейтебъ же будеть хуже". "Христось учить именно тому, какъ намъ избавиться отъ нашихъ несчастій и жить счастливо... Всв эти люди (живущіе въ город'в) побросали дома, поля, отцовъ, братьевь, часто жень и дітей, отреклись оть всего, даже оть самой жизни, и пришли въ городъ для того, чтобы пріобръсти то, что по ученію міра считается для каждаго изъ насъ необходимымъ. И всв они, начиная отъ фабричнаго, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и ихъ женъ, всѣ несутъ самую тяжелую и неестественную жизнь и всетаки не пріобрали того, что считается для нихъ нужнымъ по ученію міра". Для счастья нужны, "во-первыхъ. связь человѣка съ природой, т.-е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свътъ солнца, на свъжемъ воздухъ, общение съ землей, растеніями, животными", во-2хъ, "любимый и свободный трудъ и-трудъ физическій, дающій аппетить и крыпкій успокаивающій сонъ", въ 3-хъ, "семья", въ 4-хъ, "свободное любовное общеніе со всёми разнообразными людьми міра", въ 5-хъ, "здоровье и безбользненная смерть" 2). И все это даеть слъдование ученію Христа, "который учить тому, чтобы люди выше всего ставили свъть разума, чтобы жили сообразно съ нимъ, не дълали бы того, что они сами считають неразумнымъ" 3). А разумная жизнь есть жизнь, удовлетворяющая условіямъ счастья. Слідованіе ученію Христа даеть не одно религіозное блаженство среди земныхъ страданій, но и земное счастье, а счастье это связано съ опрощеніемъ, которое есть разумная жизнь въ "естественныхъ" условіяхъ!

<sup>1)</sup> Въ чемъ моя въра, изд. 2-ое, стр. 150. Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> Въ чемъ моя въра, 143 и далъе.

<sup>3)</sup> Tant me, -182.

## IV.

Многомотивность проповёди опрощенія затрудняеть характеристику этого ученія въ ціломъ, поскольку въ немъ переплетаются эти различные мотивы: соціальный, религіозный, віроучительный. Наиболье безспорень и силень, но, вмъсть съ темъ, наименье для нея характеренъ мотивъ соціальный. Соціальное покаяніе, мучительное сознаніе своей привилегированности, ничёмъ незаслуженной, всегда сверлить не совсемь еще заснувшую совесть и ищеть для себя хотя какого-нибудь исхода. Оно выражается и въ разныхъ попыткахъ действительнаго или кажущагося служенія народу, всяческаго народничества, — политическаго, культурнаго, экономическаго, причемъ каждый ищетъ наиболее целесообразнаго приложенія своихъ силъ. Соціальное неравенство этимъ, конечно, не уничтожается и даже не сглаживается, --къ чему лицемърить, --однако страна и народъ получають, что могуть дать ей культурные классы своимъ трудомъ въ пределахъ своихъ спеціальностей. Другая часть привилегированнаго сословія живеть не задумываясь надъ своимъ положеніемъ и не тревожа себя чувствомъ соціальной отвѣтственности. Она и образуеть потребителей, наполняющихъ города и создающихъ спросъ на предметы роскоши, праздности и забавы. Толстой, столкнувшись съ городской бѣднотой, почувствоваль преступность этой привилегированной жизни и сдёлаль попытку выскочить изъ своей соціальной среды, освободиться отъ ціальной коры, ствши на землю и взявшись за соху и сапожное шило. Однако, освобождение это касалось только видимости, и было въ значительной степени лишь перекостюмировкой. Несмотря на весь аппарать опрощенія, онь, конечно, не приняль да и не могь принять наиболье тягостнаго изъ того, что есть въ положеніи рабочаго человіка, именно отсутствіе увіренности въ завтрашнемъ днъ, страхъ потери работоспособности или угроза безработицы, отъ которой пойдеть по міру семья, будуть голодать жена и дъти. Этотъ реальный ужасъ бъдности, этотъ ея гнеть и униженіе, которое одинаково чувствуется и въ городі, и въ деревнѣ, и на мостовой, и среди полей, и есть, пожалуй, самое существенное, что отличаеть бъдныхъ отъ богатыхъ. Этого никогна

даже отдаленно не испыталь Толстой, и постольку его опрощеніе всегда оставалось—sit venia verbo—бутафорскимъ, было до извѣстной степени средствомъ леченія, въ родѣ шведской гимнастики или "физическаго труда". Конечно, это онъ всегда сознавалъ и самъ. Однако рѣчь идетъ здѣсь не о личной нерѣшительности или непослъдовательности Толстого или хотя любого изъ насъ. Пусть бы онъ былъ последователенъ и, действительно, отказался бы отъ всего. Но развѣ онъ сравнялся бы чрезъ это съ тѣми, отъ которыхъ отличаться не хотёль? Воть онь совётуеть пахать землю, но мало-ли безземельныхъ? совътуетъ шить сапоги, но мало-ли безработныхъ? совътуетъ работать руками, но развъ мало увъчныхъ? совътуетъ ъсть простую пищу, но мало-ли голодающихъ? Гдъ найти границу этой нивеллировки, на чемъ остановиться? Да и кромъ того, развѣ такъ легко отречься отъ себя? Развѣ и опрощающійся Толстой не уносить съ собой всю віковую барскую культуру, свое образованіе, да, наконецъ, и свой геній? Мыслимо-ли вообще сравняться съ другими, когда въ жизни все индивидуально и неповторяемо? Какъ бы ни велика была сила соціальнаго покаянія, но такой задачи неспособно разрёшить чикакое опрощеніе, ибо это есть ложно поставленная задача: стать какъ всѣ невозможно, ибо каждый не есть какъ всв. И стряхнуть съ себя гръхъ исторіи, соціальный, а вмъсть и свой личный гръхъ невозможно никакимъ опрощеніемъ, никакимъ внёшнимъ дёйствіемъ, онъ изглаживается лишь покаяніемъ предъ Богомъ, искупается лишь Вожественною кровію. Въ опрощеніи есть ложный и опасный уклонъ фарисейской самоправедности, умывание рукъ неучастиемъ.

Если соціальный мотивъ опрощенія можно признать правильнымъ въ исходномъ пунктѣ и извращающимся лишь въ дальнѣйшемъ развитіи, то религіозный его мотивъ—исканіе Бога у мужика посредствомъ мужицкаго труда — намъ представляется прямо ложнымъ. Это народобожіе есть плохо прикрытое религіозное безсиліе, неспособность къ вѣрѣ при страстномъ стремленіи къ ней. Я думаю, что для Толстого это быль лишь кратковременный переходный періодъ. Правда этого мотива въ томъ, что истинная вѣра добывается только жизнью, вынашивается въ жизненныхъ испытаніяхъ, и что истинная вѣра требуетъ новой жизни по вѣрѣ. Но совершенно ложно было бы однако обратное заключеніе, что достаточно барину взяться за соху или шило, чтобы обрѣсти отсутствующую

въру, какъ будто не существуетъ мужицкаго атеизма! Когда Толстой метался, задыхаясь одинаково и отъ безрелигіозной жизни и отъ религіознаго безсилія, онъ естественно схватился и за этотъ якорь, и въ ту минуту это, быть можеть, ему и помогло. Однако следуеть безь всякаго колебанія сказать, что это внешнее обращеніе сразу же создало вывихъ въ его отношеніяхъ къ православію и вообще церковному христіанству. Толстой если временно и приняль православіе, то не ради его самого, а лишь въ качествъ элемента своего народобожія. Православіе для него въ это время дъйствительно имъло значение аттрибута народности, какъ принадлежность народнаго быта, хотя это приписывается обыкновенно славянофиламъ. Но такое отношеніе къ православію есть, конечно, безсознательное надъ нимъ кощунство, которое поздиже, освободившись отъ гипноза народобожія, Толстой замінилъ сознательнымъ кощунствомъ, имъ онъ какъ будто мстилъ православію за свою же собственную предъ нимъ вину.

Наиболье важнымъ и принципіально интереснымъ является въроучительный мотивъ проповъди опрощенія, ея связь съ христіанствомъ. Извъстно, что Толстой опирается при этомъ исключительно на заповъди Нагорной Проповъди, къ которымъ онъ сводить почти все христіанство. Въ ученіи объ опрощеніи Толстымъ снова ставится и обостряется проблема христіанскаю аскетизма. Огромное значеніе толстовства, какъ міровозэрінія аскетическаго, состоить въ обостреніи этой проблемы, заглохшей въ общественномъ сознаніи въ нашъ вѣкъ утилитаризма, эвдемонизма и матеріализма. Въ этомъ пунктъ толстовство, повидимому, наиболье сближается съ христіанствомъ, притязая быть подлиннымъ, очищеннымъ отъ историческихъ наростовъ христіанскимъ ученіемъ, но въ немъ же оно глубоко отличается отъ христіанства, несмотря на всю видимость этого сближенія. Провести разграничительную линію между толстовствомъ и христіанствомъ въ этомъ вопросъ представляется дъломъ далеко нелегкимъ. Вмъстъ съ тъмъ съ этимъ ученіемъ неразрывно связанъ огромной важности вопросъ о религіозной цінности культуры. Воть почему ученіе объ опрощеніи мы считаемъ самой важной и интересной стороной міровоззрѣнія Толстого, нервомъ всего его религіознаго дѣла.

V.

Въ Евангеліи, да и во всемъ Новомъ Завѣтѣ постоянно повторяется одна мысль: не премудрымъ и разумнымъ въка сего открыты тайны Царствія Божія, но младенцамъ (Ме. 11 25 Лк. 10 21). Дътямъ принадлежитъ Царствіе Божіе (Ме. 9 14 Мр. 10 14 Лк. 18 16). "И сказалъ (Господь): истинно говорю вамъ, если не обратитесь и не будете какъ дъти, не войдете въ царствіе небесное" (Ме. 18 3). "Кто не приметь царствія Божія какъ дитя, тотъ не войдеть въ него" (Мр. 10 15 Лк. 18 17). Что значать эти слова? Сначала легче опредѣлить, чего они не значать. Господь, посылая учениковъ на проповъдь, говоритъ имъ: "Вотъ, Я посылаю вась какъ овець среди волковъ: итакъ, будьте мудры какъ зміи и просты какъ голуби" (Мо. 10 16). Значить, голубиная простота не предполагаетъ непремѣнно простоты ума, но можеть сочетаться съ зміиной мудростью, быть можеть, даже предполагаеть, обусловливаеть ее. Эта простота, очевидно, не есть наивность невъдънія или простоватость, дътскій умъ у взрослаго человъка. Отъ такого аповеоза глупости, опрощенія ума не даромъ предостерегается, въ лицѣ корпнеской общины, весь христіанскій міръ апостоломъ Павломъ: "Братія! не будьте дѣти умомъ: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннольтни" (І Кор. 14, 20).

Итакъ, евангельская простота или дѣтскость имѣетъ не эмпирическое, но религіозно-метафизическое значеніе. Простота есть религіозное здоровье души, въ противоположность ея болѣзненной сложности, слѣдствію грѣха. Дѣтскость есть непорочная чистота Божьяго созданія, въ которомъ не обнаружила еще своей губительной силы стихія грѣха, въ этомъ и состоитъ неотразимая прелесть и очарованіе дѣтей 1). Эта дѣтская чистота таитъ въ себѣ возможность безпредѣльнаго роста, развитія, усовершенствованія, съ особой высшей, безгрѣшной мудростью. Эту мысль о высшей, непорочной мудрости дѣтства пытался выразить Достоевскій въ сверхъ-

<sup>1)</sup> Это очень умѣль чувствовать Л. Н. Толстой, который посвятиль дѣтству одинь изъ дней (8 сентября) Круга Чтенія (стр. 196—9). Эти страницы принадлежать къ наилучшему, что въ немъ есть.

естественно геніальномъ своемъ Снъ смъшного человъка; онъ подходиль къ этому же вопросу и въ своемъ Идіопть. И не тоть же ли мотивъ встрѣчаемъ мы и въ иконописи, гдѣ предвѣчный Логосъ, Богъ—Слово, изображается обыкновенно въ видѣ младенца или отрока?

Ставя дътское состояніе души кореннымъ условіемъ вступленія въ Царствіе Божіе, спасенія, Евангеліе разумветь, очевидно, возстановленіе первозданнаго состоянія души, еще не познавщей добра и зла съ ихъ мучительной сложностью, и знающей только одно простое добро. Въ этомъ смыслѣ простота есть центральное понятіе христіанства. Спасеніе есть освобожденіе отъ грѣха, возвращеніе творенія къ его началу, хотя и послѣ опыта зла. Возможно-ли это для человъка? Но "невозможное человъкамъ возможно Богу" (Лк. 18 27), въдь для того и приходилъ на землю Христось, чтобы положить начало новой жизни, новой твари, показать въ Себъ Отца, и возвратить Ему заблудшихъ и погибшихъ дътей. Дётской простотё въ Евангеліи противополагается "міръ" съ его непростотой и гръховной сложностью, которая, когда проникаеть въдушу, то разлагаеть ея простоту, искажаеть ее. "Міръ" въ этомъ смыслѣ есть стихія грѣха, страстей, порока, хаоса, въ которомъ все перемѣщано, все сложно и нѣтъ ничего цѣльнаго. Любовь къ этому міру есть "вражда противъ Бога". Объ этомъ "мірв" сказано: "кто любить мірь, въ томъ ніть любви Отчей" (I Io. 2 15). Это не тотъ міръ, который предназначенъ Богомъ для насажденія въ немъ рая, и для спасенія котораго онъ послаль Сына Своего: "такъ возлюбиль Богъ міръ, что отдаль Сына Своего Единороднаго, дабы всякій, върующій въ Него, не погибъ, но имълъ жизнь въчную. Ибо не послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него" (Io. 3 16—17). Но туть же говорится: "мужайтесь: Я побъдилъ міръ" (Іо. 16 33). Иногда эти оттынки понятія о міръ, какъ Божьемъ твореніи и стихіи грѣха, совмѣщаются въ одномъ текств, какъ въ Прологв Евангелія отъ Іоанна: "въ мірв быль, и міръ чрезъ Него началь быть, и міръ Его не позналь" (Io. 1 10).

Эта двойственность состоянія міра и образуеть естественную и необходимую основу христіанскаго аскетизма. Борьба съ міромъ приводить къ стремленію уйти отъ него, объявить ему войну, пре-

зръть его утъхи и хотя бы даже самыя естественныя стремленія. Это-стремленіе выйти изъ жизни ранже смерти, вырваться изъ времени и изъ исторіи, еще оставаясь въ нихъ. Для того, кто услышаль небесные звуки, становятся скучны песни земли, и для того, кто позналъ радость богообщенія, паденіемъ кажется всякое, даже и самое невинное мірообщеніе. Антитеза Бога и міра напрягается при этомъ до последней степени, ради Бога отвергается міръ, такова основа христіанской аскетики. Первохристіане, ждавшіе съ часу на часъ міровой катастрофы и не замізчавшіе этого міра, аскеты, бъжавшіе отъ міра въ безплодныя пустыни, монашествующіе разныхъ временъ и народовъ, замыкавшіеся отъ міра въ пустынныхъ обителяхъ, странники, подвергавшіе себя добровольному нищенству, юродивые, отказавшіеся отъ всей своей эмпирической личности, всё они отвергають мірь безь всякихь компромиссовъ съ нимъ. Они вмѣщаютъ заповѣди Нагорной проповѣди не какъ максимальныя требованія, страшныя и изнурительныя, но какъ естественныя последствія однажды принятаго решенія, просто на ихъ пути не встръчается ни собственности, ни судовъ, ни государства, ни хозяйственныхъ заботъ. Здёсь достигается нездёшняя легкость и свобода, которой мы, сыны земли, не въдаемъ. "Иго Мое благо и бремя Мое легко". Но этой свободы достигають только несеніемъ тяжкаго креста, который беруть на себя эти добровольные мученики. Есть въ Житіяхъ святыхъ одинъ разсказъ, особенно излюбленный русскимъ народомъ, объ Алексів, Божьемъ человекв. Алексій принадлежаль къ богатому, знатному роду. Въ немъ рано пробудились аскетическія стремленія, однако повинуясь желанію родителей, онъ вступилъ въ бракъ съ благородной и красивой дъвицей. Но по окончаніи свадебнаго пира онъ исчезъ, оставивъ своей невъсть-жень только перстень и поясь, въ залогъ новаго союза между ними, а самъ, переодъвшись въ нищенское платье, увхаль въ отдаленный городъ и тамъ сталъ проводить жизнь нищаго при храмѣ, въ молитвѣ и духовныхъ подвигахъ. Такъ онъ прожиль 17 льть, никому невьдомый, пока чудеснымь образомь не обнаружилась здёсь его святость. Онъ бёжить и отсюда, спасаясь отъ человъческой славы, и попадаеть въ родной Римъ, гдъ поселяется въ домъ своего отца. Никъмъ неузнанный здъсь, онъ находить пріють подъ видомъ нищаго, принимая подаяніе вмѣстѣ съ насмѣшками, а иногда и побоями отъ своихъ же слугъ, не подозрѣвавшихъ, кто скрывается въ лицѣ этого нищаго. Житіе прибавляеть, что изъ хижины своей онъ часто могь слышать плачъ матери и жены, которыя продолжали грустить о немъ, и могъ видъть ихъ. И лишь когда онъ почувствовалъ приближение смерти, онъ въ предсмертномъ письмѣ раскрылъ свою тайну. Да папѣ римскому было чудесно открыто, что отъ міра представляется человъкъ Божій. Долго искали праведника по городу и лишь случайно узнали его въ убогомъ нищемъ, ютившемся въ хижинъ у благотворителя. Въ рукѣ его была хартія, въ которой раскрывалась тайна его жизни. Житіе описываеть далье, какъ узнали, наконець, въ этомъ нищемъ того, кого такъ долго жаждала душа, сначала отецъ, а потомъ мать и невъста, какъ плакали они надъ бездыханнымъ тѣломъ, которое было явно прославлено Богомъ чудотвореніемъ. Но, конечно, и они должны были въ концѣ концовъ побълить земную привязанность и земное горе, и они приняли и благословили подвигъ Алексія, человіка Божія.

Мнѣ вспоминается сейчась это житіе, не только по непосредственной плѣнительности своей и по религіозной значительности своего содержанія, но и по контрасту съ толстовствомъ. Вмѣстѣ съ твмъ парадоксія христіанскаге аскетизма обострена въ немъ до ужасающей степени. Ибо, съ мірской, съ человъческой точки зрѣнія, Алексій совершаеть рядь безсмысленныхъ жестокостей, почти преступленій, онъ растаптываеть рядъ жизней, попирая обязанности сына и мужа, совершая обманъ и даже невольное надругательство надъ чувствомъ своей невъсты, онъ убиваетъ въ себъ всь естественныя человьческія стремленія, отказывается отъ знатности, отъ богатства, которыми онъ могъ воспользоваться для добра, даже отъ своего ума, въ довершение всего живя у отца и изо дня въ день видя, какое опустошение въ жизни любимыхъ людей производить его уходъ, онъ и тогда не хочеть открыться и возвратить имъ мужа и сына... Это кажется жестокимъ изувърствомъ! И-однако-все это тонетъ въ сіяніи этого гроба, здісь, передъ этой святыней, утихаетъ горе матери и невъсты, умолкаетъ логика человъческихъ чувствъ и страстей. Здъсь, дъйствительно, совершается выходъ по ту сторону добра и зла, попираются "естественные" законы жизни души, мфсто ихъ властно зацимають иные, непонятные, міру нев'єдомые законы, по которымъ все выходить наобороть, человъческое зло становится добромь, а добро зломь.

Два міра, міръ свободы въ Богѣ, и міръ естественной необходимости, пересъкаются и въ мъсть ихъ пересъчения получается какая-то ирраціональная арабеска. И, однако, вся тревога стихаетъ, всѣ вопросы умолкаютъ предъ лицемъ этой смиренной, незлобивой святости, которая такъ свътить чрезъ даль въковъ и радуеть душу нездёшней радостью. Вся эта внёшняя аскеза христіанскаго подвижничества: уходъ изъ дома, жизнь въ пустынь, столпничество, юродство, молчальничество, затворъ и другія формы аскетизма, которыми такъ богато оно, все это только метод освобожденія отъ міра, избираемый каждымъ соотв тственно своей индивилуальности. Цёль же одна: ощутить свою свободу отъ жельзной необходимости или естественныхъ законовъ и въ этой свободѣ познать Бога, достигнуть простоты души и чистоты сердца, чтобы оно открылось воздёйствію божественной благодати. Если не обращать вниманія на цёль и содержаніе подвига, а видёть только его методъ, тогда можно при желаніи отожествлять напр. буддійское или браминское монащество и христіанское, или же христіанское подвижничество и іогизмъ. Но существенно именно содержаніе, и въ этомъ смыслѣ христіанскій аскетизмъ, вырастающій лишь на почвѣ жизни въ Церкви съ ен благодатными дарами, есть явленіе sui generis, отличается отъ всёхъ другихъ видовъ аскетизма.

Духъ, осознавшій свою свободу, вырвавшійся изъ когтей необходимости, по новому узнаеть и любить міръ, онъ предстаеть предъ нимъ въ своей первозданной красоть, какъ игра божественныхъ силъ, какъ гармонія идеальнаго космоса, какъ прославленная тварь, словомь, онъ познаеть міръ въ Богь. И онъ любить этоть міръ новой, просвытленной любовью, и той же любовью въ Богь онъ любить и человыка. "Заповыдь повую даю вамь: да любите другь друга". Но развы это новая заповыдь? Развы самъ Господъ не говориль раные, что въ заповыди о любви къ ближнему, вмысты съ заповыдью о любви къ Богу, состояль древній законъ и пророки? Но есть, стало быть, новая любовь, которая открылась лишь послы того, какъ было сказано Христомъ: "мужайтесь, Я побыдиль міръ".

И не только для этихъ подвижниковъ, подъявшихъ на свои рамена всю тяжесть міровой необходимости ради христіанской свободы, а и для каждаго, живущаго религіозной жизнью, должно быть вѣдомо это чувство свободы отъ необходимости, упокоснія

въ Богѣ, но это дается только въ мѣру достигнутой простоты и дѣтскости. Необходимость побѣждаемъ мы только тогда, когда ен не боимся, когда она перестаетъ для насъ существовать, разлетаясь, какъ туманъ. И вмѣсто запутаннаго лабиринта жизни, вмѣсто слѣпой и властной сложности, въ душѣ воцаряется дѣтская довѣрчивость, ясность, простота. Но она не дается даромъ, она достигается борьбой съ собой, т. е. въ себѣ съ міромъ. Менѣе героическая и болѣе скромная по результатамъ, и здѣсь она всетаки требуетъ напряженія силъ души. Борьба эта затихаетъ только или вверху, или внизу: на вершинахъ святости и въ низинахъ животности или религіозной непробужденности.

Христосъ спасъ людей отъ этого плѣна у "князя міра сего", отъ міровой механической необходимости, въ которой человѣкъ чувствоваль себя только вещью и не находиль силь вырваться изъ этой вещности. Христосъ осуществилъ въ Себѣ эту свободу, явилъ новаго Адама, духовнаго, свободнаго человѣка, и путь свободы, хотя лишь въ бореніи, подъ тяжестью креста, указаль Своимъ послѣдователямъ. Й въ этомъ смыслѣ жизнь Церкви есть эта христіанская свобода въ постоянномъ осуществленіи.

#### VI.

Религіозная истина сверхразсудочна и потому антиномична. Христіанство приводить къ ряду разсудочныхъ антиномій, не даромъ разсудочное мышленіе Толстого, отвращавшееся оть антиномизма и неспособное его осмыслить, явно удаляеть его оть христіанства. Полнота религіозной истины не вмѣщается въ нашъ "эвклидовскій" разумъ, и, когда онъ пытается охватить ее, она ускользаеть, превращаясь въ свою противоположность. Притомъ остаются върны оба члена антиноміи, и не только какъ двъ антитезы для готоваго и напращивающагося синтеза (Гегелевское противоръчіе не есть антиномія), но въ окончательной несогласуемости, приводящей въ логическій тупикъ, который можно только констатировать и нельзя даже по-Кантовски "разъяснить". Сказанное вполнъ примънимо и къ занимающему насъ вопросу объ отношеніи христіанства къ міру. Христіанство научаеть бъжать отъ міра, какъ отъ зла, но въ то же время именно оно освясворникъ.

щаеть этоть мірь. Плоть міра стала плотью Бога, которую Онъ прославилъ Своею славою. Она обречена не на смерть и уничтоженіе, но на воскресеніе и прославленіе. Она зрѣетъ къ воскресенію, въ ней совершается таинственное, незримое движеніе соковъ, подготовляющее міровую весну. И потому съ новой силой міроутвержденія, которую потеряло язычество, несмотря на свое міробожіе, христіанство привязываеть къ міру, научаеть любить жизнь, самую теплоту жизни. И знаменательно, что и въ Евангельской исторіи чередуются оба эти мотива: міроотречности и мірорадованія, я готовъ сказать-жизнерадостности. Бракъ въ Канѣ Галилейской, "исцъленіе и благотвореніе" всъхъ приходящихъ, эта жалость къ человъческому горю, къ скорби отцовъ и матерей, сестеръ и братьевъ, и этотъ объдъ или ужинъ запросто у какого-нибудь бытовика мытаря или фарисея, и это радованіе на цвъты полей или на дътское личико, ---о, сколько всего этого въ Евангеліи, что такъ мало мирится съ суровой міроотречностью. Свъть и тени положены въ Евангеліи рядомъ и такъ же різко, какъ кладетъ ихъ южное солнце, подъ которымъ оно проповъдывалось.

И воть почему такъ трудно изъ Евангелія безъ насилованія текстовъ вывести одну безспорную мораль. Христіанская мораль, представляющая собой только выводъ изъ христіанской метафизики (догматики), столь же антиномична, какъ эта последняя. Однобокость толстовства заключается именно въ томъ, что Толстой, не считаясь съ этой антиномичностью, береть изъ Евангелія то, что ему нравится, и произвольно отбрасываеть то, что ему не нравится, объявляя это или суевъріемъ или извращеніемъ! Христіанское ученіе выражается въ двухъ порядкахъ идей, находящихся между собою въ антиномическомъ отношеніи. Оно объемлеть въ себѣ и міроотречную, выводящую изъ исторіи и міра мораль монашества или юродства, и религіозную этику профессіональнаго мірского труда, что односторонне, но справедливо выдвинуто было на первый планъ въ протестантизмъ. И этотъ протестантизмъ съ его свътскимъ христіанствомъ, и отвергаемый имъ монащескій аскетизмъ одинаково имѣютъ основу въ христіанствъ. Путь христіанской жизни идеть поэтому не по горизонтали и не по вертикали, но по діагонали, которая можеть приближаться болье то къ первой, то ко второй, въ зависимости отъ преобладающаго типа благочестія. Однако поскольку христіанство вміщаеть въ

себя не только сверхмірную, но и мірскую этику, постольку оно соглашается на допущеніе и исторически-относительныхъ критеріевъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ принимаетъ утилитаризмъ земныхъ средствъ. Поэтому и кажется, что въ христіанствѣ двѣ морали: одна — сверхъисторическая, чисто религіозная, опредѣляющаяся исключительно жизнью въ Богѣ, а другая историческая, считающаяся съ условіями земного существованія. И эта двойственность, этотъ антиномизмъ отражается и на разрѣшеніи двухъ основныхъ вопросовъ исторической жизни: о правѣ и о хозяйствѣ.

Нагорная проповъдь не знаетъ ни права, ни государства, -- это фактъ. Она не отрицаетъ ихъ подобно какой-либо анархической доктринъ, но она ихъ не замъчаетъ, поднимаясь въ высшую, чисто религіозную плоскость. Она не даеть государственно-правовой программы, въ которой бы отрицалось государственное насиліе, судъ, собственность, но она имфетъ въ виду настроеніе, для котораго просто не существують всё эти земныя средства и земныя цѣнности. И поэтому, когда ее превращають въ проповѣдь анархизма, т. е. видять въ ней ученіе, относящееся къ той же плоскости, что и государственность, но лишь съ противоположнымъ содержаніемъ, то ділають грубінній подмінь понятій и смішеніе областей. И именно потому, что нагорная проповъдь лежить совсемь въ другой плоскости, чемъ все земныя ценности, то относительное признаніе государственности, которое, безспорно, допускается христіанствомъ въ исторической морали, въ земной плоскости, не является противоръчіемъ, но свидътельствуеть объ антиномичности жизни, за разъ опредвляющейся критеріями двухъ различныхъ, хотя и какъ-то пересъкающихся, міровъ. Что христіанство въ исторической плоскости попускаеть государство, это явствуеть не только изъ словъ Спасителя о кесаревомъ и Божьемъ 1) и принципіальнаго истолкованія значенія государства какъ

<sup>1)</sup> Какъ примъръ евангельскаго антиномизма, который легко можетъ быть истолкованъ какъ прямое противоръчіе, укажу на загадочныя слова Христа ученикамъ, которыя, конечно, Толстой оставляетъ безъ вниманія въ своей проповъди непротивленія. Вотъ эти слова: "когда Я посылаль васъ безъ мѣшка и безъ сумы и безъ обуви, имѣли-ли вы въ чемъ недостатокъ? Они отвѣчали: ни въ чемъ. Тогда Онъ сказалъ имъ: но теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ возьми его: также и суму; а у кого нѣтъ, продай одежду свою и купи мечъ... Они сказаль: Господи, вотъ здѣсь два меча. Онъ сказаль имъ: довольно" (Лк. 22, 35—8).

орудія добра въ посланіяхь ап. Павла, но и изъ всей практики первенствующей церкви, когда даже мученики, умиравшіе за вѣру, оставались все-таки далеки оть анархическаго отрицанія права. Но если признать допустимымь моральное отношеніе къ той сферѣ жизни, въ которой нормой является право, а, слѣдовательно, и возможность ея этизированія, то надо признать и относительность морали этой государственности и возможность прогресса послѣдней. Придется дѣлать различія между формами государственности какь орудіями добра и зла. Чтобы отрицать государственность вслѣдствіе ея мірского характера, нужно въ дѣйствительности быть вить нея, ее изъ себя извергнуть. Но соотвѣтствуетъ-ли правдѣ, когда люди, насквозь земные, начинають отрицать ее подъ предлогомъ сверхземности, и, сами съ головой живя въ плоскости государственности, тѣмъ не менѣе ее отрицаютъ. Отсюда проистекаютъ и многочисленныя противорѣчія въ ученіи и жизни Л. Н. Толстого.

Таково же отношеніе христіанства и къ вопросамъ экономики. Совъть быть какъ птицы небесныя, не заботясь о завтрашнемъ днъ, раздавать все или продавать для раздачи, при полномъ ввърсніи себя воль Божьей, конечно, совсымь не считается съ хозяйственной необходимостью и вообще съ земными условіями, онъ обращенъ къ твмъ, кто живетъ за ихъ предвлами, въ области свободы, чуда, въ живомъ ощущении своего богосыновства 1). Это не есть мораль земли. Идеаль Франциска Ассизскаго, конечно, отрицаеть всякую хозяйственную деятельность, а онъ, безъ сомненія, воплощаеть Евангельскій завіть высшей свободы оть труда, оть собственности и вообще отъ хозяйства. По смыслу этого завъта даже и толстовская проповёдь опрощенія, призывающая къ занятію земледівліемъ и физическимъ трудомъ, оказывается черезчуръ хозяйственной; здёсь Толстой, который въ другихъ случаяхъ такъ настаиваль на буквальномъ пониманіи текстовъ Евангелія, ему нужныхъ, не проявилъ обычной своей прямолинейности, — иначе ему не удалось бы на буквѣ Евангелія обосновывать идею толстовскихъ колоній. Но, рядомъ съ этимъ призывомъ къ свободѣ отъ хозяйства, въ Евангеліи есть и прямое и косвенное освяветхозавѣтщеніе хозяйственнаго труда, подтверждающее еще

<sup>1)</sup> Подробнѣе эта экономическая антиномія въ христіанствѣ разобрана мною въ очеркѣ "Христіанство и соціальный вопросъ" (Два града, т. І, 206 сл.).

ную заповідь труда; оно содержится во всіхъ увіщаніяхъ о хозяйственной помощи ближнему и, главное, въ религіозной санкціи хозяйственной деятельности (я сказаль бы всей культуры, насколько она является трудовымъ хлабомъ для тала и души), которая дана въ прошеніи молитвы Господней: хлюбь нашь насущный даждь намь днесь. Исторически христіанство возстановляеть достоинство труда, находившагося въ аристократическомъ пренебреженіи у античной древности, оно провозгласило принципъ, что "достоинъ дѣлатель мзды своей", и что "кто не работаетъ, тотъ да не **Встъ**". Притомъ здёсь имёетъ значеніе не только буква христіанской письменности, но и вся практика первохристіанской церкви; последняя имела въ своемъ составе множество тружениковъ всякаго рода, рабовъ, ремесленниковъ, людей тяжелаго хозяйственнаго труда, какими были и апостолы. Но если христіанство въ какомълибо смыслѣ допускаетъ хозяйство, то опять-таки приходится признать, хотя въ извёстной степени, и его относительные критеріи, отвести мъсто и принципу экономической цълесообразности.

Съ другой стороны является необходимость, а вмѣстѣ и возможность этизировать хозяйственную жизнь. Если религіозный идеаль есть полная нестяжательность и свобода отъ хозяйства, то не теряють чрезъ это цѣны своей хозяйственная честность и трудолюбіе въ сравненіи съ недобросовѣстностью и праздностью. Есть обязанности, а стало быть и отвѣтственность передъ имуществомъ, существуеть не только этика бѣдности, но и богатства, хотя ее вовсе отрицалъ Толстой 1).

<sup>1)</sup> Недавно было опубликовано очень характерное письмо Толстого къ М. А. Миловидову (Рус. Сл., 13 окт. 1911), гдё читаемъ между прочимъ: "Отвёта на вопрось вашего знакомаго о томъ, на что полезнёе отдать деньги, не могу дать другого, какъ тотъ, который далъ Христосъ богатому юношё, именно — отдать деньги нищимъ, т. е. кому попало, тёмъ, кто проситъ, только съ тою цёлью избавиться отъ нихъ". Въ этомъ совётё все фальшиво, все невёрно. Во-первыхъ, и самъ Толстой не имёль подъ собой почвы, чтобы давать такой совёть, пока самъ онъ не въ силахъ былъ вполнё его осуществить. Во-вторыхъ, и Христосъ даваль этотъ совётъ отнюдь не первому встрёчному богачу, но юношё, который, какъ самъ онъ заявляеть о себё, исполнялъ заповёди отъ юности своей и привлекъ къ себё особенную любовь Господа, и лишь тогда ему былъ указань этотъ путь какъ путь совершенства. Въ-третьихъ, наконецъ, совётъ "отдать деньги кому попало", лишь бы отдёлаться отъ нихъ, не только поражаетъ своей непослёдовательностью съ точки зрёнія міровоззрёнія Толстого — что бы сказали,

Тоть же антиномизмъ въ христіанствъ можеть быть показанъ и на вопросѣ относительно семьи и половой любви. Велѣніе оставить все и следовать за Христомъ не мирится ни съ какими земными привязанностями, для него надо "возненавидъть" отца, мать, жену, дътей. Но, рядомъ съ этимъ, не говоря уже о бракъ въ Канѣ Галилейской и о церковномъ таинствѣ брака, не говоря о новыхъ подтвержденіяхъ строгости, а, стало быть, и святости брака въ Нагорной проповѣди и въ ученіи о бракѣ апостольскихъ посланій, какъ много во всемъ Новомъ Зав'ять просто бытового уваженія къ семьв, любви къ двтямъ, теплаго участія къ семейной радости и скорби. Поэтому съ одинакимъ основаніемъ могла бы опираться на Евангеліе и монашеская брезгливость къ браку (которую на все христіанство распространяеть Розановъ), и аповеозъ брака какъ образа великой мистической тайны—союза Христа и Церкви. Въ дъйствительности въ христіанствъ есть то и другое, и ап. Павель, подавая совъть вступленія въ бракъ, присовокупляеть однако, что "имфющіе жень должны быть какъ не имфющіе, и плачущіе какъ не плачущіе, и радующіеся какъ не радующіеся, и покупающіе какъ не пріобратающіе, и пользующіеся міромъ симъ какъ не пользующіеся, ибо преходить образъ міра сего" (І Кор. 7 29—31). Этотъ текстъ очень хорошо характеризуетъ основной антиномизмъ христіанской жизни, тотъ жизненный синтезъ временнаго и внѣвременнаго, исторіи и вѣчности, который непрерывно творится въ душъ, но не можетъ быть раціонализированъ 1) въ терминахъ дискурсивнаго, "евклидовскаго" мышленія.

Поэтому христіанство оказывается съ одной стороны проповідью полнаго выхода изъ міра, выступленія изъ временности съ отказомъ отъ всякаго земного званія, а съ другой—оно призываеть каждаго "оставаться предт Боюму въ томъ званіи, въ которомъ призванъ" (I Кор. 7 20—24), т. е. оно этизируетъ земное

если бы я, не желая самъ пьянствовать, сталъ бы раздавать имѣющееся у меня вино желающимъ, — но и отрицаніемъ всякой отвѣтственности передъ своимъ имуществомъ, или этики богатства. Здѣсь, какъ и во многихъ случаяхъ, подъ личиной евангельской морали, скрывается нигилизмъ опрощенства. О христіанской этикѣ богатства ср. нашъ очеркъ: "Народное хозяйство и религіозная личность" (въ сборникѣ Два града, т. І).

<sup>1)</sup> Мив уже приходилось съ другой стороны подходить къ этой антиноміи: ср. очеркъ "Апокадиптика и соціализмъ" (Два града, т. II).

дёланіе, дёлаеть его причастнымь религіозному служенію. Человійсь призывается жить одновременно въ двухь мірахь, съ разными критеріями, съ разными цінностями, причемь, не будучи въ силахь отдаться высшему міру, онь не должень чрезмітрно погружаться и въ низшій, а потому постоянно должень внимательно слідить и за своей внутренней жизнью и внішнимь поведеніемь.

Такимъ образомъ, если спросить, является-ли Евангельская проповѣдь простоты вмѣстѣ съ тѣмъ и проповѣдью опрощенія (и не въ
толстовскомъ только, но и въ несравненно болѣе радикальномъ смыслѣ), то приходится отвѣтить: и да, и нѣтъ, или: ни да, ни нѣтъ.
Насколько оно изъемлетъ человѣка изъ времени, оно аскетично,
но насколько оно есть ученіе о спасеніи этого міра и дѣлаетъ
человѣка отвѣтственнымъ и предъ своимъ дѣломъ, оно исторично
и чуждо всякому опрощенію и упрощенію, имъ утверждаются на
религіозной основѣ цѣнности культуры, а, стало быть, и исторіи.

Для характеристики христіанскаго пониманія проблемы культуры приходится примѣнить парадоксальное и съ виду противорѣчивое словосочетаніе: христіанствомъ устанавливается идеаль аскетической культуры, которой противоположна языческая культура, основанная на міробожіи, съ полнымъ погруженіемъ въ стихію этого міра. Именно идеаль аскетической культуры, т. е. соединение религіозной свободы духа и исторического деланія, выражень въ выше цитированныхъ словахъ ап. Павла. Культура есть плоть исторіи, аскетизмъ ея душа. У насъ до сихъ поръ такъ плохо и односторонне понимають религіозно-историческую сущность аскетизма, что видять въ немъ лишь противоположность культурф, отрицание исторіи. Между темь онъ является известнымь устремленіемь этой культуры, ея духовнымъ факторомъ. Онъ можетъ, а по нашему мнѣнію и должень, оказаться силой, спасительной и для самой культуры, ибо духовное здоровье связано именно съ нимъ, а не съ языческимъ вещелюбіемъ, несущимъ съ собой гніеніе и смерть и для культуры.

Именно благодаря своему идеалу аскетической культуры и его жизненной мощи христіанство и проявило себя не только какъ религія личнаго спасенія, источникъ религіозныхъ радостей и утѣ-шеній, но и какъ всемірно-историческая сила, которая породила "христіанскую" культуру. И это надо сказать не только про средневѣковую, но даже и про новѣйшую европейскую культуру, которая, хотя и обезбожена въ сознаніи, въ бытіи своемъ, въ корняхъ

своихъ, все-же есть христіанская культура, ибо выросла она изъ средневѣковой культуры и реформаціи, имѣющихъ общій корень въ первохристіанствѣ. И не понимать этой историчности христіанства, а, стало быть, его противоположности всякому упрощающему, анти-историческому опрощенству, значитъ не замѣчать существенной и характерной его стороны.

Противоположный полюсь аскетической или религіозной культуры составляеть буржуазная или иррелигозная культура, гдф душой культуры является не духъ, но плоть, гдв религіозный антиномизмъ земного существованія притупляется или упраздняется тупымъ эпикуреизмомъ, какъ бы ни былъ онъ утонченъ и эстетиченъ, гдъ тоска по въчности побъждена... комфортомъ. Буржуазность эта можеть быть свойствена не одной только капиталистической культурь, которую обыкновенно называють буржуазной въ экономическомъ смыслъ. Какъ чисто духовное качество, буржуазность не связана съ какимъ-либо опредъленнымъ экономическимъ строемъ. Буржуазной въ этомъ смыслѣ можетъ бытьследуеть даже прибавить, и хочеть быть-и соціалистическая культура не меньше чъмъ капиталистическая, хотя, конечно, эта последняя иметь еще свою специфическую буржуваность, связанную съ неравномфрностью распредфленія, антагонизмомъ богатства и бъдности въ капиталистическомъ хозяйствъ. Мъщанство есть духовный ядъ, вырабатываемый всякой культурой и потому необтребующій аскетическаго противоядія. Лишь въ духовной борьбь, имьющей въ своей основь религіозный антиномизмъ, побъждается мъщанство, и спасается отъ него духовная личность.

## VII.

Теперь возвратимся къ Толстому съ его ученіемъ объ опрощеніи. Въ такомъ разсудочномъ пониманіи христіанства, какъ ученія, не дѣлать глупостей", "ясномъ какъ дважды два четыре", "практичномъ" <sup>1</sup>), конечно, нѣтъ мѣста пониманію того корен-

<sup>1)</sup> Оба эти опредёленія мнё пришлось слышать въ личной бесёдё съ Толстымъ (еще летомъ 1902 года). Онъ ставиль при этомъ въ вину Достоевскому, что въ Великомъ Инквизиторе не видно, кто правъ: Христось или инквизиторъ, а "я берусь доказать, какъ 2×2=4, что христіанство разумно, что оно практично" горячо говориль тогда Л. Н—чъ.

ного антиномизма, который лежить въ основѣ этики христіанства. И толстовское пониманіе его этики отличается именно тѣмъ, что въ немъ перемѣшаны положенія, свойственныя обоимъ членамъ христіанской антиноміи, первый истолкованъ въ смыслѣ второго, и наоборотъ.

Стремленіе къ простотѣ ради духовной жизни, насколько послъдняя была доступна Толстому, приводить его къ высокой оцънкѣ аскетическаго начала въ христіанствѣ. Но практика аскетизма, то опрощеніе, которое имъсть значеніе лишь метода, средства, неожиданно получаеть у Толстого огромное и совершенно самостоятельное значеніе, — оно притязаеть быть единственнымъ разрѣшеніемъ проблемы культуры. Аскетизмъ подміняется такимъ образомъ физіократизмомъ. Путь освобожденія души отъ земныхъ узъ незамѣтно превращается въ способъ наилучшаго разрѣшенія вопросовъ общественнаго строя, устроенія земного града, рядомъ съ Евангеліемъ характерно появляется "Жоржа", роль котораго въ другихъ ученіяхъ объ устроеніи земного града исполняють Лассаль, Марксъ и другіе соціальные пророки. Религіозный проповъдникъ превращается въ соціальнаго утописта, однако эта соціальная утопія пропов'ядуется одновременно во имя какъ спасенія души, такъ и наипрактичнівшаго соціальнаго устройства. Путь къ христіанской духовной жизни отрызывается толстовскимъ раціонализмомъ, а путь къ соціальному реформаторству его религіознымъ утопизмомъ, связаннымъ съ абсолютизмомъ требованій и средствъ: толстовство чрезмърно раціоналистично для религіи и недостаточно раціоналистично для мірской жизни <sup>1</sup>). Какъ религіоз-

<sup>1)</sup> Разница между опрощеніємь, какъ методомъ христіанскаго аскетизма и какъ осуществленіємь толстовскаго физіократизма, становится ощутительна, если мисленно мы проведемь параллель между христіанскимъ монастыремь и толстовской колоніей. Начать съ того, что монастырь сохраняеть свое значеніе для лицъ всёхъ положеній, ибо блага духовной жизни не зависять отъ этихъ положеній, толстовская же колонія по настоящему существуеть лишь для лицъ привилегированнаго сословія, которымъ есть отъ чего опрощаться, но лишена всякаго смысла для массы трудящагося народа. Затёмъ, трудъ монастырскій, отъ самаго тяжелаго до самаго легкаго, имѣетъ значеніе "послушанія", аскетическаго средства отсёченія своей воли, въ чемъ бы оно ни выражалось (иногда старцами вт качествѣ послушанія намѣренно назначается совершеніе дѣйствій внѣшне нецѣлесообразныхъ), въ толстовской же колоніи спасительное духовное дѣйствіе приписывается именно физическому труду, самоличному производству всего для себя

ный мотивъ, опрощеніе недостаточно аскетично, ибо оно есть въ концѣ-концовъ рецептъ наилучше устроиться на землѣ, раціонально обмірщиться, а какъ мотивъ религіозной философіи исторіи, оно чрезмѣрно аскетично, ибо объявляетъ неестественнымъ или противоестественнымъ все историческое развитіе и для всей почти исторіи находитъ лишь слова осужденія и гнѣва.

Почему же надо считать естественнымъ трудъ земледѣльца или ремесленника, а противоестественнымъ трудъ ученаго агронома, врача или фабричнаго рабочаго? Вѣдь это опредѣленіе примѣняется по произволу и прихоти, а не по сознательно продуманному критерію. Даже если культура и исторія есть болѣзнь, то вѣдь болѣзнь такъ же естественна, а иногда и неизбѣжна, какъ здоровье, причемъ возможность болѣзни заложена уже въ здоровомъ организмѣ, не говоря уже о томъ, что есть болѣзни роста. Если считать жизнь въ деревнѣ болѣе естественной, чѣмъ въ городѣ, то вѣдь города, въ извѣстномъ смыслѣ, возникли тоже благодаря развитію деревни и вслѣдствіе тяжелой исторической необходимости, а не чьего-либо злого умысла или заблужденія.

Нельзя еще не отмѣтить сословнаго, соціальнаго привкуса этого ученія объ опрощеніи, которое годно только для кающагося дворянина, но лишено всякаго смысла для массы народной. Обращенное къ ней, оно было бы издѣвательствомъ надъ этой трудной, полной лишеній жизнью. Народъ страдаетъ отъ темноты, нищеты, безпомощности, а отнюдь не отъ культурной сложности, поэтому онъ такъ далекъ отъ физіократизма. Народъ спокойно и охотно беретъ у культуры то, что только доходитъ до него дѣйствительно нужнаго и полезнаго, беретъ не одну водку и модную пошлость, но и хорошую книгу, и агрономическую помощь, и совѣтъ врача, и вообще онъ далекъ отъ преднамѣреннаго опрощенства. У Толстого въ проповѣди опрощенія вообще слишкомъ сильно старое народобожіе, котораго онъ такъ и не преодолѣлъ до конца. Одной изъ самыхъ обаятельныхъ чертъ его личности была его близость къ

необходимаго. А потому духовные результаты прямо несоизмёримы: тамъ благодать Божія облекаеть души подвижниковъ свётомъ святости, возводя ихъ отъ славы къ славѣ, здѣсь же въ дучшемъ случаѣ имѣется лишь разсудочная добродётель стоицизма, питающаяся горделивымъ чувствомъ удовлетворенія отъ исполненія долга, т. е. самоправедности.

народу, искреннее уважение къ нему, сочувственное понимание его жизни. Эта привязанность къ народу придаетъ Толстому особую почвенность и здоровье. Эта духовная близость къ народу была, впрочемъ, не меньше у Достоевскаго, у котораго была вскормлена не добрососъдскими отношеніями, а совмъстной каторгой. Но если Достоевскій остался совершенно чуждъ народобожію, при всемъ своемъ культв "народа-богоносца", Толстой, какъ религіозный мыслитель, такъ и остался въ плену сознательнаго или безсознательнаго народобожія, которое сближаеть его съ нашей интеллигенціей. Опрощенство есть мораль народобожія. Но народобожіе несовийстимо съ религіей духа, ибо оно есть все-таки идолопоклонство. Такимъ образомъ, въ этомъ ученіи мотивы христіанскаго аскетизма неразличимо смѣщаны съ мотивами народобожія, а культурное иконоборчество само является выраженіемъ культурной переутонченности и соціальной привилегированности, предполагаеть въкачеств восновы то, что оно отрицаетъ, т. е. страдаетъ внутреннимъ противоръчіемъ.

Но насколько ученіе объ опрощеніи бідно положительнымъ религіознымъ содержаніемъ, настолько же оно сильно своей отрицательной, критической стороной. Критика современной цивилизаціи, содержащаяся въ этомъ ученіи, имфетъ огромное и притомъ чисто культурное значеніе. Какъ уже было указано, соціальный мотивъ и соціальную правду этой критики Толстой раздѣляеть съ соціалистами и вообще соціальными реформаторами. Но въ религіозной критикъ цивилизаціи онъ идетъ своимъ собственнымъ путемъ. И притомъ замѣчательно, что подобно древнееврейскому прорицателю Валааму, онъ, вмѣсто того, чтобы проклинать, въ дѣйствительности благословляеть, ибо религіозная критика цивилизаціи есть истинно культурное дѣяніе. Это уже не опрощеніе (о какомъ опрощеніи можно говорить міровому писателю, каждое слово котораго по телеграфу, телефону, почть, распространяется въ отдаленные концы міра), это есть критика гнилой, негодной, мёщанской культуры во имя идеала истинной, высокой духовной культуры. Вёдь Толстой, громя культуру, въ дъйствительности громить буржуазность этой культуры, и эта отрицательная сторона гораздо существенные въ этой критикъ, нежели прямыя его утвержденія культурнонигилистическаго характера. Такъ, нападая на науку, онъ прежде всего имъетъ въ виду иррелигіозность или духовную буржуазность жрецовъ этой науки, съ ихъ филистерскимъ самодовольствомъ и тупымъ самомнѣніемъ, которому въ самомъ дѣлѣ представляется, что, если они изучили какой-либо спеціальный вопросъ цѣною отупѣнія во всѣхъ остальныхъ областяхъ жизни духа, то могутъ за это считаться авторитетами по всѣмъ міровымъ вопросамъ. Этимъ представителямъ "научной науки", имя которымъ—легіонъ, Толстой во всеуслышаніе цѣлаго міра указываетъ ихъ настоящее мѣсто. Плохо, конечно, что при этомъ онъ попутно и вовсе выпроваживаетъ науку, а, стало быть, обезцѣниваетъ ту общечеловѣческую и религіозную цѣнность, которая въ ней заключается. Но это онъ дѣлаетъ какъ проповѣдникъ опрощенія, и ложь этой проповѣди легко отдѣлима отъ правды этой критики.

Онъ громить, далве, буржуазное вещелюбіе и указываеть всю лживость и опасность подміна культуры внішней полировкой и цивилизованностью, которая выражается въ ресторанахъ, парикмахерскихъ, кафешантанахъ и модахъ. Цивилизовать такимъ образомъ можно, пожалуй, и обезьяну, но къ истинной культуръ духа способенъ только человъкъ. И критика внъшней цивилизованности во имя культуры есть деяніе неоспоримо культурное, и сила его вовсе не въ призывъ тсть сырую картошку и носить блузу, но въ отрицаніи того буржуазнаго жизнепониманія, тіхъ культурныхъ цвиностей, которыми такъ дорожить наша современность. Въдь дъйствительно въ настоящее время это мъщанство, связанное съ механизированіемъ жизни и культомъ вещей, становится ощутительной культурной опасностью 1), оно порождаеть варваровъ во фракахъ и цилиндрахъ. Отъ этой парикмахерской цивилизаціи надо спасать истинную культуру, но это не можеть и не должно происходить путемъ возвращенія въ первоначальное состояніе или вообще какой бы то ни было экономической ли или духовной реакціи. Мощнымъ проповѣдникомъ истинной духовной культуры поэтому является Левъ Толстой, когда онъ, объявляя войну ложной культурь, призываеть къ уходу отъ нея на Священную гору и приглашаетъ къ "недѣланію" не ради праздности, но отрезвленія.

<sup>1)</sup> Въ свое время отъ европейскаго мѣщанства въ ужасѣ отшатнулся еще Герценъ, котораго недаромъ такъ цѣнилъ Толстой. (Ср. нашъ очеркъ "Душевная драма Герцена" въ сборникѣ "Отъ марксизма къ идеализму" и въ отдѣльномъ изданіи).

Зовъ къ опрощенію, къ недѣланію, есть поэтому эмблема борьбы съ мѣщанствомъ, которое выдаетъ себя за истинную культуру. И здѣсь, подобно тому же Валааму, онъ дѣлаетъ не то, чего хочетъ. Ибо онъ является здѣсь, подъ личиной реставратора и реакціонера, выразителемъ новаго христіанскаго сознанія, носителемъ новыхъ тревогъ и исканій, которыя, въ общемъ и цѣломъ, всѣ сосредоточиваются около проблемы христіанской культуры.

Толстой во всемь отверть нашу культуру, но потому-ли, что вообще не хотѣль никакой культуры или потому, что имѣль о ней слишкомь возвышенное понятіе, и ни въ какой степени не хотѣль мириться съ этой обезбоженной, мѣщанской, идолопоклоннической и насильнической цивилизаціей? Не есть-ли его опрощеніе лишь отрицательное выраженіе его стремленія къ истинной, т. е. религіозной культурѣ и отвращенія къ духовнымъ ядамъ, отравляющимъ и разлагающимъ эту культуру? И не есть-ли поэтому и вся эта проповѣдь опрощенія только своеобразное, если хотите, уродливое выраженіе общей христіанской тоски о новой землѣ подъ новымъ небомъ, подъ которымъ правда живетъ?

Толстой хотёль знать простоту только въ опрощеніи, и здёсь его ученіе было лишь блёднымь, безблагодатнымь и извращеннымь повтореніемь того, чему издревне учило аскетическое христіанство и что во всё времена исторіи Церкви воплощалось въ подвигѣ великихь христіанскихь аскетовь, дёйствительно уходившихь изъ исторіи, становившихся надземными существами, "ангелами во плоти". Но можеть-ли эта простота быть достигнута и на землѣ? Возможна-ли святая простота въ земной сложности? Въ историческомъ дѣланіи? Въ творчествѣ культуры?

Возможна-ли вообще земная святость? Воть о чемъ болить наше христіанское сознаніе, о чемъ оно вопрошаеть. Отвѣта не родилось въ исторіи,—мы не примемъ за этотъ отвѣтъ жалкія поддѣлки и религіозное самозванство. Но значить-ли это, что его и не будеть, ибо ложенъ и безотвѣтенъ самый вопросъ? Или же не исполнились еще для отвѣта времена и сроки? Но чаемъ, мятемся, вопрошаемъ...

Сергый Булгаковъ.

## Левъ Толстой и культура.

Одни утверждають, что Левъ Толстой геніальный художникь; по ихъ мнѣнію проповѣдь его послѣднихъ десятилѣтій принесла одни только печальные плоды. А другіе утверждають какъ разъ обратное: въ умѣніи жертвовать своимъ художественнымъ геніемъ во имя религіозной правды—всемірно-историческое значеніе личности Льва Толстого. Личность же эта какъ будто всякій разъ выростала по мѣрѣ того, какъ отъ личности отказывался Левъ Толстой. Тѣ и другіе, однако, признаютъ кризисъ въ серединѣ его писательской дѣятельности. Жила, дѣйствовала, творила одна половина души великаго человѣка, и вотъ—ея нѣтъ: души половина пропала. И послѣднія десятилѣтія пишетъ, живетъ, дѣйствуетъ другая половина души писателя. Но душа—одна: печатью бездушія, мертвенности должна быть отмѣчена либо первая, либо вторая часть жизни Толстого.

Такъ ли это?

Можно было бы много и долго спорить съ поклонниками Толстого-художника, отридающими величіе второй половины его жизни, но туть останавливаешься невольно: Толстой, создатель "Аины Карениной", "Войны и Мира", не сумѣль создать своей личной жизни съ той же силой и непосредственной убѣдительностью, съ какой изваяль онъ предъ нами не существующія жизни своихъ героевъ, о насколько болѣе реальныя для коллективнаго сознанія человѣчества, нежели жизнь любого подлинно существующаго средняго человѣка. Проклиная культуру, онъ остался въ культурѣ; отрицая государство, не ушель изъ него—да и куда бы могь онъ уйти. Всѣ разсужденія его о реальной, трудовой жизни — разсужденія о жизни несуществующей, невозможной въ рамкахъ современной государственности. На одной чашкѣ вѣсовъ оказалась Рос-

сія, Англія, Франція и далее—Японія, Марокко, Индія, оказались всѣ страны свѣта, подчиненныя естественному развитію капитала, цивилизаціи, государственности; на другую чашку въсовъ долженъ быль стать самь Левь Толстой. Земной шарь, осужденный Толстымъ, даже не возмутился, слыша проклятія Льва Толстого, обращенныя къ принципамъ его, земного щара, развитія. Левъ Толстой утверждаль, что его понятіе о правдѣ должно перевѣсить земляную косность рутины, покрывающую пять частей свёта. "Попробуй перевъсить земной шарт" какъ бы ему въ отвъть запротестовали всв. И Толстой, отрицавшій собственность, остался при собственности; и Толстой, отрицавшій условности цивилизаціи, оказался со вевхъ сторонъ стиснутъ ея условіями: оказался стиснуть настолько, что та самая цивилизація, противъ которой онъ возставаль, его же использовала въ своихъ цёляхъ: и слова его, словно забастовавшаго противъ всёхъ, раздавались во всёхъ пяти странахъ свъта, переданныя... телеграфной проволокой; а то, въ чемъ проявилась забастовка Льва Толстого, мы увидёли... на кинематографическомъ полотнъ: мы увидъли его бредущимъ за сохою; Левъ Толстой хотьль пострадать, но и страданіе за свою правду не удалось Льву Толстому; и въ то время, когда за идеалъ иной государственности отправлялись въ льды Нарымскаго края, онъ, врагь всякаго государства, стараго и новаго, оставался передъ лицомъ всего міра въ Ясной Полянь, какъ бы освіщенный со всіхъ пяти частей свъта лучами имъ отрицаемыхъ прожекторовъ цивилизаціи. "Можешь ты взвалить на плечи весь земной шаръ?" спрашивали его европейцы, американцы, азіаты и австралійцы. И смысль всёхь поученій, нравоученій, аллегорій и притчь Толстого сводился къ одному: "Могу"...—"Попробуй"—отвѣчаль ему земной шаръ. Но Толстой оставался на мъстъ: правда, онъ будто-бы пробоваль: на Черноморскомъ побережь возникли поселки толстовцевъ; наконецъ, въ Канаду перебрались духоборы. Это ли отвътъ, котораго ждалъ отъ него весь міръ?

Если бы *это* быль отвёть—это быль бы жалкій отвёть: лучше не отвёчать, чёмь отвётить толстовскими поселками.

Но воть Толстой всталь и пошель—изъкультуры, изъ государства—пошель въ безвоздушное пространство, въ какое-то новое, отъ насъ скрытое измѣреніе: такъ и не узналимы линіи его пути, и намъ показалось, что Толстой умеръ, тогда какъ просто исчезъ онъ изъ поля нашего зрѣнія: пусть называють смертью уходъ Толстого: мы же знаемъ, что смерть его — не смерть: воскресеніе. Дѣйствіе его, по безумію дерзости, превосходить все то, что вообще мы знаемъ доселѣ о дерзости: или антихристъ онъ, или онъ новый герой. Всталь, сказаль: "Вотъ сейчасъ перевѣшу я на вѣсахъ правды Европу, Австралію, Азію, Африку и Америку: вы увидите у меня на плечахъ земной шаръ". Наклонился, коснулся рукою земли—упаль мертвый. Мы же знаемъ, что это не смерть.

Но какою же надо обладать нравственной силой, чтобы многіе годы умѣть воздержаться отъ давно задуманнаго ухода изъ міра, чтобы пойти восьмидесятилѣтнимъ старцемъ—черезъ смерть. Всѣхъ насъ застигаетъ смерть незамѣтно: всѣ мы или убѣгаемъ отъ смерти, или ищемъ ее тогда, когда еще не исполнились для насъ послѣдніе сроки: смерти онъ не бѣжалъ, еще менѣе онъ искалъ смерти. Съ мудрой улыбкой терпѣливо выжидалъ ее онъ десятки лѣтъ, чтобы издали, видя приближеніе смерти, встать предъ лицомъ всего міра и пройти чрезъ нее, мимо нея.

Что заставило ахнуть весь міръ, то явилось слёдствіемъ постепеннаго роста личности именно въ тъ долгіе годы, когда хоръ согласныхъ похвалъ Толстому - художнику укоризненно обрывался предъ Толстымъ-человѣкомъ. Въ опытѣ молчанія, въ подвижничествъ выросталь Левъ Толстой-человъкъ, --когда раздавались упреки въ его проповъдническомъ безсиліи. Всъмъ намъ еще недавно казалось, что въ основаніи толстовства лежить перечень ходячихъ истинъ и общихъ мъстъ о томъ, что добро есть добро, а злозло; всемъ намъ еще недавно казалось, что выводы изъ этихъ истинь есть старческое безуміе предъ лицомъ всего міра: и толстовскій путь называли мы-путемъ творческаго безсилья; но въ итогъ этого безсилья оказалась титаническая сила Толстого, проходящаго сквозь смерть. Столь простыя и нехудожественныя слова его оказались не такъ-то ужъ просты; нехудожественность ихъ озарилась какими-то невидными для очей лучами красоты высшей. По концу двятельности проповъдника мы оправдываемъ некогда казавшееся намъ безсильнымъ начало. Безцельная целесообразность его ходячихъ истинъ, нравоученій, назиданій и притчъ оказалась реальностью имъ самому себѣ поставленной цѣли: побѣдить смерть. И когда онъ этой цёли достигь, художественное безплодіе его словъ мгновенно оплодотворилось лучами, павшими отъ его личности.

Такъ ошиблись поклонники Льва Толстого-художника, отрицая въ немъ великато провозвъстника религіознато роста личности. Но не ошиблись ли они и въ первой половинъ своего сужденія о Толстомъ: такъ ли безспорна для всего міра геніальная глубина его художественныхъ твореній? За то ли любять его, за что следуеть его любить? Четыре раза съ величайшей внимательностью вчитывался я въ "Войну и Миръ". Четыре раза я поражался вовсе новыми для меня штрихами. Передо мной-четыре другь на друга непохожихъ романа "Война и Миръ". Въ дътствъ меня поразиль всеобъемлющій охвать событій, изображенныхъ Толстымъ; спокойные контуры имъ обрисованныхъ лицъ медленно проходили передо мной въ событіяхъ великой александровской эпохи. "Война и Миръ" показался мнѣ огромнымъ зеркальнымъ озеромъ, въ которое заглянула сама Россія; и романъ я восприняль какъ эпосъ. Во второй разъ принялся я за чтеніе "Войны и Мира" послѣ изслѣдованія Мережковскаго; и спокойная ткань повъствованія оказалась сотканной изъ лирическихъ вихрей безконечно малыхъ движеній творчества. Это была буря тончайшихъ и субъективнъйшихъ переживаній, налагавшихся другь на друга такъ, что сумма ихъ образовывала будто спокойный контуръ романа: зеркальное озеро толстовскаго творчества оказалось покрытымъ бурно вспененными волнами; и только величина озера да дистанція скрадывала размірь лирическихь волнь: издали спокойный фонъ повъствованія покрывался піной и грохотомъ разбушевавшихся стихій. Въ третій разь я вернулся къ "Войнъ и Миру" около двухъ лътъ тому назадъ; и я по-новому изумился: дъйствующія лица романа, тайники ихъ души оказались символами какихъ-то провиденціальныхъ чертъ души русской; многообразіе событій и лицъ показалось мнѣ многообразіемъ самой души Льва Толстого: я тонуль въ этой душѣ, какъ въ глубокомъ морѣ; я не видълъ уже ни спокойнаго эпоса первыхъ отроческихъ воспріятій романа, какъ не видѣлъ я и психологической лирики; эта лирика оказалась не лирикой только: въ субъективнѣйшемъ показался мнв всюду транссубъективный смыслъ. Наконецъ, въ этомъ году вновь внимательно я перечель геніальное произведеніе Толстого: и оно поразило меня вовсе съ иной стороны; въ прозаическихъ разсужденіяхъ о войнѣ, въ характеристикѣ Кутузова, какъ идеала народнаго героя, увидёль я опять вовсе новую для меня глубину: Кутузовъ казался мнѣ средоточіемъ всѣхъ эпическихъ, лирическихъ и символическихъ нитей романа; цвѣтная радуга творческихъ переживаній въ немъ сливалась въ бѣлый лучъ самой жизни Толстого. Косноязычіе, нѣмота, и будто бы простота Кутузова оказалась для меня символомъ самого Толстого во-второмъ періодѣ его дѣятельности. Простота эта оказалась только прозрачностью бездны, какъ оказались бездонными нынѣ всѣ тѣ будто нехитрыя поученія Толстого, въ итогѣ которыхъ—его осливительная кончина. Такъ четырежды углубился для меня толстовскій романъ; и теперь, когда меня спрашивають о "Войнъ и Мирът", я становлюсь нѣмъ отъ избытка меня волнующихъ чувствъ. Геніальность Толстого - художника для меня есть геніальность Толстого болье, чымъ художеника; съ одной художественной геніальностью не смогь бы намъ дать Толстой такой мудрый символь, какъ "Война и Миръ".

Когда я слышу спокойные трюизмы о геніальности Толстогохудожника, произносимые тономъ, какимъ обыкновенно говорять о погодѣ, просто не вѣрю я, чтобы геніальность Толстого-художника крѣпко вошла въ сознаніе обывателя. Повторяются прочитанныя истины изъ почтенныхъ, толстыхъ журналовъ; и если бы почтенные, толстые журналы изъ мѣсяца въ мѣсяцъ называли романъ Толстого блѣднымъ, растянутымъ произведеніемъ, спокойные трюизмы о геніальности Толстого-художника не раздавались бы съ такой неотвязной настойчивостью изъ равнодушныхъ устъ.

Везспорна для меня геніальность Толстого-художника. Но какое право имію я личный восторгъ превращать въ безспорное утвержденіе? Если же истину ту повторяютъ читатели всего міра, то подсчеть голосовъ всей вселенной, можеть быть, явить намъ вовсе иное отношеніе къ романамъ Толстого. Если бы даже готтентоты и чукчи присоединились къ японцамъ и австралійцамъ, прославляющимъ Льва Толстого, то вселенскость признанія еще не есть истичность. Если же мы обратимся къ компетентному суду немногихъ и избранныхъ, мы удивимся разноголосицѣ мнѣній о художникѣ-Толстомъ. Еще покойный Владиміръ Соловьевъ, въ художественномъ вкусѣ котораго я не могу сомнѣваться, какъ разъ утверждалъ противное общему мнѣнію о романахъ Толстого. "Въ откровенныхъ разговорахъ съ друзьями онъ (Вл. Соловьевъ) при-

23.1

знавался, что "Война и Мирт" и "Анна Каренина" вызывали въ немъ скуку" 1).

И съ Вл. Соловьевымъ согласился бы во второй періодъ діятельности самъ Левъ Толстой: во всякомъ случать въ сужденіи Вл. Соловьева нъть ничего смъшного; скоръй оно наводить насъ на грустныя размышленія, и въ смішномъ положеніи оказался бы тоть, кто посмёнлся бы надъ приговоромъ великаго русскаго философа о художественной деятельности Толстого. Восторгу Тургенева и Достоевскаго по поводу "Войны и Мира" противопоставлено отнюдь не восторженное мивніе самого Льва Толстого и Вл. Соловьева. И это далеко не восторженное отнощение къ искусству вообще раздъляется въ принципъ и Мережковскимъ, и многими Святителями Церкви. Забастовка во всей художественной дъятельности геніальнаго художника въ принципъ заслуживаетъ не глубокаго раздумья, темь более, что отчасти съ Толстымъ согласился бы и другой великій русскій писатель—Гоголь. "Войны и Мира" къ счастію для насъ Толстой не могь сжечь, а воть Гоголь сжегь свои "Мертвыя души".

Признавая въ Толстомъ геніальнаго художника, мы въ сущности ломимся въ открытыя двери: а ломиться въ открытую дверь—небольшая заслуга. Если же припомнить, что въ устахъ враговъ Льва Толстого упоминаніе о его художественныхъ заслугахъ есть подчасъ пикантная соль, которой они посыпаютъ свою хулу на него, то и вовсе у насъ пропадетъ охота къ риторическимъ похваламъ по адресу "Войны и Мира" и "Анны Карениной", лишь затемниющимъ проблему безпристрастнаго изученія того, почему пересталь быть художникомъ Левъ Толстой. Похвала толстовскому творчеству въ ущербъ его личности есть сведеніе и всей дѣятельности его, какъ писателя, къ нулю.

И потому-то, слыша банальное утвержденіе о преимуществахъ Толстого-художника, вспоминаешь съ одной стороны отрицаніе этихъ преимуществъ Владиміромъ Соловьевымъ; вспоминаешь съ другой стороны толстовскіе дни. Съ мнѣніемъ о преимуществахъ художественнаго дарованія Толстого далеко не все обстоить благополучно: тутъ усматриваемъ мы трусливую поспѣшность въ рѣшеніи толстовскаго вопроса съ коварной и преднамѣренной цѣлью

<sup>. 1)</sup> Кн. Евг. Трубецкой "Личность В. С. Соловьева".

поскоръй поставить Толстого на полочку, ради благополучнаго возврата въ кругъ обыденной суеты.

Той же предвзятою схематичностью страдаеть и противоположное мнѣніе о великомъ писателѣ земли русской: согласно этому мненію, смысль деятельности Толстого въ сумме всёхъ нравоучительныхъ словъ, произнесенныхъ имъ за сохой: вспоминаю нѣкогда газетные толки о томъ, какъ французскій публицисть, Поль-Дерулэдъ, прівхавъ въ Ясную Поляну, отправился въ поле, чтобы увидъть нашущаго Толстого; великій пахарь не оторвался отъ сохи; и знаменитый французъ (воображаю его одътымъ безукоризненно) долженъ былъ одновременно и шагать черезъ черныя земляныя глыбы и записывать всв случайныя реплики Толстогона его слова. Въ этой картинъ есть что-то безусловно комическое: во-первыхъ внъшне комична фигура французскаго публициста, зашагавшаго по вспаханныхъ бороздамъ; но насколько болъе комична фигура знаменитаго пахаря, не пожелавшаго оторваться на пять минуть отъ сохи, чтобы удёлить время интересному гостю: о, конечно, туть была символическая пахота; предъ представителемъ отвергаемаго Толстымъ земного шара, покрытаго плъсеньюцивилизаціи, Левъ Толстой распахиваль земной шаръ стальнымъ лезвіемъ своей правды: если бы хоть крупица отъ этой мысли небыла въ ту минуту въ душѣ Льва Толстого, не продолжалъ бы онь съ нарочитымъ равнодушіемъ свое занятіе, порожденное какъ ни какъ капризомъ; если бы не одинъ Поль Дерулэдъ, но представители всего міра, писатели, ученые, короли въ ту минуту появились предъ лицомъ Льва Толстого, и тогда, конечно, не оставилъ бы онъ своего символическаго занятія: туть онъ самь-карикатура на себя.

Карикатурности Толстовской пахоты предъ лицомъ всего міра вовсе не видять тѣ, кто самый смысль работы Льва Толстого связывають съ проповѣдями urbi et orbi послѣднихъ десятилѣтій. Они вѣроятно были наивно увѣрены, что присутствіе Поля Дерулэда при толстовскихъ работахъ въ полѣ было лишь первой ласточкой: выстроенныя трибуны для писателей всего міра предъ толстовской пашней, сами писатели, возсѣдающіе съ биноклями върукахъ, наконецъ, эти же писатели, сошедшіе съ трибунъ и бредущіе за сохами по примѣру Толстого—вотъ вѣроятно въ чемъ заключалось ихъ чаяніе послѣ газетнаго оповѣщенія о томъ, что

Поль Дерулэдь уже за сохою прошель. Если прошель за сохою Поль Дерулэдь, отчего же не пройти за сохой Ибсену, Зудерману, Метерлинку, д'Аннунціо. Паломничество вь Ясную Йоляну всё послёдніе годы порой намь казалось паломничествомь не къ Толстому, а къ Толстовской сохъ: самь Левь Толстой подчась издали намь казался лишь придаткомь къ собственной своей сохѣ, олеографіей, приложенной къ одной изъ статей послёдняго періода.

И туть ставимь мы вопрось: неужели смысль толстовской сохи, этой барской прихоти Толстого, перевъсиль художественное творчество писателя? Въ перенесеніи центра тяжести въ Л. Толстого къ его статьямъ, поученіямъ, письмамъ и притчамъ лежить скрытое презрѣніе къ средствамъ художественной изобразительности. Нужно усматривать въ средствахъ художественной изобразительности Толстого ненужное затемнине его идей, чтобы отрицать въ немъ художника и возвеличивать пахаря. Но такое отрицаніе стоить въ связи съ полнымъ непониманіемъ того, что есть искусство. Нужно думать, что матеріаль художества, его форма, есть нѣчто само по себѣ, а идея, вложенная въ форму, сама по себъ: вынуль идею -- остаются безыдейныя метафоры, метониміи и т. д.; вложиль идею—и метафоры, метониміи становятся идейными метафорами. Если это такъ, если идейное искусство находится въ такомъ отношение къ проповъди, какъ метафорически высказанная идея къ чистой идев, то-для чего искусство? для чего кружить вокругь и около правды, когда можно сказать безъ обиняковъ самую правду? художественное произведеніе въ такомъ случав является ломаной линіей по отношенію къ кратчайшему разстоянію между двумя точками пропов'єди. Но дал'єв, для чего проповъдь, когда и ее можно суммировать въ нъсколькихъ прописяхъ? Пропись, по мнънію толстовцевъ, должна выражать концентрированную идею. Только въ такомъ случав можно возвеличивать все написанное Львомъ Толстымъ въ последнія десятилетія надъ суммой его художественныхъ красотъ перваго періода творчества.

Во всемъ томъ кроется глубокое заблужденіе о томъ, что такое идея художественнаго произведенія.

Идея художественнаго произведенія—многовѣтвистый и скрытый подъ землей корень, не обнажаемый прописью, но органически переходящій въ стебли, листья, цвѣты спеціальныхъ художествен-

ныхъ красотъ. Средства художественной изобразительности, всѣ эти униженные толстовствомъ эпитеты, сравненія и метафоры, суть правда лишь цвѣточные лепестки: но они изъ одного сѣмени творчества. Вверхъ изъ сѣмени къ поверхности творчества вытягивается и цвѣтущій, и плодоносящій стебель: внизъ, въ землю убѣгаетъ идейный творческій корень. Лепестки творчества, правда, особенно пестры у цвѣтка; но цвѣтокъ превращается въ плодъ: а въ плодѣ потенціально заложено множество идейныхъ корней.

Въ желаніи обнажить самую творческую идею есть нѣчто глубоко противоестественное: если бы мы вырвали съ корнемъ растеніе, если бы листья, цвѣтки, лепестки творчества мы зарыли бы глубоко въ землю, выставивъ надъ земною поверхностью голый корень идеи, все растеніе (организмъ творчества) было бы обречено на неизбъжную гибель; листья, цвътки, лепестки праздно гнили бы подъ землей; надъ землей торчалъ бы сухой корень растенія; болье того: праздно вытянутый подъ солнце идейный корень творенія быль бы даже не корнемъ: корень многовътвисть; смыслъ его въ безчисленныхъ корневыхъ волоскахъ, вросшихъ въ землю; вырывая корень растенія, мы обрываемъ безчисленность корневыхъ волосковъ идеи, образующихъ ея реальное многообразное соприкосновеніе съ землей; вырванный изъ земли корень-не реальный корень: идея, вырванная изъ земли творчества, -- не идея, а безплодная пропись, имъющая лишь словесную видимость идеи, и мгновенно засыхающая подъ лучами денного солнца.

Упрекающіе въ Толстомъ человѣка, въ своихъ упрекахъ поверхностны. Но не болѣе ли поверхностно нарочитое прославленіе многихъ толстовскихъ поученій и притчъ въ ущербъ художественнымъ красотамъ толстовскаго творчества. При всемъ богатствѣ личности великаго писателя земли русской, самая форма выраженія этой личности и скудна, и неудовлетворительна, многія поученія и притчи Толстого, лишенныя матеріала художества, только засыхающій корень растенія, посаженнаго въ землю кроной пестрыхъ цвѣтовъ; и это не оттого, что душа Толстого оскудѣла въ тѣхъ поученіяхъ: ниже постараюсь я показать, что какъ разъ наоборотъ: душа Толстого выростала въ молчаніи, потому что молчаніе было подлинной причиной многообразныхъ толстовскихъ проповѣдей; тѣми проповѣдями подчасъ Толстой инстинктивно заго-

вариваль зубы: чёмь опредёленнёй были его слова, тёмь неопредёленнёй становилось ихъ питающее молчаніе.

Не всегда толстовскія проповёди возникали предъ нами въ видё каталога прописей. Изумляеть насъ подчасъ полное косноязычіе проповъдника, красноръчивъйшаго художника слова. Косноязычіе это впоследствіи переходить въ определенность прописей: это знакъ того, что молчащій предъ нами художникъ научился владъть своимъ насильственнымъ творческимъ молчаніемъ. Наконецъ прописи переходять въ краснорвчивую немоту пресловутаго "Круга Чтенія". Намъ ясно до очевидности, какъ могла у Толстого явиться мысль составленія этого "Круга": обнаживъ корень-идею своего художественнаго творчества отъ будто бы ему ненужныхъ цвътовъ, лепестковъ, составляющихъ индивидуальную властность его, какъ художника слова, Толстой увидиль предъ собой не себя самого, но лишь схему идеи; но ему хотьлось видьть не схему, а квинть-эссенцію. Схема идей толстовскаго творчества далье оказалась схемой вообще ряда подобныхъ идей, индивидуально высказанныхъ уже великими мудрецами всёхъ временъ и народовъ. Силу этого индивидуальнаго высказыванья очевидно сознаваль Толстой у другихъ; а свое безсиліе высказаться внѣ данныхъ художественной индивидульности лишь смутно предчувствоваль; и, предчувствуя непленительность своих прописей, принялся старательно убирать эти прописи чужими цвётами великій художникъ слова. На бездёльно торчащій подъ солнцемъ засыхающій творческій корень надіваль гирлянды чужихъ цвітовь (свои цвіты Толстой предварительно старательно оборваль). Но чужіе цвѣты, оторванные отъ питающаго ихъ корня, праздно завяли на не питающемъ корнъ толстовскихъ проповъдей. Необходимость прибрать свои голыя прописи афоризмами изъ Конфуція, Будды и Шопенгауэра есть кризись последнихь десятилетій Толстого. Кризись этоть заключается въ томъ, что Толстой не могъ не увидъть своей ошибки какъ проповъдника. И желая исправить эту ошибку, проповъдникъ Толстой замолчалъ, задавленный "Кругомъ Чтенія".

"Кругт Чтенія" оказался не солнечнымъ кругомъ; онъ оказался кругомъ солнца, зарисованнымъ на бумагѣ: а такой кругъ—просто геометрическая фигура, и наивно въ ней видѣть крону свѣтлыхъ лучей. Но когда Толстой составлялъ этотъ "Кругъ" (зарисовывалъ солнце карандашемъ на бумагѣ), вѣроятно ему видѣлась

галлюцинація солнечнаго луча, исходящая изъ прозаической окружности имъ выводимой фигуры.

Такъ ошиблись друзья Льва Толстого, видящіе центръ его жизни въ проповъдяхъ, облетающихъ земной шаръ изъ "Ясной Поляны". "Круг Чтенія" есть квинть-эссенція всёхъ этихъ проповёдей: между тыть "Кругь Чтенія" есть молчаніе самого Толстого, молчаливое признаніе кризиса своей пропов'єднической индивидуальности. Началь Толстой съ того, что онъ, Левъ Толстой, скажетъ намъ свое, толстовское слово о правдъ жизни; послъ же онъ сталъ ссылаться на другихъ: въ этихъ ссылкахъ въ концъ-концовъ растворился Толстой-проповъдникъ.—"Левъ Николаевичъ, что вы думаете о томъ-то", раздавались возгласы со всёхъ пяти частей свъта. И въ отвътъ раздавалось неизмънное изъ "Ясной Поляны": "Будда говорить, Конфуцій говорить, Шопенгауэръ говорить... Говорилъ... даже Генри Джорджъ! Говорили... мальчишки школьники, говориль крестьянинъ такой-то. Поученія Толстого часто сводились къ рекомендаціи мыслей неизвъстнаго міру крестьянскаго генія. Многіе изъ этихъ "усть" Толстого появлялись на страницахъ толстыхъ и тонкихъ журналовъ. Такъ Толстой-проповъдникъ смѣнился десятками, Толстымъ патентованныхъ, мужичковъ, каявшихся интеллигентовъ, студентовъ, сектантовъ. "Круг Чтенія" расширялся въ кругъ говорившихъ лицъ. А Толстой усердно комментироваль этоть блёдный говорь о томъ, почему земной шаръ не правъ, развивая науку, искусство, культуру и государство. Наконецъ этотъ кругъ говорящихъ лицъ начиналъ строить поселки. Но въ поселкахъ техъ не поселялся Толстой. Онъ продолжалъ комментировать свои и чужія мысли.

Явно, что проповъдникъ въ немъ замодчалъ.

Средства художественной изобразительности называли не разь бабочками. Опредвление Фета, какъ поэта бабочекъ, скомпрометировало надолго Музу поэта въ глазахъ русскаго общества, занятого чвмъ угодно (хоть чисткой картофеля), но не легкомысленнымъ собираниемъ мотыльковъ. Легкомысленность же порхающихъ мотыльковъ искусства вовсе не столь легкомысленна; наоборотъ, она плодотворна: оплодотворяющую пыльцу переносятъ на цвътки легкомысленные мотыльки, привлеченные яркостью лепестковъ и ихъ ароматомъ; мотылекъ, лепестокъ и цвъточное благовоние искусства есть условие созръвания будущаго плода, падающаго на

землю многими сѣменами. Не будь лепестковъ, мотыльковъ и цвѣточнаго благовонія, многія правды, скрытыя въ сѣменахъ, не скрѣпили бы землю родины нашей идейнымъ корнемъ. Въ отрицаніи средствъ художественной изобразительности часто сказывается только узкая близорукость.

Въ безыдейныхъ мотылькахъ и цвѣткахъ толстовскаго творчества заключены потенціалы нравственныхъ и религіозныхъ идей, многообразно осознаваемыхъ. А въ толстовскихъ проповѣдяхъ—сухой и далеко не полный лишь перечень все тѣхъ же идей: этотъ сухой и неполный перечень у поклонниковъ проповѣднической дѣятельности Толстого принимаетъ отталкивающую форму каталога. Самъ Толстой достаточно защищенъ отъ толстовства хотя бы своимъ "Кругомъ". "Кругъ Чтенія" Толстого въ этомъ смыслѣ не только геометрическая фигура, но и кругъ щита, образованнаго молчаніемъ Толстого тамъ, гдѣ толстовство сотрясало основы стараго міра краснорѣчивой своей, но пустой.... болтовней.

Мы коснулись двухъ сторонъ дѣятельности великаго русскаго писателя, двухъ половинъ его раздвоенной души: это раздвоеніе является и вовсе разорванностью въ двухъ, взаимно враждебныхъ, станахъ поклонниковъ его личности.

Одинъ станъ утверждаетъ значеніе Толстого-художника, — но Толстой не только художникъ. Другой станъ утверждаетъ проповъдника Толстого; но и этотъ станъ по существу не правъ: Толстой не только проповъдникъ.

Ни проповедникъ, ни художникъ... Кто же Толстой?

Онъ или ни то, ни другое, или то и другое вмѣстѣ. Въ первомъ случаѣ творческое безсиліе, являющееся результатомъ слабости воли, обезцѣниваетъ смыслъ всей дѣятельности Толстого. И великій Толстой только... великій неудачникъ. Во второмъ случаѣ Толстой—явленіе небывалое въ новой исторіи, ибо онъ нарушаетъ всѣ градаціи цѣнностей; между тѣмъ лишь въ этихъ опредѣленнихъ предѣлахъ та или иная дѣятельность человѣка имѣетъ смыслъ.

Если бы явились безумцы, отрицающіе огульно великое значеніе Льва Толстого въ исторіи развитія нашего общества, общество это отвѣтило бы презрительнымъ молчаніемъ по ихъ адресу. А между тѣмъ въ этомъ презрѣніи сказалась бы несправедливость. Отрицать смыслъ всей дѣятельности Толстого они имѣли бы нѣкоторое реальное право.

Всякое творчество требуеть воплощенія; рость человіческой личности осознается окружающею средой по плодамъ этого роста. А такими плодами и являются творческіе продукты. Міриломъ оцѣнки всякихъ произведеній творчества есть гармонія формы съ содержаніемъ ихъ творящей души. Всякое произведеніе творчества есть содержаніе, данное въ законченной формъ. Чъмъ законченный тъмъ яснъе ея содержание. Болъе того: форма художественнаго произведенія есть насквозь воплощенное содержаніе; только при такомъ пониманіи формы углубляется для насъ парадоксъ, будто смыслъ произведеній искусства въ формѣ и только въ формѣ. Умѣніе воплотить въ словѣ полноту насъ волнующихъ содержаній-значить овладьть самимь содержаніемь: не найдя формы выраженія извъстной стадіи внутренняго развитія, нельзя говорить о преодолжній этой стадій во имя следующей, болже глубокой и содержательной. Погружаясь въ невыразимую глубину нашей личности, мы всв геніальны болве или менве: геніальность, присущая всвив намъ, есть попросту неразложимый индивидуализмъ всякой личности. То, чемъ Петръ отличается отъ всёхъ Петровъ въ міре, есть потенціально данная геніальность Петра. Въ этомъ смыслѣ мы всѣ геніи.

Геніальность въ наукѣ, искусствѣ, общественной дѣятельности есть геніальность иного рода; это, такъ сказать, производная геніальность: она связана съ отчетливымъ выраженіемъ въ словъ, въ формуль, въ жесть дъятельности. Отчетливо осознать въ себъ то, чёмъ я отличаюсь отъ всёхъ существъ меня окружающаго міра, расположить матеріаль звуковь, красокь, формуль, жестовь и словъ такъ, чтобы ирраціональное дно моего индивидуализма стало нормой построенія моего собственнаго міра — вотъ задача генія творца: индивидуальнѣйшее и послѣднее въ немъ становится универсальнымъ первоначаломъ имъ созданнаго міра. Разъ воплотвореніи этотъ міръ, разрывается дно личности творященъ въ щаго: индивидуальнъйшая точка его личности, объективированная въ искусствъ, становится наименъе индивидуальной частью въ немъ сызнова осознаннаго индивидуума. Такъ опять начинается періодъ творческихъ исканій, пока и онъ не завершится побідой надъ индивидуальнъйшимъ.

Это воплощеніе творчества въ общей культурѣ предполагаетъ полное овладѣніе индивидуальнымъ содержаніемъ данной стадіи развитія художника.

Есть ли это овладёніе формой въ художественномъ творчествѣ Льва Толстого?

Обозрѣвая колоссальные размѣры толстовскихъ романовъ, какъвъ смыслѣ внѣшней ихъ величины, такъ и въ смыслѣ заключеннаго въ нихъ содержанія, мы прежде всего останавливаемся на нъкоторой, явно бросающейся намъ въ глаза, незаконченности. Эта незаконченность есть прежде всего незаконченность вижшняя: незаконченность въ смыслѣ внѣшнихъ пропорцій. Мы видимъ рядъ другъ друга смѣняющихъ законченныхъ сценъ, пепоистинъ геніальной формъ. Въ изображеніи реданныхъ въ тончайшихъ движеній души Пьера Безухова, князя Андрея видимъ мы изумительную обработку отдёльныхъ деталей общаго содержанія "Войны и Мира". Видимо, индивидуальнѣйшая психологія всёхь дёйствующихь лиць романа слагалась въ Толстомъ въ одно колоссальное зданіе человіческой души, ибо все туть — одно къ одному: муки родовъ маленькой княгини (жены Болконскаго), отръзанная нога Анатоля сливаются съ разорванными частями человъческаго мяса на бородинскомъ полъ; исканіе смысла и ценности жизни княземъ Андреемъ и исканіе смысла жизни сначала въ массонствъ, а потомъ у Платона Каратаева, Пьеромъ Безухимъ, всв индивидуальнвишіе моменты этихъ исканій, въ родѣ перехода изъ штаба въ дѣйствующую армію одного, и апокалипсической каббалистикой надъ числовымъ значеніемъ буквъ у другого-всѣ эти отдѣльные перлы Толстого-художника суть атомы одной формы: изъ всёхъ атомовъ формъ по плану Толстого должна сложиться нераздёльная цёльность "Войны и Мира". Вся эта сумма моментовъ составляеть цѣльный рельефъ ищущей смысла души на фонѣ переживаемыхъ Россіей событій.  ${
m M}$  однако такой цёльный рельефъ отсутствуеть въ "Войнъ и Миръ". Намъ показываются точно дътскіе кубики, изъ которыхъ должна сложиться картина: здёсь-рука воюющаго солдата, тамъкаска, тамъ — рука съ саблей солдата, одътаго въ иную форму: и мы сами изъ отдёльныхъ моментовъ несложенной картины возстановляемъ связь ея оборванныхъ частей: мы говоримъ, что картина очевидно изображаеть бой двухъ враждебныхъ солдатъ.

То же встрѣчаеть насъ у Толстого: вездѣ превосходно разработанныя сцены русскаго быта, русскихъ дворянскихъ семей, Двора, поля сраженія и палатки полководца. Мы знаемъ, что всѣ тѣ

моменты-сцены суть моменты единой сцены, которой имя "Война и Миръ". Но гдѣ цѣльность той геніально задуманной сцены, геніально выполненной въ тысячахъ мелочахъ: все зданіе "Войны и Мира" стоить передъ нами все еще въ творческихъ лъсахъ. Коллективная душа русскаго народа, раздробленная Толстымъ въ сумив его борящихся и страдающихъ героевъ, не сложилась въ "Войню и Мири". Нѣтъ здѣсь естественной точки архитектоническаго единства и въ этомъ смыслѣ нѣтъ композиціи: есть какъ бы нъсколько намъченныхъ точекъ, символизирующихъ все зданіе: Платонъ Каратаевъ, Кутузовъ, частью Пьеръ Безуховъ. Всѣ многообразные ручьи толстовскаго творчества текуть въ "Bойнnи Миръ" къ одному пункту: все здёсь — одно къ одному; и вы ждете пересъченія многообразія средствъ въ единой конечной цьли. И вдругъ конечная цёль самочинно врывается въ геніальный романъ въ видъ нарочитой статьи о войнъ. А ручьи-средства, души героевъ, неожиданно оть васъ скрываются, ибо васъ не удовлетворяеть Наташа, Пьерь и Николай Ростовь, изображенные въ заключительномъ аккордъ романа. Царственная дорога романа, вамъ казалось, вела къ великолепнейшему дворцу: и вдругъ-на дорогь шлагбаумь въ видь нравоучительныхъ разсужденій: какъ бы ни были они глубоки, они-не искусство. Геніально построено многообразное зданіе, но ув'єнчано оно не блистающимъ куполомъ, а... соломой. "Много шуму изъ ничего" могъ бы сказать лютый недругь Толстого. Мнѣ сейчась возразять, что въ "Войню и Миръ" главное содержаніе есть изображеніе общаго быта тогдашней Россіи; но скажу вмёстё съ Мережковскимъ, что тутъ скорый быть русской души, не прикрыпленный къ опредыленной эпохъ. Миъ возразять, что въ изображении этого душевнаго быта Толстой первый изъ русскихъ художниковъ слова осозналь этотъ быть. Въ этомъ смыслѣ Толстой-Колумбъ имъ открытой Америки. Возражать противъ этого-было бы итти наперекоръ очевидности. Но если бы главной задачей Толстого было открытіе новой Америки (кстати сказать, совершенное имъ попутно), а не исканіе смысла этого открытія, къ чему разсужденія о войнѣ и Кутузовъ во образѣ и подобіи нѣкаго буддійскаго мудреца, побѣждающаго Наполеона магіей своей Нирваны; если бы художественное осознаніе проблемы Востока и Запада не было главной рукодящей задачей Толстого, а двинадцатый годь, Наташа, Андрей лишь

побочными средствами, для чего весь геніальный размахъ въ описаніи психологическихъ особенностей русской души: проще было сдълать "Войну и Миръ" историческою картиной, а не громаднымъ, всемірно-историческимъ, незаконченнымъ полотномъ. Что то есть превышающее все написанное досель въ изумительномъ романъ Льва Толстого. Я называю этотъ романъ незаконченнымъ полотномъ: неужели боренія духа Пьера Безухова, мысли о террористическомъ актъ надъ Наполеономъ, плъненіе, опрощеніе-все это свелось къ тому, чтобы Пьеръ нашелъ покой и разрѣшеніе всёхь смятеній подь башмакомь у своей жены, нёкогда одухотворенной Наташи, а потомъ огрубъвшей и потолстъвшей Натальи Ильиничны. Неужели задача Толстого заключалась въ томъ, чтобы великія человіческія страсти завершались міщанскимь успокоеніемъ? И судьба всѣхъ Безухихъ — байбачество, и судьба всѣхъ Наташь-отправленіе органически животныхь функцій: соединенія, размноженія, питанія? Ніть, ніть и ніть: великій тайновидець души человъческой туть замолчаль предъ собой: цълесообразность моментовъ "Войны и Мира" — цѣлесообразность безцѣльная: не религіозно-просв'ятленное искусство, а своеобразный, сознательный эстетизмъ. Что Толстой замолчалъ отъ неумѣнія высказаться, а не отъ того, что высказался до конца, видимъ мы на своеобразной судьбѣ "Натальи Ильиничны", съ подчеркнутой рѣзкостью прославляемой имъ некогда: вёдь судьба всёхъ Наташъ въ дальнъйшей перипетіи толстовского творчества — превратиться въ Анну Каренину и далве: въ героиню "Крейцеровой сонаты".

Въ этомъ указанномъ смыслѣ форма произведеній Льва Толстого не адекватна ихъ содержанію. По неполному овладѣнію формой узнаемъ внутреннюю борьбу въ художникѣ Львѣ Толстомъ. Той борьбы мы не встрѣтимъ у Пушкина, какъ не встрѣтимъ ел у Гете. Законченный типъ художника-классика былъ искони чуждъ Льву Толстому. А этотъ типъ есть совершеннѣйшій типъ художника. Заверши Толстой свое огромное художественное полотно, сведи къ композиціонному единству всѣ детали архитектоники, онъ всталь бы въ вѣкахъ превыше всѣхъ Софокловъ, Гете, Шекспировъ, ибо даже въ своемъ незаконченномъ творчествѣ онъ, какъ Достоевскій и Ибсенъ, поднялся на уровень нѣкоторыхъ изъ нихъ. Но въ какомъ-то послѣднемъ и высшемъ смыслѣ Толстой—неудачникъ художникъ, ибо онъ—художникъ, не вполнѣ овладѣвшій формой.

Это неовладёніе формой Толстымь можеть быть двоякаго характера: отъ отсутствія техническаго мастерства и отъ громадности содержанія. Ну, конечно, такое неовладёніе формой — отъ громадности содержанія. Толстой, оставаясь художникомъ, быль уже не художникъ. Проповёдникъ сидёль въ немъ съ первыхъ дней его жизни.

*Кризис* его художественной дѣятельности самъ собою понятенъ. Но, ставъ проповѣдникомъ, Толстой не удовлетворялъ многимъ чертамъ, свойственнымъ генію проповѣдника.

Мы понимаемъ проповѣдь въ двоякомъ смыслѣ: проповѣдь дѣломъ своей жизни, и проповѣдь словомъ. Проповѣдь жизни Толстого—до послѣднихъ дней жизнь Толстого протекала обратно проповѣди: гналъ, бичевалъ, отвергалъ культуру и государство, а самъ оставался и въ культурѣ, и въ государствѣ.

Проповѣдь словомъ: или она непосредственно зажигаетъ своимъ огнемъ, или она побѣждаетъ логикой доводовъ. Но статьи, по-ученья и притчи Толстого незажигательны. Логика,—проповѣдь логикой, въ настоящее время есть проповѣдь спеціальныхъ каеедръ. И логическая структура толстовства вразумительна чѣмъ угодно, но не логикой только.

Отвергая искусство, логику и науку, Толстой не обладаль качествомъ религіознаго пропов'єдника: слова его не жгли подлиннымъ огнемъ; самая высказанная религія Толстого сплошь раціоналистична, а раціонализмъ и религія—contradictio in adiecto. Стало быть, либо подлинный религіозный опыть чуждъ быль Толстому, либо опыть тотъ еще мен'є, чёмъ художество, быль выразимъ въ слов'ь. И судя по тому, что Толстой не нашель иныхъ средствъ иллюстрировать свой религіозный опыть, кром'є взв'єщеннаго подбора чужихъ словъ ("Кругъ чтенія"), можно сказать, что индивидуальная пропов'єдь Толстого закончилась кризисомъ.

Два кризиса отдёляють Толстого оть многихь десятилётій его художественной дёятельности: сперва онь не сумёль высказать свою правду, какь художникь; потомь не сумёль ее возвёстить міру проповёдью. Какь же не назвать Льва Толстого великими неудачникоми тёмь, кто опредёляеть реальность дёятельности по достиженію?

Но высокая правда ухода Толстого, того единственнаго поступка, который ждаль оть него весь зрячій мірь, какъ религіознаго знаменія, заставляеть нась видёть въ Толстомъ нёчто большее, чёмъ художника-проповёдника. Этой высокою правдой впервые подлинно заговорилъ съ нами Левъ Толстой.

Все его художественное творчество могло бы быть религіознымъ громомъ и гласомъ, какъ творчество ветхозавѣтныхъ пророковъ Исаіи и Іереміи. Но послѣ Христа упразднились пророки. И потому религіозная правда этого творчества, выносящая его изъ всѣхъ рамокъ, заключается въ глухонѣмыхъ зарницахъ, которыми вспыхиваетъ подчасъ подсознательная глубина души князей Андреевъ, Безухихъ, Нехлюдовыхъ. (Недаромъ "Воскресеніе" открывается съ безподобнаго описанія весенней грозы). Въ творчествѣ этомъ

"Однъ зарницы огневыя, "Воспламеняясь чередой, "Какъ демоны глухонъмые "Ведутъ бесъду межъ собой".

Тютчевъ.

Самъ Толстой-художникъ—глухонѣмой пророкъ: тщетно пророкъ пытался изречь свое слово въ искусствъ: и искусство замолчало въ пророкъ.

А когда пророкъ заговорилъ проповѣдью, обнаружилась ненужность самаго пророчествованія, ибо пророческій типъ есть типъ ветхозавѣтный: пророки до Христа—пророки Слова. Но Слово уже воплотилось, стало Плотью: реальность, подлинность воплощенія отрицалъ Толстой; отрицалъ онъ оттого, что хотѣлъ быть пророкомъ; не по гордынѣ и самонадѣянности хотѣлъ онъ пророчествовать: искренне видѣлъ онъ въ томъ свою миссію, не подозрѣвая, что со Христомъ самая эта миссія упразднена. Оттого то слова о воплощенной правдю пріобрѣтають у Толстого такой отвлеченный характеръ. Привлекая, онъ отвлекалъ; и наконецъ, отвлекшись отъ своей отвлеченности, въ сущности замолчалъ Толстой проповѣдникъ.

"Мысль изреченная есть ложь".

Эту правду онъ понять, какъ понять онъ и то, что вся его многословная жизнь—только опыть молчанія. И когда это онъ понять, онъ пошель умирать: но смерть миновала его. И впервые дучь какого-то огромнаго религіознаго дійствія освітиль на

мгновенье сквозь Толстого Россію. Толстой на мгновенье сталь подлиннымъ разрывомъ тучъ, повисшихъ надъ горизонтами нашей жизни.

Что же такое Толстой?..

По отношенію къ ісрархіи существующихъ самодовлієющихъ цѣнностей искусства, науки, философіи, общественности Левъ Толстой не можеть помъститься сполна въ тъхъ строго размъренныхъ категоріяхъ, сумма которыхъ и образуеть критерій сужденій нащихъ о ценномъ. Іерархія ценностей напоминаеть мне строго разлинованный городъ, гдф рядъ параллельныхъ улицъ, соединенныхъ изредка проспектами, символически обозначаетъ теоретически ценныя направленія развитія искусствь, наукь, философіи. Идя по улиц $\dot{b}$  a, я никогда не приду въ b; выявляясь, какъ художникъ, я творю произведенія цінныя въ категоріи искусства подъ условіемъ невозможности творить философскія ценности. Въ этомъ смыслѣ въ общепризнанномъ городѣ культуры существуетъ рядъ параллельныхъ, непересвкающихся улицъ искусства, науки, философіи, есть изрѣдка разрѣшенные переходы отъ одной улицы къ другой, но нътъ площади, къ которой стекаются улицы. Съ точки зрънія этой разм'єренности Стефанъ Георге болье художникъ, нежели Левъ Толстой, ибо онъ удовлетворяетъ болбе методологическимъ требованіямъ чистаго искусства; а вѣдь удовлетвореніе этимъ требованіямъ единственное обусловливающее начало для признанія произведеній искусства какъ эстетическихъ ценностей. Толстой не только художникъ: следовательно онъ мене, чемъ художникъ, въ рамкахъ методологіи эстетики. На основаніи тёхъ же сужденій Риккерть болье его философь, а Вирховь-ученый. Съ точки зрѣнія современной теоріи цѣнностей любой совершенный поэтъ, пишущій редкими риемами, любой посредственный привать-доценть и любой заурядный соціологь найдеть себ' місто въ вышеупомянутой школь, и въ этомъ смысль деятельность поэта, ученаго, соціолога опредёлится, какъ дёятельность цённая, дёятельность же Толстого опредълится, какъ дъятельность сравнительно безцънная: тоть же великій смысль, который столь явно чувствуется въ личности Толстого, останется неопредёлимымъ въ рамкахъ современнаго искусства, философіи, науки, общественности, государственности. Точка пересвченія двухь сторонь двятельности Льва Толстого окажется за предѣломъ досягаемости: она невоплотима, и въ этомъ смысле не нужна. Наиболе дорогое въ Толстомъ окажется такъ вообще... душевным паромъ. Конечно этого не скажетъ современный философъ, отрицающій Толстого-философа; онъ по современному выраженію оріентирует Толстого въ искусств'я; но современный эстетикъ, читающій курсъ лекціи на основаніи разбора словесной инструментовки Георге, не встрътивъ этой инструментовки въ произведеніяхъ Льва Толстого, наобороть, оріентируеть его внъ эстетики, быть можеть въ философін; но это только потому, что онъ не философъ. И если бы встрътились три профессора -- соціологіи, эстетики, философіи-въ разговорѣ другь съ другомъ о Толстомъ, они старались бы сбыть Толстого другь другу; всв трое сошлись бы на признаніи его цінности; но философъ утверждаль бы цінность Толстого въ эстетикі, эстетикь въ соціологіи, соціологь въ философіи. Всв трое въ этомъ смыслв отказались бы отъ Толстого, сбывъ его религіи. Какъ отнеслись религіозные дѣятели къ Толстому, мы знаемъ: въ буквальномъ смыслѣ слова они сбыли его, изгнали за черту религіозной осъдлости. И Толстой стоить никомъ изъ всвхъ мъстъ осъдлости современной культуры и государства. Бѣлый лучъ соединенія культурныхъ путей при отрицаніи точки пересвченія этихъ путей есть ультрафіолетовый, окуневидный, т. е. черный лучъ. И великій Толстой въ рамкахъ современной культуры есть Толстой темный.

Сознаюсь, здёсь стущены краски: культурное сознаніе интеллигенціи всего міра пріємлеть Толстого. Но эта пріємлемость Толстого есть пріємлемость сердца противъ культурной сознательности. А вёдь въ теоретическихъ вопросахъ сердце молчить: и потому пріємлемость Толстого міромъ есть только понятная, но не оправдываемая логикой непослёдовательность міра сего.

Толстой—слишкомъ великая фигура въ жизни XIX стольтія; и логика современности иногда меркнетъ въ осльпительныхъ лучахъ его славы—славы вопреки всему. Но если логика эта вынуждена подчасъ щадить Льва Толстого (ибо не щадя его, она рисковала бы быть отвергнутой ею управляемымъ міромъ), она жестоко не щадитъ тъхъ, кто кажется современности менье замьчательнымъ. И ея относительно правильный приговоръ обрушивается на Ницше. Что такое Ницше? Поэтъ—нътъ не поэтъ; чистый ученый? Еще того менье. Философъ? Но какой же Ницше философъ? Онъ не

усвоиль Канта. И красный лучь страданія, почіющій на Распятом Діонист, оказывается ультрафіолетовымъ, т.е. чернымъ лучомъ. Ницше оказывается за чертою культурной осъдлости. На основаніи техь же сужденій за чертою оседлости оказывается Вл. Соловьевъ, ибо онъ не чистый философъ: его метафизика уязвима логически, поэзія уязвима технически, мистика уязвима религіозно. И что всего ужасньй, это то, что возразить на подобную уязвимость Соловьева намъ нечего. Гуссерль, Когэнъ оказываются логически для меня правъе его. И не только Гуссерль, Когэнъ, но и ихъ русскіе ученики. А въ техническомъ совершенствъ стихотворной структуры правъй Соловьева поэта оказывается... любой современный безусый юноша. Мистика Соловьева... Но откройте любого церковнаго мистика старыхъ временъ-- и мистика Вл. Соловьева покажется... предосудительным дилетантизмомъ... Имена Толстого, Ницше и Вл. Соловьева-имена нынъ крупныя, ибо это все имена отошедшихъ: de mortuis aut bene aut nihil. И культурная "безсодержательность" ихъ стыдливо замалчивается. Но темь более подвергается культурному разгрому деятельность живыхъ. Вы послушайте только, что говорять о нынѣ живущихъ Мережковскомъ и В. Ивановъ 1)! "Мережковскій ни поэть, ни художникт, ни проповъдникт: просто онъ легкомысленный публицистъ". Въ эстетическихъ кружкахъ современности съ эстетическимъ правомъ противополагають ему эстетически совершенныя... бездёлицы Кузмина; въ философскихъ кружкахъ съ правомъ ему противополагають перваго попавшагося доцента, а въ кружкахъ религіозныхъ съ правомъ же ему противополагается... первый попавшійся батюшка. За чертой досягаемости оказывается съ правомъ цёлый рядъ наиболье искреннихъ и мучающихся людей. Имъ нътъ мъста вт мірт семт: сей мірт располосовань автономными, другь сь другомъ непересвкающимися, проспектами отъ философіи, искусства и т. д. Все, наиболъе волнующее насъ какъ людей, признается вредной черезполосицей. Человъкъ чувствующій и задумывающійся надъ жизненнымъ смысломъ — черезполосица тоже: мірт сей испов'ядуеть ничто нечеловическое. Другой вопрось, исповѣдуетъ ли онъ нѣчто сверхиеловъческое, или дочеловъческое. Во

<sup>1)</sup> Я касаюсь нынь не осужденія субстанціи проповыдуемых ими вдей, а упрека въ формы и пріємы творчества.

второмъ случав всемірное государство автономныхъ и параллельныхъ цвиностей странно напоминаетъ Грядущаго Зввря, выходящаго изъ водъ.

Впиными жидами оказывается цѣлая группа людей, независимо оть ихъ убѣжденій, профессій, индивидуальности: то, что объединяеть ихъ, что заставляеть къ нимъ прислушиваться не вовсе мертвыхъ оть въка сего, есть утвержденіе смысла и правды культуры внѣ методологической раздѣльности культурныхъ проспектовъ современности. Въ этомъ смыслѣ они ищутъ своего града по всей культурной землѣ. Но типъ современнаго города—тотъ же: въ Мельбурнѣ, Гонгъ-Конгѣ, Калькуттѣ, такъ же какъ и въ Паревококшайскѣ не найдутъ они того, чего не находятъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Парижѣ, Нью-Іоркѣ и Лондонѣ. Ибо если нынче въ Паревококшайскѣ еще не осуществился современный культурный идеалъ (сѣть параллельныхъ проспектовъ), завтра этотъ "идеалъ" неизбѣжно станетъ дѣйствительностью.

Традъ, къ которому шелъ Толстой, котораго и мы такъ мучительно ищемъ, нынѣ невозможенъ на землѣ современной культуры, котя онъ быль бы возможенъ на землѣ культуры иной, отрицающей современность. И потому-то Толстой не сумѣлъ высказаться и какъ художникъ, и какъ проповѣдникъ, что землю этого Града онъ искалъ на одномъ уровнѣ съ современной культурой; ее же нужно искать либо надъ, либо подъ культурою этой. И поскольку Толстой распахивалъ свой клочокъ земли на черезполосицъ завтра культурой застроеннаго мѣста, всѣ слова его были вовсе не тѣми словами, которыя онъ хотѣлъ произнесть.

Онъ не понять одного: обреченности молчанія. Всѣ слова и всѣ смыслы, волновавшіе Толстого, современная культура и номенклатура расщепила на тысячи оттѣнковъ. Въ этомъ смыслѣ онъ говориль попросту—по-мужицки, по-дурацки: подлинный смыслъ его словъ и не можеть быть намъ понятенъ; исторія научила насъ превращаемости смысла всѣхъ терминовъ. Прежде субстанціей называли сущность всего; далѣе—она основа явленій; далѣе—этой основой оказалась матерія; а матерія оказалась силой; сила—энергіей. А что такое энергія? И теперь, когда слышимъ мы заявленія о субстанціональности чего бы то ни было, первое движеніе наше спросить, что разумѣеть подъ субстанціей нашъ собесѣдникъ. Если самый смысль термина расщепляемъ, то еще болѣе расщепились

въ многообразіи номенклатуръ всё простыя, человіческія слова. Всі современные споры происходять не по существу, да и не можемъ мы по существу спорить. Споры отъ взаимнаго непониманія номенклатуры. Два лагеря спорять о "Логоси". Одинь лагерь соединяеть съ Логосомъ одну реальность, другой—другую. Оба лагеря видять нереальность Логоса у противниковъ. Между всіми нами встала параллельность проспектовъ Вавилона современной культуры, согласно плану котораго я отділенъ навіжи глухою стіной отъ близъ меня проходящихъ теченій жизни. Идя по проспекту искусства, переживаю я въ сущности то же, что переживають параллельно шествующіе со мной братья. Но произнеси я вслухъ итоги моихъ исканій, тотъ итогъ облекается въ номенклатуру искусства; и глухая стіна отділяеть меня отъ мні подобныхъ.

И Толстой, не искушенный въ опыть номенклатуры, обращалъ слова свои къ разделенному міру сему. И разложенныя методологической призмой, его слова пріобрѣтали многосмысленный смысль. И онъ мучился многосмысліемъ изреченной правды своей, не понимая, что многосмысліе правды той исходило отъ него самого. Въ глубинъ своего индивидуальнаго опыта Левъ Толстой стоялъ на точкъ пересъченія путей, не понимая, что точка эта не имъетъ мъста въ современной культуръ. Современная культура опредъляла единую правду Толстого въ терминахъ многообразныхъ, методологическихъ правдъ. И съ точки зрѣнія этихъ правдъ она ставила Толстому каждое лыко въ строку. Съ точки зрвнія раціональности толстовскаго интеллекта ученіе о человічности (а не божественности) Христа конечно было для самого Толстого чвмъ-то периферичнымъ относительно несказуемаго переживанія его жизни во Христѣ. То, что онъ говорилъ о Богѣ, могло не быть подлиннымъ по отношенію къ тому, что онъ могъ внутренне знать. И вотъ Толстой отлучень отъ Церкви. То, что онъ говориль о искусствъ, не выражало и сотой доли подлиннаго его знанія о томъ, что такое искусство. И вотъ Толстой изгнанъ изъ проспекта современной эстетики. Также оказывался онъ изгоняемымъ отовсюду не поскольку онъ молчалъ, а поскольку говорилъ. Въ желаніи разсказать несказанное Толстой изгнань: туть онь - за предвломъ досягаемости. Но запредъльный современности и подлинный смыслъ мсканій Толстого, толстовскаго молчанія, роднить съ нимъ изгоевъ Bcero mipa.

Въ исканіи сокровеннаго послідняго соединенія мысли и чувства, віры и знанія мы всі запредільны по отношенію къ словамъ и діламъ міра сего. Міръ сей насъ не услышить. Не словами и проповідями, не философской, научной и общественной ділтельностью можемъ мы въ этомъ мірі сказаться, а въ реальномъ жесті ухода. И этотъ реальный жесть, это религіозное знаменье, единственно оправдывающее не только отказъ отъ искусства Толстого, но оправдывающее и его проповідническую ділтельность, есть уходъ.

Толстой ушель: кончина опустила занавѣсь надъ дальнѣйшей судьбой его странствія. Если бы уходъ этоть совершился десять лѣть назадъ, мы были бы свидѣтелями новаго цикла его исканій, и, какъ знать, можеть быть новыя судьбы грядущей культуры уже были бы намѣчены.

Странствіе не успокоеніє: всю жизнь странствоваль Левъ Толстой по прямолинейнымь стогнамь современной культуры и государства. Всюду останавливался онь на культурной черезполосиць. Всюду вносиль безпорядокъ и даже безчиніе на благоустроенныхъ стогнахъ цивилизаціи. А въ послѣдніе дни онъ пошель въ реальное странствіе. Если думалъ онъ найти мѣсто упокоенія за чертой современнаго Вавилона, того упокоенія онъ все равно не нашель бы. Пограничная черта современнаго Вавилона черта горизонта, ибо вся поверхность земного шара—Вавилонъ.

Въ христіанствъ имъемъ мы реальное воплощеніе всъхъ современныхъ синтетическихъ исканій: слово мудрости сочеталось съ плотію жизни въ личности Христа. Христосъ-точка высочайшаго, доступнаго человичеству синтеза. Но только въ этой единственной точкъ естественный историческій процессь сочетался съ надвременной правдой. Судьбы исторіи міровой преломились въ Христѣ: но самый ходъ исторіи, поскольку мы стоимъ внѣ пути совершенства, открываемаго Евангеліемъ, остался для насъ подчиненнымъ законамъ необходимости: въ этомъ смыслѣ божественность человъчества еще только загадана намъ. Эта загаданность богочеловъческаго процесса и есть запредъльная современной языческой мудрости точка пересъченія культурныхъ путей: съ точки зрѣнія естественнаго хода исторіи не можетъ быть рѣчи о христіанскомъ искусствъ, какъ не можетъ быть ръчи о христіанской наукъ, общественности, философіи. Христіанство — въ Христъ; христіанство—въ таинственно передаваемой благодати таинствъ.

Церковь, какъ хранительница той благодати, обращена къ религіознымъ глубинамъ къ ней припадающихъ личностей, а некъ оффиціальной ихъ суммѣ, представленной въ государствѣ, какъ община. Церковь въ этомъ смыслѣ запредѣльна государству, какъ запредѣльна она какой бы то ни было общественности. Коллективное тѣло Церкви есть какое угодно туло, оно не есть тело физическое: пусть будеть позволено мнв сказать, что тёло Церкви входить въ физическое тёло жизни, астральное человъческое тьло невидимо вливается какъ нашу осязаемую трехмърную плоть. Всв же храмы, обряды, и внъщніе признаки Церкви, поскольку они обращены не къ интимнымъ глубинамъ личности, а къ видимому союзу лицъ--только подобія и прообразы невидимо протекающей въ насъ церковной плоти. Говорить о нереальности, нетёлесности такой Перкви на основаніи ея физической неосязаемости астральное тело есть подлинное тело; между темь такое тело невидимо. Всякое воплощеніе-въ перенесеніи центра сознанія, пресуществляющаго усиліемъ воли матерію въ иное состояніе; твлесное въ нашемъ смыслв иллюзорно въ смыслв иной (напр., астральной) телесности. Изъ этого явствуеть, что реализація церковной общественной плоти въ современномъ намъ человъчествъ заключается въ умѣніи сперва узръть общественную связь подлинно върующихъ въ астралъ, и далъе какъ бы реально сумъть переплавить земляную косность отдёльныхъ организмовъ въ высшемъ телесномъ планъ: не умирая, зажить соборною жизнью во вновь открывшемся измереніи. И вовсе эта задача не въ томъ, чтобы заполонить церковнымъ приходомъ искусство, науку и философію, искони языческихъ; синтезомъ языческихъ дисциплинъ и является государство. Наша задача не въ томъ, чтобы христіанизировать государство (увы, безуспѣшная попытка осуществить христіанское государство привела къ полному банкротству), но въ томъ, чтобы въ точкѣ запредѣльной всякому государству (а этой точкой и является точка всемірнаго синтеза) выйти изъ государства. При насильственномъ смѣшеніи Церкви и государства, государство являетъ Церкви всв виды своего звъринаго лика (ибо Церковь не можеть не быть для него только фикціей, въ худшемъ случав средствомъ); Церковь же не можетъ не накладывать на государство свою невидимую, и оттого насилующую десницу. Не въ изнасилованіи современной государственной культуры приходомъ, или обратно—смысль и цёль подлиннаго церковнаго развитія, а въ умѣніи найти выходъ для жизни въ какое-то для государства невидимое измѣреніе. Какъ скоро общественные символы этого измѣренія опредѣляются въ видимой Церкви, и далѣе: опредѣляются въ Церкви синодальной, символы эти становятся черезполосицей и только черезполосицей. Церковь всего міра, о которой такъ косноязычно и неканонично заговаривалъ Левъ Толстой, является антигосударственной пропагандой для современнаго Вавилона; для синодальнаго же сознанія такая Церковь есть секта. Оба сознанія (государственное и синодальное) правы, называя Толстого сектантомъ и анархистомъ, потому что Толстой начиналъ религіозно распахивать землю Церкви тамъ, гдѣ завтра встанутъ параллели проспектовъ единаго, по существу антирелигіознаго, Града. Черезполосица!

Какъ только мы проведемъ отчетливую границу между подлиннымъ тъломъ Церкви и ея формальной оправой, обращенной къ государству, мы проводимъ вмёстё съ тёмъ и рёзкую грань между последними устремленіями нашей души и формальной работой всего трехмърнаго человъчества, направленной къ осуществлению болъе близкихъ, грубо осязаемыхъ цёлей. Сочетаемы ли цёли эти съ последней религіозной целью: этоть вопрось есть вопрось о пересвченіи параллельныхъ линій въ безконечности. По Эвклиду линіи эти не пересѣкаются вовсе. По Лобачевскому-пересѣкаются. Въ первомъ случав многодробная іерархія непересвкающихся, арелигіозныхъ цінностей современной государственной культуры ведетъ прочь отъ иной культуры, религіозной: на ней не можетъ не лежать антихристовой печати. И потому-то безцёльна открытая борьба съ современной культурой; и приверженцы иной культуры должны бъжать въ катакомбы, ибо въ градъ въка сего они какъ въ тюрьмѣ; дѣятельность ихъ уподобляется безцѣльному потрясанію тюремной рішетки, собирающей лишь толпу праздныхъ зъвакъ. Дънтельность эта для дътей выка сего лишь скандалъ въ благоустроенномъ городъ. Если же многодробная іерархія нынъ раздільных цінностей -- лишь подножіе иного религіознаго, единаго пути, преждевременно говорить о последнихъ судьбахъ культуры, когда предпоследнія судьбы ея еще представляють массивы невыведенныхъ стѣнъ; преждевременно покрывая тѣ стѣны религіознымъ куполомъ, не приближаемся мы, наоборотъ, удаляемся отъ истоковъ подлинной христіанской культуры: кормчимъ современной культуры, держащимъ путь въ Виелеемъ, некогда впадать у руля корабля въ религіозные экстазы; рулевые, страдающіе экстазами, не могутъ быть рулевыми: иначе корабль, управляемый ими, преждевременно сядетъ на мель.

Въ современной, по существу внърелигіозной, культуръ мы встръчаемь людей какъ религіознаго, такъ и внърелигіознаго сознанія: какъ для тѣхъ, такъ и для другихъ условіемъ плодотворности ихъ текущей, такъ сказать предварительной работы, есть кропотливое изученіе деталей ими выбраннаго пути. Въ этой работъ они ни религіозны, ни нерелигіозны: стѣны все той же необходимой тюрьмы ограничиваютъ ихъ кругозоръ. И потому-то религіозное нападеніе на работниковъ, пролагающихъ пути современной культуры, будь они учеными, философами, поэтами или общественными дѣятелями, есть всегда нападеніс съ негодными средствами: кромъ того оно предполагаетъ непомѣрную, себялюбивую гордыню со стороны нападающихъ. Занесенный надъ головою культуры кресть въ такомъ случаѣ не отличается отъ дикарскаго томагавка.

Въ исторіи культуры видимъ мы только рядъ невообразимыхъ смѣщеній; и первые вѣка христіанства составляють для насъ, пожалуй, единственное исключеніе. Сверху господствоваль Римъ; а подъ Римомъ — катакомба; въ катакомбахъ протекала подлинная религіозная жизнь. На поверхности же земли мы встрічаемъ тогда ньмой символь, рыбу и все краснорьчіе аристотелевой мудрости. Аристотель господствоваль въ мірп семь, а Христось — въ катакомбъ. Далъе видимъ мы какъ разъ обратное. Христіане поднимаются изъ катакомбъ, поселяются въ роскошныхъ языческихъ виллахъ, а гонимые язычники опускаются въ катакомбу: въ результать многократныхъ перемъщеній мы имьемъ не союзь государства и Церкви, основанный на разграниченіи сферъ вліянія: не дальнъйшее процвътание Аристотелей и Софокловъ культуры параллельно съ катакомбой, покрывающей подземную глубину нашей жизни. Нътъ, мы встръчаемся съ печальнымъ явленіемъ: досель молчаливый пустынникъ начинаетъ состязаться съ Аристотелемъ; Аристотель же объясняеть намъ тайны иныхъ міровъ. Въ результатѣ мы утериваемъ и все достигнутое религіозно, и все, дости-

гнутое культурно. Рушится видимый храмъ язычества—Серапеумъ. Вмъсть съ тьмъ рушится новидимый христіанскій храмъ. Повсемѣстное паденіе культуры и религи, государства и Церкви есть источникъ повсемъстнаго раздраженія и борьбы за культуру и иерковь. "Кесарево кесарю, а Божіе Богу" такъ училь насъ Спаситель. Нътъ: одни говорятъ: "Кесарево кесарю, и Божіе-кесарю". И исканіе послідняго смысла жизни превращается въ культурный скандаль. А другіе имъ отвінають: "И кесарево Богу, и Божье Богу". И съ вершины теократическихъ, къ жизни неприспособленныхъ утопій, снова, снова и снова по античной статув Аполлона раздается ударъ томагавка-креста. И отъ этого смешенья государство принимаеть образь разъяреннаго звъря, а культуръ грозить босоногій, волосами обросшій и косноязычный монахь. Между звъремъ и варваромъ оказывается невозможной никакая дъятельность, опускаются руки, надрываются силы. И когда съ отвращеніемъ отстраняешься отъ неистовой руки варвара, вдругъ испуганно останавливаенься, вспомнивъ, что въ рукѣ варвара крестъ. А когда тебя настигаетъ смѣщокъ современнаго культуртрегера смѣшокъ о томъ, что искусство, наука и философія лишь зубочистки цивилизаціи, и ты, возмущенный цинизмомъ, убѣгаешь къ протянутому кресту, снова и снова ты останавливаешься у креста, потому что сперва тебѣ подставляють десницу для поцѣлуя.

"На фракт не молятся, крестом не дерутся", эту простую истину приходится теперь съ утра до ночи повторять. Но словами не остановить построенія храмовъ идолу пошлости; словами не остановить донъ-Кихотовъ, размахивающихъ крестомъ.

Провокація встрѣчаеть нась на всѣхъ путяхъ нашей жизни; провокація лежить часто въ самомъ существѣ высказываемыхъ словъ.

Дважды пытался Толстой говорить противоположными словами: языкъ образовъ онъ смѣнилъ на языкъ проповѣди. Проповѣдуя образами, создалъ онъ для себя иерезполосицу мыслей; упорядочивая вслухъ эти мысли, онъ создалъ иерезполосицу для другихъ. Оставляя одну неправду, создавалъ онъ другую неправду; наконецъ сумѣлъ онъ съ себя стряхнуть обѣ неправды, уйдя отъ всякихъ словесныхъ смѣшеній.

Его уходъ изъ синодальной Церкви, культуры, государства, искусства, общественности есть уходъ изъ *міра сего* одного изъ

величайшихъ сыновъ сего міра. Если онъ не смогъ одолѣть міръ ни словомъ, ни творчествомъ, какъ же намъ одолѣть обступившую насъ ночь.

Но въ томъ, что онъ тронулся съ мѣста, для насъ есть величайшее знаменье: стало быть есть мѣсто, куда можно уйти.

Если ночь обступаеть нась всёми ужасами своими, если мы безпомощны въ этой ночи, всемъ усиліемъ воли своей мы должны создавать катакомбы, гдё могли бы мы себя чувствовать въ безопасности, гдё бы насъ озаряль безпрепятственно блескъ лампадки.

Итакъ все то, что является черезполосицей нашей жизни, мы должны превратить въ подлинный катакомбный ходъ. Бѣгство Толстого изъ міра есть единственное реальное поученіе его намъ. Но куда изъ міра уйдешь, если нѣтъ катакомбы. Но, нѣтъ: катакомба есть у каждаго изъ насъ: ее нужно только сознать, расширить, превратить въ мѣсто встрѣчи: вѣдь и такъ мы — изгои: ни здѣсь, ни тамъ: ни въ языческой современности, ни въ далекомъ и угасающемъ прошломъ, ни въ слѣпительномъ будущемъ.

Ты пойми, мы ни здёсь, ни туть: Наше дёло такое бездомное. Пётухи—поють, поють, Но лицо небесь еще темное.

Ницие, Толстой, Вл. Соловьевъ, Мережковскій и многіе другіе, имъ подобные, независимо отъ разности ихъ міровоззрѣній, насквозь проникнуты мыслью о безуміи и ужась современности. Ницше проклинаеть современность, Толстой устраиваеть забастовку своимъ глухимъ молчаніемъ въ "Ясной Полянъ", Вл. Соловьевъ носится со своей утопіей теократіи, разочаровавшись въ которой, предвидить скорый конець всего, Мережковскій безпочвенно примиряетъ непримиримое: всё они — князья удёловъ подлинной культуры: и какъ смёшны они въ полемике другь съ другомъ, предъ лицомъ одинаково ихъ всёхъ непонимающей современности. И пока они разсказывають толив о ими увиденныхъ Светлыхъ Обителяхъ будущаго, эта толпа, считая себя обманутой ими, изгоняеть ихъ за черту досягаемости. Разъединенные, порознь гибнутъ удёльные князья арійской культуры, сраженные злыми стрёлами ихъ обступающихъ варваровъ.

Неужели и мы, малые, слабые, послѣдуемъ ихъ примѣру, расточая силы свои

въ умныхъ Громкихъ разговорахъ И безплодно шумныхъ Безконечныхъ спорахъ.

Не лучше ли намъ оставить этотъ споръ славянъ между собою,—
вопросъ, котораю не разръшатъ "они", не лучше ли намъ, послѣдовавъ примѣру Толстого, отряхнуть отъ послѣднихъ словъ
нашихъ прахъ Вавилона, чтобы въ тѣхъ послѣднихъ словахъ по
новому встрѣтиться... за его предѣлами. Тамъ, въ міръ семъ, протечетъ некрикливая скромная наша работа, озаренная молитвеннымъ свъточемъ катакомбы.

Андрей Бълый.

## Ветхій и Новый Завътъ въ религіозномъ сознаніи Л. Толстого.

О Львъ Толстомъ писали очень много, слишкомъ много. Можетъ показаться притязательнымъ желаніе сказать о немъ новое. И все-же нужно признать, что религіозное сознаніе Л. Толстого не было подвергнуто достаточно углубленному изследованию, мало было оцъниваемо по существу, независимо отъ утилитарныхъ точекъ зрвнія, отъ полезности для цвлей либерально-радикальныхъ или консервативно-реакціонныхъ. Одни съ утилитарно-тактическими цѣлями восхваляли Л. Толстого, какъ истиннаго христіанина, другіе, неръдко съ столь же утилитарно-тактическими цълями, анаоематствовали его, какъ слугу антихриста. Толстымъ пользовались въ такихъ случаяхъ какъ средствомъ для своихъ цёлей, и тёмъ оскорбляли геніальнаго человіка. Особенно подверглась оскорбленію память о немъ послѣ его смерти, сама смерть его была превращена въ утилитарное орудіе. Жизнь Л. Толстого, его исканія, его бунтующая критика-явленіе великое, міровое; оно требуеть оцінки sub specie въчной цънности, а не временной полезности. Мы хотели бы, чтобы религія Льва Толстого была подвергнута изследованію и оцінена безотносительно къ счетамъ Толстого съ правящими сферами и безотносительно къ распрѣ русской интеллиген ціи съ Церковью. Мы не хотимъ, подобно многимъ изъ интеллигенціи, признавать Л. Толстого истиннымъ христіаниномъ именно потому, что онъ былъ отлученъ отъ Церкви св. Синодомъ, такъ этой же причинъ видъть въ Толстомъ же какъ не хотимъ по слугу дьявола. Насъ интересуеть по существу, только

ли Л. Толстой христіаниномъ, какъ онъ относился къ Христу, какова природа его религіознаго сознанія? Утилитаризмъ клерикальный и утилитаризмъ интеллигентскій намъ одинаково чужды и одинаково мѣшаютъ понять и оцѣнить религіозное сознаніе Толстого. Изъ обширной литературы объ Л. Толстомъ нужно выдѣлить очень замѣчательный и очень цѣнный трудъ Д. С. Мережковскаго "Л. Толстой и Достоевскій", въ которомъ впервые по существу были изслѣдованы религіозная стихія и религіозное сознаніе Л. Толстого и вскрыто язычество Толстого. Правда, Мережковскій слишкомъ пользовался Толстымъ для проведенія своей религіозной концепціи, но это не помѣшало ему сказать правду о религіи Толстого, которую не затемнять позднѣйшія утилитарнотактическія статьи Мережковскаго о Толстомъ. Все-же работа Мережковскаго остается единственной для оцѣнки религіи Толстого 1).

Прежде всего нужно сказать о Л. Толстомъ, что онъ — геніальный художникъ и геніальная личность, но онъ не геніальный и даже не даровитый религіозный мыслитель. Ему не дано было дара выраженія въ словь, изреченія своей религіозной жизни, своего религіознаго исканія. Въ немъ бушевала могучая религіозная стихія, но она была безсловесной. Геніальныя религіозныя переживанія и недаровитыя, банальныя религіозныя мысли! Всякая попытка Толстого выразить въ словъ, логизировать свою религіозную стихію порождала лишь банальныя, сфрыя мысли. Въ сущности Толстой перваго періода, до переворота, и Толстой второго періода, послѣ переворота, одинъ и тотъ же Толстой. Міровоззрвніе юноши Толстого было банально, онъ все хотвлъ "быть, какъ всв". И міровоззрвніе геніальнаго мужа Толстого такъ же банально, онъ такъ же хочетъ "быть, какъ всв". Разница лишь въ томъ, что въ первый періодъ "всв" — это свътское общество, а во второй періодъ "всв"--это мужики, трудящійся народъ. И въ теченіе всей своей жизни банально мыслившій Л. Толстой, желавшій уподобиться свётскимь людямь или мужикамь, не только не быль какъ всв, но быль какъ никто, быль единственнымъ, быль геніемъ. И всегда были чужды этому генію религія Логоса и философія Логоса, всегда религіозная стихія его оставалась без-

<sup>1)</sup> Психологически цённое о Толстомъ можно найти также въ книгѣ Л. Шестова "Идея добра въ ученіи гр. Толстого и Фр. Ницше".

словесной, невыраженной въ Словъ, въ сознаніи. Л. Толстой—исключительно оригиналенъ и геніаленъ, и онъ же исключительно баналенъ и ограниченъ. Въ этомъ бьющая въ глаза антиномичность Толстого.

Съ одной стороны Л. Толстой поражаеть своей органической свътскостью, своей исключительной принадлежностью къ дворянскому быту. Въ "Детстве, отрочестве и юности" обнаруживаются истоки Л. Толстого, его свътское тщеславіе, его идеаль человъка comme il faut. Эта закваска была въ Толстомъ. По "Войнъ и миру" и "Аннъ Карениной" видно, какъ близка была его природъ свътская табель о рангахъ, обычаи и предразсудки свъта, какъ онъ зналъ всѣ изгибы этого особаго міра, какъ трудно казалось ему побёдить эту стихію. Онъ жаждаль уйти изъ свётскаго круга къ природъ ("Казаки") какъ человъкъ слишкомъ связанный съ этимъ кругомъ. Въ Толстомъ чувствуется вся тяжесть свъта, дворянскаго быта, вся сила жизненнаго закона тяготёнія, притяженія къ землъ. Въ немъ нътъ воздушности, легкости. Онъ хочетъ быть странникомъ и не можетъ быть странникомъ, не можетъ стать имъ до последнихъ дней своей жизни, прикованный къ семье, къ роду, къ усадьбъ, къ своему кругу. Съ другой стороны тотъ же Толстой съ небывалой силой отрицанія и геніальностью возстаеть противъ "свъта", не только въ узкомъ, но и въ щирокомъ смыслѣ слова, противъ безбожія и нигилизма не только всего дворянскаго общества, но и всего "культурнаго" общества. Его бунтующая критика переходить въ отрицаніе всей исторіи, всей культуры. Онъ, — съ детскихъ леть проникнутый светскимъ тщеславіемъ и условностью, поклонявшійся идеалу "comme il faut" и "быть, какъ всв", — онъ не зналъ пощады въ бичеваніи лжи, которой живеть общество, въ срываніи покрововь со всёхъ условностей. Черезъ толстовское отрицаніе должны пройти дворянское, свътское общество и господскіе классы, чтобы очиститься. Толстовское отрицаніе остается великой правдой для этого общества. А вотъ еще толстовская антиномія. Съ одной стороны поражаеть своеобразный матеріализмъ Толстого, его апологія животной жизни, его исключительное проникновеніе въ жизнь душевнаго тёла и чуждость его жизни духа. Этотъ животный матеріализмъ чувствуется не только въ его художественномъ творчествъ, гдъ онъ обнаруживаетъ исключительно геніальный даръ проникновенія въ первич-

ныя стихіи жизни, въ животные и растительные процессы жизни 1), но и въ его религіозно-правственной проповѣди. Л. Толстой проповёдуеть возвышенный, моралистическій матеріализмъ, животно-растительное счастіе какъ осуществленіе высшаго, божественнаго закона жизни. Когда онъ говоритъ о счастливой жизни, нъть ни одного звука у него, который хотя бы намекнуль на жизнь духовную. Есть только жизнь душевная, душевно-тёлесная. И тоть же Л. Толстой оказывается сторонникомъ крайней духовности, отрицаетъ плоть, проповъдуетъ аскетизмъ. Его религіознонравственное ученіе оказывается какимъ-то небывалымъ и невозможнымъ, возвышенно-моралистическимъ аскетическимъ И матеріализмомъ, какой-то спиритуалистической животностью. Сознаніе его задавлено и ограничено дущевно-тілеснымъ планомъ бытія и не можеть прорваться въ царство духа.

И еще толстовская антиномія. Во всемъ и всегда поражаеть Л. Толстой своей трезвостью, разсудочностью, практицизмомъ, утилитаризмомъ, отсутствіемъ поэзіи и мечты, непониманіемъ красоты и нелюбовью, переходящей въ гоненіе на красоту. И этотъ непоэтическій, трезво-утилитарный гонитель красоты быль однимъ изъ величайшихъ художниковъ міра; отрицавшій красоту оставилъ намъ творенія вѣчной красоты. Эстетическое варварство и грубость соединялись съ художественной геніальностью. Не менже антиномично и то, что Л. Толстой быль крайнимъ индивидуалистомъ, антиобщественнымъ настолько, что никогда не понималъ общественныхъ формъ борьбы со зломъ и общественныхъ формъ творческаго созиданія жизни и культуры, что отрицаль исторію, и этоть антиобщественный индивидуалисть не чувствоваль личности и, въ сущности, отрицалъ личность, весь былъ въ стихіи рода. Мы увидимъ даже, что съ отсутствіемъ ощущенія и сознанія личности связаны коренныя особенности его міроощущенія и міросознанія. Крайній индивидуалисть въ "Войні и мирів" съ восторгомъ показалъ міру дітскую пеленку, запачканную въ зеленое и желтое, и обнаружиль, что самосознаніе личности не побідило въ немъ еще родовой стихіи. А не антиномично-ли то, что отрицаеть міръ и міровыя цінности съ невиданной дерзостью и ради-

<sup>1)</sup> Мережковскій даже назваль Л. Толстого "ясновидцемь плоти". Вь этомъ есть большая правда, котя само выраженіе носить слёды ограниченной схемы Мережковскаго. Я бы предпочель сказать, что Толстой ясновидець душевно-ть-лесной сферы бытія.

кализмомъ тотъ, кто весь прикованъ къ имманентному міру и не можеть даже въ воображении представить себъ міръ иной? Не антиномично-ли, что человѣкъ полный страстей, гнѣвный до того, что, когда у него въ имѣніи сдѣлали обыскъ, онъ пришелъ въ бъщенство, требоваль, чтобы это дъло доложили Государю, чтобы ему дали общественное удовлетвореніе, грозиль навсегда покинуть Россію, что человікь этоть проповідываль вегетаріанскій, малокровный идеалъ непротивленія злу? Не антиномично-ли, что русскій до мозга костей, съ національнымъ мужицко-барскимъ лицомъ, онъ проповъдывалъ чуждую русскому народу англо-саксонскую религіозность? Этоть геніальный человѣкь всю жизнь искаль смысла жизни, думаль о смерти, не зналь удовлетворенія, и онъ же быль почти лишень чувства и сознанія трансцендентнаго, быль ограниченъ кругозоромъ имманентнаго міра. Наконецъ, самая ратолстовская антиномія: проповѣдникъ зительная христіанства, исключительно занятый Евангеліемъ и ученіемъ Христа, онъ былъ до того чуждъ религіи Христа, какъ мало кто быль чуждъ послѣ явленія Христа, быль лишень всякаго чувствованія личности Христа. Эта поражающая, непостижимая антиномичность Л. Толстого, на которую недостаточно было еще обращено внимание, есть тайна его геніальной личности, тайна судьбы его, которая не можеть быть вполнѣ разгадана. Гипнозъ толстовской простоты, почти библейскій стиль его прикрывають эту антиномичность, создають иллюзію цѣльности и ясности. Л. Толстому суждено сыграть большую роль въ религіозномъ возрожденіи Россіи и всего міра: онъ съ геніальной силой обратиль современныхъ людей вновь къ религіи и религіозному смыслу жизни, онъ обозначилъ собой кризисъ историческаго христіанства, онъ-слабый, немощный релнгіозный мыслитель, по стихіи своей и сознанію чуждый тайнамъ религіи Христа, онъ-раціоналисть. Раціоналисть этоть, пропов'яникъ разсудочно-утилитарнаго благополучія потребоваль отъ христіанскаго міра безумія во имя последовательнаго исполненія ученія и запов'єдей Христа и заставиль христіанскій мірь задуматься надъ своей нехристіанской, полной лжи и лицемфрія жизнью. Онъстрашный врагь христіанства и предтеча христіанскаго возрожденія. На геніальной личности и жизни Льва Толстого лежить печать какой-то особой миссіи.

Міроощущеніе и міросознаніе Льва Толстого вполив вивхристіанское и дохристіанское во всѣ періоды его жизни. Это нужно рѣшительно сказать, не считаясь ни съ какими утилитарными соображеніями. Великій геній прежде всего требуеть, чтобы о немъ была сказана правда по существу. Л. Толстой весь въ Ветхомъ Завътъ, въ язычествъ, въ Отчей Упостаси. Религія Толстого-не новое христіанство, это — ветхозавѣтная, дохристіанская религія, предшествующая христіанскому откровенію о личности, откровенію второй, Сыновней Упостаси. Л. Толстому такъ чуждо самосознаніе личности, какъ могло быть чуждо лишь человіку дохристіанской эпохи. Онъ не чувствуетъ единственности и неповторяемости всякаго лица и тайны въчной его судьбы. Для него существуетъ лишь міровая душа, а не отдёльная личность, онъ живетъ въ стихіи рода, а не въ сознаніи личности. Стихія рода, природная душа міра раскрывалась въ Ветхомъ Завѣтѣ и язычествѣ, и съ ними связана религія дохристіанскаго откровенія Отчей Упостаси. Съ христіанскимъ откровеніемъ Сыновней Упостаси, Логоса, Личности связано самосознаніе лица и его вѣчная судьба. Всякое лицо религіозно пребываеть въ мистической атмосферѣ Сыновней Упостаси, Христа Личности. До Христа въ глубокомъ, религіозномъ смыслѣ слова нѣтъ еще личности. Личность окончательно сознаетъ себя лишь въ религіи Христа. Трагедія личной судьбы вѣдома лишь христіанской эпохѣ. Л. Толстой совсѣмъ не чувствуеть христіанской проблемы о личности, онъ не видить лица, лицо тонеть для него въ природной душѣ міра. Поэтому онъ не чувствуеть и не видить лица Христа. Кто не видить никакого лица, тотъ не видитъ и лица Христа, ибо поистинъ во Христъ, въ Его Сыновней Упостаси всякое лицо пребываеть и сознаеть себя. Само сознаніе лица связано съ Логосомъ, а не съ душой міра. У Л. Толстого нътъ Логоса и потому нътъ для него личности, для него-индивидуалиста. Да и всв индивидуалисты, не знающе Логоса, не знають личности, ихъ индивидуализмъ безликій, въ природной душь міра пребываеть. Мы увидимь, какь чуждь Толстому Логосъ, какъ чуждъ ему Христосъ, онъ не врагъ Христа-Логоса въ христіанскую эпоху, онъ просто слівпь и глухь, онъ въ дохристіанской эпохів. Л. Толстой-космичень, онь весь въ душів міра, въ тварной природѣ, онъ проникаетъ въ глубину ея стихій, первичныхъ стихій. Въ этомъ сила Толстого какъ художника, сила несворникъ.

бывалая. И какъ отличается онъ отъ Достоевскаго, который былъ антропологиченъ, весь былъ въ Логосъ, довелъ самосознание личности и ея судьбы до крайнихъ предвловъ, до бользни. Съ антропологизмомъ Достоевскаго, съ напряженнымъ чувствомъ личности и ея трагедіи связано его необыкновенное чувство личности Христа, его почти изступленная любовь къ Лику Христову. У Достоевскаго было интимное отношеніе къ Христу, у Толстого нѣтъ никакого отношенія къ Христу, къ Самому Христу. Для Толстого существуеть не Христосъ, а лишь ученіе Христа, запов'єди Христа. "Язычникъ" Гете чувствовалъ Христа гораздо интимнъе, гораздо лучше видёль Ликъ Христа, чёмъ Толстой. Ликъ Христовъ заслоняется для Л. Толстого чёмъ-то безличнымъ, стихійнымъ, общимъ. Онъ слышитъ заповѣди Христа и не слышитъ Самого Христа. Онъ не въ силахъ понять, что единственно важенъ Самъ Христосъ, что спасаетъ лишь Его таинственная и близкая намъ Личность. Ему чуждо, инородно христіанское откровеніе о Личности Христа и о всякой Личности. Онъ принимаетъ христіанство безлично, отвлеченно, безъ Христа, безъ всякаго лика.

Л. Толстой, какъ никто и никогда еще, жаждалъ исполнить до конца волю Отца. Всю жизнь мучила его пожирающая жажда исполнить законъ жизни Хозяина, пославшаго его въ жизнь. Такой жажды исполненія заповѣди, закона ни у кого нельзя встрѣтить, кром' Толстого. Это главное, коренное въ немъ. И Л. Толстой върилъ, какъ никто и никогда, что волю Отца легко исполнить до конца, онъ не хотёль признать трудности исполненія запов'єдей. Челов'єкъ самъ, собственными силами долженъ и можетъ исполнить волю Отца. Легко это исполнение, оно даетъ счастье и благополучіе. Заповёдь, законъ жизни исполняется исключительно въ отношеніи человѣка къ Отцу, въ религіозной атмосферѣ Отчей Vпостаси. Л. Толстой хочеть исполнить волю Отца не черезъ Сына, онъ не знаеть Сына и не нуждается въ Сынъ. Религіозная атмосфера богосыновства, Сыновней Упостаси не нужна Толстому для исполненія воли Отца: онъ самъ, самъ исполнить волю Отца, самъ можетъ. Толстой считаетъ безнравственнымъ, когда волю Отца признають возможнымь исполнить лишь черезъ Сына, Искупителя и Спасителя, онъ относится съ отвращениемъ къ идей искупленія и спасенія, т. е. относится съ отвращеніемъ не къ Іисусу изъ Назарета, а къ Христу-Логосу, принесшему себя въ

жертву за грѣхи міра. Религія Л. Толстого хочеть знать лишь Отда и не хочеть знать Сына; Сынь мѣшаеть ему выполнить собственными силами законъ Отца. Л. Толстой последовательно исповедуеть религію закона, религію ветхозаветную. Религія благодати, религія новозавътная ему чужда и неизвъстна. Ужъ скоръе Толстой буддисть, чёмъ христіанинъ. Буддизмъ есть религія самоспасенія какъ и религія Толстого. Буддизмъ не знаеть личности Бога, личности Спасителя и личности спасаэмаго. Буддизмъ есть религія состраданія, а не любви. Многіе говорять, что Толстой истинный христіанинъ, и противопоставляють его лживымъ и лицемърнымъ христіанамъ, которыми полонъ міръ. Но существованіе лживыхъ и лицемърныхъ христіанъ, творящихъ дъла ненависти вивсто двль любви, не оправдываеть злоупотребленія словами, игры словами, порождающими ложь. Нельзя назвать христіаниномъ того, кому была чужда и отвратительна сама идея искупленія, сама нужда въ Спасителъ, т. с. чужда и отвратительна была идея Христа. Такой вражды къ идев искупленія, такого бичеванія ея, какъ безиравственной, не зналъ еще христіанскій міръ. Въ Л. Толстомъ встхозавѣтная религія закона возстала противъ новозавѣтной религіи благодати, противъ тайны искупленія. Л. Толстой хотьль превратить христіанство въ религію правила, закона, моральной заповёди, т. е. въ религію ветхозавётную, дохристіанскую, не въдающую благодати, въ религію не только не въдающую искупленія, но и не жаждующую искупленія, какъ жаждаль его міръ языческій въ послідніе дни свои. Толстой говорить, что лучше было бы, если бы совствить не существовало христіанства какт религіи искупленія и спасенія, что тогда легче было бы исполнить волю Отда. Всѣ религіи, по его мнѣнію, лучше религіи Христа-Сына Божьяго, такъ какъ всё онё учать, какъ жить, дають законъ, правило, заповъдь; религія же спасенія переносить все съ человѣка на Спасителя и на мистерію искупленія. Л. Толстой ненавидить церковные догматы потому, что хочеть религи самоспасенія какъ единственно-нравственной, единственно выполняющей волю Отца, Его законъ; догматы же эти говорять о спасеніи черезъ Спасителя, черезъ Его искупительную жертву. Для Толстого единоспасительны заповёди Христа, выполняемыя человёкомъ его собственными силами. Эти заповъди и есть воля Отца. Христосъ, сказавшій о себь: "Я есмь путь, истина и жизнь" —

Толстому совсёмъ не нуженъ, онъ не только хочетъ обойтись безъ Христа-Спасителя, но считаетъ безнравственнымъ всякое обращение къ Спасителю, всякую помощь въ исполнении воли Отца. Для него не существуетъ Сына, существуетъ только Отецъ, т. е. значитъ онъ весь въ Ветхомъ Завѣтѣ и не знаетъ Новаго Завѣта.

Л. Толстому кажется легкимъ исполнить до конца, собственными силами, законъ Отца потому, что онъ не чувствуетъ и не знаетъ зла и грѣха. Не въдаетъ ирраціональной стихіи зла и потому ненужно ему искупленіе, не хочеть знать онь Искупителя. На зло-Толстой смотрить раціоналистически, сократически, въ злі видить незнаніе, лишь недостатокъ разумнаго сознанія, почти чтонедоразумвніе; онъ отрицаеть бездонную и ирраціональную тайну зла, связанную съ бездонной и ирраціональной тайной свободы. Сознавшій законъ добра по Толстому уже въ силу одного этого сознанія пожелаеть его исполнить. Зло дёлаеть лишь лишенный сознанія. Зло коренится не въ ирраціональной волѣ и не въ ирраціональной свободь, а въ отсутствіи разумнаго сознанія, въ невъдъніи. Нельзя дълать зло, если знаешь, что такое добро. Человъческая природа естественно благостна, безгръшна и дълаетъ злолишь по невъдънію закона. Добро есть разумное. Это особенно подчеркиваеть Толстой. Зло дёлать глупо, нёть расчета дёлать зло, лишь добро ведеть къ жизненному благополучію, къ счастью. Ясно, что на добро и зло Толстой смотрить такъ, какъ смотрвлъ Сократъ, т. е. раціоналистически, отождествляя добро съ разумнымъ, а зло съ неразумнымъ. Разумное сознаніе закона, даннаго Отцомъ, приведеть къ окончательному торжеству добра и устраненію зла. Легко и радостно произойдеть это, собственными силами человъка. совершится. Л. Толстой, какъ никто, бичуетъ зло и ложь жизни и призываетъ къ моральному максимализму, къ немедленному и окончательному осуществленію добра во всемъ. Но его моральный максимализмъ въ отношеніи къ жизни именно и связанъ съ невѣдъніемъ зла. Онъ съ наивностью, заключающей въ себъ геніальный гипнозъ, не хочетъ знать силу зла, трудность его преодолънія, ирраціональную трагедію, съ нимъ связанную. На поверхностный взглядъ можеть показаться, что именно Л. Толстой лучше другихъ видълъ зло жизни, глубже другихъ вскрывалъ его. Но этообманъ зрвнія. Толстой видвль, что люди не исполняють воли:

Отца, пославшаго ихъ въ жизнь, ему люди представлялись ходящими во тьмѣ, такъ какъ они живуть по закону міра, а не по закону Отца, Котораго не сознають; люди казались ему неразумными и безумными. Но зла онъ никакого не видѣлъ. Если бы онъ увидъль зло и постигь тайну его, то онь никогда бы уже не сказалъ, что легко исполнить до конца волю Отца природными силами человъка, что добро можно побъдить безъ искупленія зла. Толстой не видёль грёха, грёхь быль для него лишь незнаніемь, лишь слабостью разумнаго сознанія закона Отца. Не зналь грѣха, не зналъ и искупленія. Отъ наивнаго невѣдѣнія зла и грѣха проистекаеть и толстовское отрицание тяготы всемірной исторіи, толстовскій максимализмъ. Туть мы вновь приходимъ къ тому, что уже говорили, съ чего начали. Л. Толстой не видитъ зла и грѣха потому, что не видить личности. Сознаніе зла и грѣха связано съ сознаніемъ личности, и самость личности сознается въ связи съ сознаніемъ зла и грѣха, въ связи съ противленіемъ личности природнымъ стихіямъ, съ постановкой границъ. Отсутствіе личнаго самосознанія въ Толстомъ и есть въ немъ отсутствіе сознанія зла и гръха. Онъ не знаетъ трагедіи личности—трагедіи зла и гръха. Зло непобъдимо сознаніемъ, разумомъ, оно бездонно глубоко заложено въ человѣкѣ. Человѣческая природа не добрая, а падшая природа, человъческій разумъ-падшій разумъ. Нужна мистерія искупленія, чтобы зло было побъждено. А у Толстого быль какойто натуралистическій оптимизмъ.

Л. Толстой, бунтующій противъ всего общества, противъ всей культуры, пришель къ крайнему оптимизму, отрицающему испорченность и грѣховность природы. Толстой вѣритъ, что Богъ самъ осуществляетъ добро въ мірѣ и что только не нужно противиться Его волѣ. Все естественное—доброе. Въ этомъ Толстой приближается къ Жанъ Жаку Руссо и къ ученію XVIII вѣка объ естественномъ состояніи. Толстовское ученіе о непротивленіи злу связано съ ученіемъ объ естественномъ состояніи какъ добромъ и божественномъ. Не противься злу, и добро само осуществится безъ твоей активности, будетъ естественное состояніе, въ которомъ непосредственно осуществляется божественная воля, высшій законъ жизни, который и есть Богъ. Ученіе Л. Толстого о Богѣ есть особая форма пантеизма, для котораго не существуетъ личности Бога, какъ не существуеть личности человѣка и вообще никакой

личности. У Толстого Богъ не существо, а законъ, разлитое во всемъ божественное начало. Для него такъ же не существуетъ личнаго Бога, какъ не существуетъ личнаго безсмертія. Его пантеистическое сознаніе не допускаеть существованія двухъ міровъміра природнаго, шиманентнаго и міра божественнаго, трансцендентнаго. Такое пантеистическое сознаніе предполагаеть, что добро, т. е. божественный законъ жизни, осуществляется природно-имманентнымъ путемъ, безъ благодати, безъ вхожденія трансцендентнаго въ этотъ міръ. Толстовскій пантеизмъ смёшиваетъ Бога съ душой міра. Но пантеизмъ его не выдержанъ и временами пріобрѣтаетъ привкусъ деизма. Вѣдь Богъ, Который даетъ законъ жизни, заповъдь и не даетъ благодати, помощи, есть мертвый Богъ деизма. У Толстого было могучее богочувствованіе, но слабое богосознаніе, онъ стихійно пребываеть въ Отчей Упостаси, но безъ Логоса. Подобно тому, какъ Л. Толстой вёрить въ благостность естественнаго состоянія и въ осуществимость добра силами природными, въ которыхъ действуетъ сама божественная воля, онъ веритъ и въ непогрѣшимость, безошибочность естественнаго разума. Онъ не видить паденія разума. Разумь для него безгрѣщень. Онъ не знаеть, что есть разумь, отпавшій оть Разума Божественнаго, и есть разумъ, соединенный съ Разумомъ Божественнымъ. Толстой держится за наивный, естественный раціонализмъ. Онъ всегда аппелируетъ къ разуму, къ разсудочному началу, а не къ волъ, не къ свободъ. Въ раціонализмъ Толстого, временами очень грубомъ, сказывается все та же въра въ благостное естественное состояніе, въ доброту природы и природнаго. Толстовскій раціонализмъ и натурализмъ не въ силахъ объяснить уклоненія отъ разумнаго и естественнаго состоянія, а вёдь уклоненіями этими наполнена человъческая жизнь, и они рождають то зло и ту ложь жизни, которыя такъ могущественно бичуетъ Толстой. Почему человъчество отпало отъ добраго естественнаго состоянія и разумнаго закона жизни, царившаго въ этомъ состояніи? Значить было какое-то отпаденіе, грахопаденіе? Толстой скажеть: все зло оттого, что люди ходять во тьмъ, не знають божественнаго закона жизни: Но откуда эта тьма и незнаніе? Мы неизбёжно приходимъ къ ирраціональности зла какъ предільной тайні, тайні свободы. Въ толстовскомъ міроощущеніи есть что-то общее съ міроощущеніемъ Розанова, тоже невъдающаго зла, невидящаго лика, тоже

върящаго въ благостность естественнаго, тоже пребывающаго въ Отчей Vпостаси и въ душъ міра, въ Ветхомъ Завътъ и язычествъ. Л. Толстой и В. Розановъ, при всемъ своемъ различіи, одинаково противятся религіи Сына, религіи искупленія.

Нѣтъ надобности подробно и систематически излагать ученіе Л. Толстого, чтобы подтвердить правильность моей характеристики. Ученіе Толстого слишкомъ хорошо всёмъ извёстно. Но обычно книги читаются предвзято и видять въ нихъ то, что хотять видъть, не видять того, чего не хотять видъть. Поэтому я все-таки приведу рядъ наиболее яркихъ мёсть, подтверждающихъ мой взглядъ на Толстого. Возьму прежде всего цитаты изъ основного религіозно-философскаго трактата Толстого "Въ чемъ моя вѣра?" "Мит всегда казалось страннымъ, для чего Христосъ, впередъ зная, что исполненіе Его ученія невозможно однѣми силами человъка, даль такія ясныя и прекрасныя правила, относящіяся прямо къ каждому отдельному человеку. Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мнъ, отъ меня одного требують исполненія" 1). "Христось говорить: "Я нахожу, что способъ обезпеченія вашей жизни очень глупъ и дуренъ. Я вамъ предлагаю совсёмъ другой 2). "Человёческой природё свойственно дълать то, что лучше. И всякое ученіе о жизни людей есть только ученіе о томъ, что лучше для людей. Если людямъ показано, что имъ лучше делать, то какъ же они могутъ говорить, что они желають дълать то, что лучше, но не могуть? Люди не могуть дълать только то, что хуже, а не могуть не дълать того, что лучше" 3). "Какъ только онъ (человѣкъ) разсуждаетъ, то онъ сознасть себя разумнымъ, и, сознавая себя разумнымъ, онъ не можеть не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разумъ ничего не приказываетъ; онъ только освъщаетъ" 4). "Только ложное представление о томъ, что есть то, чего неть, и неть того, что есть, можеть привести людей къ такому странному отрицанію исполнимости того, что, по ихъ признанію, даеть имъ благо. Ложное представленіе, приведшее къ этому, есть то, что на-

<sup>1)</sup> См. "Въ чемъ моя вера?" изд. Посредникъ, 1906 г., стр. 13.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, стр. 75.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, стр. 88.

<sup>4)</sup> См. тамъ же, стр. 89.

зывается догматической христіанской в рой, — тою самою, которой съ дътства учатъ всъхъ исповъдующихъ церковную христіанскую въру по разнымъ православнымъ, католическимъ и протестантскимъ катохизисамъ" 1). "Утверждается, что мертвые продолжаютъ быть живы. И такъ какъ мертвые никакъ не могутъ ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, такъ же какъ камень не можетъ подтвердить того, что онъ можетъ или не можеть говорить, то это отсутствие отрицания принимается за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще съ большей торжественностью и увъренностью утверждается то, что послѣ Христа вѣрою въ Него человѣкъ освобождается отъ грѣха, т. е. что человѣку послѣ Христа не нужно уже разумомъ освъщать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно върить только, что Христосъ искупиль его отъ гръха, и тогда онъ всегда безгрешенъ, т. е. совершенно хорошъ. По этому ученію люди должны воображать, что въ нихъ разумъ безсиленъ и что потому-то они и безгрѣщны, т. е. не могутъ ошибаться" 2). "То, что по этому ученію называется истинной жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, т. е. такая, какую никто никогда не зналъ и которой нътъ" 3). "Адамъ за меня согрѣшиль, т. е. ошибся (курсивь мой)" 4). Л. Толстой говорить, что по ученію христіанской церкви "жизнь истинная, безгрёшная въ въръ, т. е. въ воображени, т. е. въ сумасшестви (курсивъ мой)". И черезъ нъсколько строкъ прибавляетъ про церковное ученіе: "вѣдь это полное сумасшествіе"! 5). "Церковное ученіе дало основной смысль жизни людей въ томъ, что человъкъ имъетъ право на блаженную жизнь, и что блаженство это достигается не усиліями человѣка, а чѣмъ-то внѣшнимъ, и это міросозерцаніе и стало основой всей нашей науки и философіи" в). "Разумъ, тотъ, который освъщаеть нашу жизнь и заставляеть нась измънять наши поступки, есть не иллюзія, и его то уже никакъ нельзя отрицать. Слъдование разуму для достижения блага-въ этомъ было всегда

<sup>1)</sup> См. тамъ же, стр. 89.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, стр. 91—2.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, стр. 92.

<sup>4)</sup> См. тамъ же, стр. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) См. тамъ же, стр. 93.

б) См. тамъ же, стр. 94.

ученіе всьхъ истинных учителей человьчества, и въ этомъ все ученіе Христа (курсивъ мой), и его-то, т. е. разумъ, отрицать разумомъ ужъ никакъ нельзя ч 1). "Прежде и послъ Христа люди говорили то же самое: то, что въ человъкъ живетъ божественный свъть, сошедшій съ неба, и свъть этоть есть разумь, —и что ему одному надо служить и въ немъ одномъ искать благо"<sup>2</sup>). "Люди все слышали, все поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говориль только о томъ, что людямъ надо дълать свое счастье самимъ здёсь, на томъ дворъ, на которомъ они сошлись, а вообразили себь, что это дворъ постоялый, а тамъ гдьто будеть настоящій « 3). "Никто не поможеть, коли сами себѣ не поможемъ. А самимъ и помогать нечего. Только не ждать ничего ни съ неба, ни съ земли, а самимъ перестать губить себя" 4). "Чтобы понять ученіе Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься " 5). "О плотскомъ же личномъ воскресеніи Онъ никогда не говорилъ" 6). "Понятіе о будущей личной жизни пришло къ намъ не изъ еврейскаго ученія и не изъ ученія Христа. Оно вощло въ церковное ученіе совершенно со стороны. Какъ ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что вырование въ будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смъшеніи сна со смертью и свойственное встьмъ дикимъ народамь (курсивъ мой)" 7). "Христосъ противополагаетъ личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную съ жизнью настоящей, прошедшей и будущей всего человъчества" в). "Все ученіе Христа въ томъ, что ученики Его, понявъ призрачность личной жизни, отреклись отъ нея и перенесли ее въ жизнь всего человъчества, въ жизнь Сына Человъческаго. Ученіе же о безсмертіи личной жизни не только не призываеть къ отреченію отъ своей личной жизни, но навѣки закрѣпляетъ эту личность... Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться какъ можно лучше. Жить

<sup>1)</sup> См. тамъ же, стр. 97.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, стр. 98.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, стр. 102.

<sup>4)</sup> Cm. тамъ же, 103.

<sup>5)</sup> См. тамъ же, 104.

<sup>6)</sup> См. тамъ же, 112.

<sup>7)</sup> См. тамъ же, 115.

<sup>8)</sup> См. тамъ же, 118.

для себя одного неразумно. И потому, съ техъ поръ есть люди, они отыскивають для жизни цёли внё себя: живуть для своего ребенка, для народа, для человъчества, для всего, что не умираеть съ личной жизнью" 1). "Если человъкъ не хватается за то, что спасаеть его, то это значить только то, что человъкъ не понялъ своего положенія" 2). "Въра происходитъ только оть сознанія своего положенія. Вфра зиждется только на разумномъ сознаніи того, что лучше дёлать, находясь въ извъстномъ положени" 3). "Ужасно сказать: не будь вовсе ученія Христа съ церковнымъ ученіемъ, выросшимъ на немъ, то тѣ, которые теперь называются христіанами, были бы гораздо ближе къ ученію Христа, т. е. къ разумному ученію о благѣ жизни, чѣмъ они теперь. Для нихъ не были бы закрыты нравственныя ученія пророковъ всего человъчества" 4). "Христосъ говорить, что есть върный мірской расчеть не заботиться о жизни міра... Нельзя не видъть, что положение учениковъ Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, дълая всемъ добро, не будутъ возбуждать ненависти въ людяхъ" 5). "Христосъ учитъ именно тому, какъ намъ избавиться отъ нашихъ несчастій и жить счастливо" 6). Перечисляя условія счастья, Толстой не можеть найти почти ни одного условія, связаннаго съ духовной жизнью, все связано матеріальной, животно - растительной жизнью, какъ физическій трудъ, здоровье и пр. "Не мученикомъ надо быть во имя Христа, не этому учить Христосъ. Онь учить тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложнаго ученія міра... Христось учить людей не дълать глупостей (курсивъ мой). Въ этомъ состоить самый простой, всёмъ доступный смысль ученія Христа.... Не дёлай глупостей, и тебъ будетъ лучше" 7). "Христосъ... учитъ насъ не дълать того, что хуже, а дёлать то, что лучше для насъ здёсь, въ этой жизни" 8). "Разрывъ между ученіемъ о жизни и объясненіемъ

<sup>1)</sup> См. тамъ же, стр. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. тамъ же, 125.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, 132.

<sup>4)</sup> Cm. тамъ же, 135.

<sup>5)</sup> См. тамъ же, 140.

<sup>6)</sup> См. тамъ же, 142.

<sup>7)</sup> См. тамъ же, 150.

<sup>8)</sup> См. тамъ же, 152.

жизни начался съ проповъди Павла, не знавшаго этическаго ученія, выраженнаго въ Евангеліи Матеея, и проповъдывавшаго чуждую Христу метафизическо-кабалистическую теорію" 1). "Все, что нужно для псевдо-христіанина—это таинства. Но таинство не дълаетъ самъ върующій, а надъ нимъ его производятъ другіе" 2). "Понятіе о законъ, несомнънно разумномъ и по внутренному сознанію обязательному для всъхъ, до такой степени утрачено въ нашемъ обществъ, что существованіе у еврейскаго народа закона, опредълявшаго всю жизнь ихъ, который былъ бы обязателенъ не по принужденію, а по внутреннему сознанію каждаго, считается исключительнымъ свойствомъ одного еврейскаго народа" 3). "Я върю, что исполненіе этого ученія (Христа) легко и радостно" 4).

Приведу еще характерныя мъста изъ писемъ Л. Толстого. "Такъ: "Господи, милостивъ буди мнъ гръшному", я теперь не совсъмъ люблю, потому что это молитва эгоистическая, молитва слабости личной и потому безполезная" 5). "Мнѣ очень бы хотѣлось помочь вамъ, пишетъ онъ М. А. Сопоцько, въ томъ тяжеломъ и опасномъ положеніи, въ которомъ вы находитесь. Я говорю про ваше желаніе загипнотизировать себя въ церковную вѣру. Это очень опасно, потому что при такой гипнотизаціи утрачивается самое драгоцънное, что есть въ человъкъ-его разумъ (курсивъ мой)" 6). "Нельзя безнаказанно допустить въ свою въру что-либо неразумное, что-либо неоправдываемое разумомъ. Разумъ данъ свыше, чтобы руководить насъ. Если же мы заглушимъ его, это не пройдетъ безнаказанно. И пибель разума самая ужасная пибель (курсивъ мой)" 7). "Чудеса евангельскія не могли быть, потому что они нарушаютъ законы того разума, посредствомъ котораго мы понимаемъ жизнь, чудеса не нужны, потому что ни въ чемъ никого не могуть убъдить. Въ той же дикой и суевърной средъ, въ которой жиль и действоваль Христось, не могли не сложиться преданія о чудесахъ, какъ они, не переставая, и въ наше время складыва-

<sup>1)</sup> См. тамъ же, 168.

<sup>2)</sup> Cm. тамъ же, 169.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, 178.

<sup>4)</sup> Cm. тамъ же, 186.

См. "Письма Л. Н. Толстого", т. I, стр. 193.

<sup>6)</sup> См. тамъ же, стр. 240.

<sup>7)</sup> См. тамъ же, стр. 246.

ются легко въ суевърной средъ народа" 1). "Вы спращиваете меня о теософіи. Меня самого интересовало это ученіе, но, къ сожальнію, оно допускаеть чудесное; а мальйшее допущеніе чудеснаго уже лишаеть религію той простоты и ясности, которыя свойственны истинному отношенію къ Богу и ближнему. И потому въ ученіи этомъ можетъ быть много очень хорошаго, какъ въ ученіяхъ мистиковъ, какъ въ спиритизмѣ даже, но надо остерегаться его. Главное же, думаю, что тѣ люди, которымъ нужно чудесное, не понимають еще вполнѣ истиннаго простого христіанскаго ученія 2). "Для того же, чтобы человъкъ зналъ то, чего отъ него хочетъ Тотъ, Кто его послалъ въ міръ, -Онъ вложилъ въ него разумъ, посредствомъ котораго человъкъ всегда, если онъ точно хочетъ этого, можеть знать волю Бога, т. е. то, чего хочеть отъ него Тотъ, Кто послаль его въ міръ... Если же мы будемъ держаться того, что намъ говоритъ разумъ, то всѣ соединимся, потому что разумъ у всъхъ одинъ, и только разумъ соединяетъ людей и не мѣшаеть проявленію свойственной людямь любви другь къ другу "3). "Разумъ старше и достовърнъе всъхъ писаній и преданій, онъ быль уже тогда, когда не было никакихъ преданій и писаній, и онъ данъ каждому изъ насъ прямо отъ Бога. Слова Евангелія о томъ, что всѣ грѣхи простятся, но только не хула на Святого Духа, по моему мижнію, относятся прямо къ утвержденію того, что разуму не надо върить. Дъйствительно, если не върить разуму, данному намъ отъ Бога, то кому же върить? Неужели тъмъ людямъ, которые хотять насъ заставить върить тому, что несогласно съ разумомъ, даннымъ отъ Бога" 4). "О внутреннемъ своемъ совершенствованіи нельзя молиться потому, что намъ дано все то, что нужно для нашего совершенствованія, и прибавлять къ этому ничего не нужно и нельзя в 5). "Просить Бога и придумывать средства, какъ совершенствоваться, можно было бы только тогда, когда бы намъ были поставлены какія-либо преграды для этого дѣла, и мы сами не имѣли бы для этого силъ 6). "Мы здѣсь,

<sup>1)</sup> См. тамъ же, стр. 288.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, стр. 327.

<sup>3)</sup> См. "Письма Л. Н. Толстого", т. II, стр. 188.

<sup>4)</sup> См. тамъ же, стр. 190.

<sup>5)</sup> См. тамъ же, стр. 191.

<sup>6)</sup> См тамъ же стр. 197.

въ этомъ мірѣ, какъ на постояломъ дворѣ, въ которомъ хозяинъ устроиль все, что намъ, путешественникамъ, точно нужно, и самъ ушель, оставивь наставленія, какь намь вести себя въ этомъ временномъ пріютѣ. Все, что намъ нужно, у насъ подъ руками; такъ какія же намъ еще придумывать и о чемъ просить? Только бы исполнить то, что намъ предписано. Такъ и въ нашемъ духовномъ мірѣ — все нужное намъ дано, и дѣло только за нами" 1). "Нъть болье безиравственнаго и вреднаго ученія какъ то, что человъкъ не можетъ совершенствоваться своими силами" 2). "Привратное и нелѣпое понятіе о томъ, что человѣческій разумъ своими усиліями не можеть приближаться къ истинь, происходить оть такого же ужаснаго суевфрія какъ и то, по которому человъкъ не можеть безъ помощи извиъ приближаться къ исполненію воли Бога. Сущность этого суевфрія въ томъ, что полная совершенная истина будто бы открыта самимъ Богомъ... Суевъріе это ужасно... Человѣкъ перестаетъ вѣрить единственному средству познанія истины — усиліемъ своего разума" 3). "Помимо разума никакая истина не можеть войти въ душу человъка" 4). "Разумное и нравственное всегла совпадаетъ" 5). "Въра въ общеніе съ душами умершихъ до такой степени, не говоря уже о томъ, что она мит совершенно не нужна, до такой степени нарушаеть все то, основанное на разумѣ, мое міровоззрѣніе, что, если бы я услышаль голось духовь или увидёль бы ихъ проявленіе, я обратился бы къ психіатру, прося его помочь моему очевидному мозговому разстройству" 6). "Вы говорите, пищетъ Л. Н. священнику С. К., что такъ какъ человъкъ есть личность, то и Богь есть тоже Личность. Мив же кажется, что сознаніе человъкомъ себя личностью есть сознание человъкомъ своей ограниченности. Всякое же ограничение несовивстимо съ понятиемъ Бога. Если допустить то, что Богь есть Личность, то естественнымъ последствіемъ этого будетъ, какъ это и происходило всегда во всёхъ первобытныхъ религіяхъ, приписаніе Богу человёческихъ

<sup>1).</sup> См. тамъ же, стр. 198.

<sup>2).</sup> См. тамъ же, стр. 199.

<sup>3)</sup> См. тамъ же, стр. 200.

<sup>4)</sup> Cm. тамъ же, 201.

См. тамъ же, 205.

<sup>6)</sup> См. тамъ же, 215.

свойствъ... Такое пониманіе Бога какъ Личности, и такого Его закона, выраженнаго въ какой-либо книгѣ, совершенно невозможно для меня" 1). Можно было бы привести еще много мѣстъ изъ разныхъ произведеній Л. Толстого для подтвержденія моего взгляда на религію Толстого, но и этого достаточно.

Ясно, что религія Льва Толстого есть религія самоспасенія, спасенія естественными и человъческими силами. Поэтому религія эта не нуждается въ Спаситель, не знаетъ Сыновней Упостаси. Л. Толстой хочеть спастись въ силу своихъ личныхъ заслугъ, а не въ искупительную силу кровавой жертвы, принесенной Сыномъ Божьимъ за грѣхи міра. Гордыня Л. Толстого въ томъ, что онъ не нуждается въ благодатной помощи Божьей для исполненія воли Божьей. Коренное въ Л. Толстомъ то, что онъ не нуждается въ искупленіи, такъ какъ не знаетъ грѣха, не видитъ непобѣдимости зла естественнымъ путемъ. Онъ не нуждается въ Искупителѣ и Спаситель и чуждъ, какъ никто, религии искупленія и спасенія. Идею искупленія онъ считаеть главнымъ препятствіемъ для осуществленія закона Отца-Хозяина. Христосъ, какъ Спаситель и Искупитель, какъ "путь, истина и жизнь", не только не нуженъ, но мѣшаетъ исполненію заповѣдей, которыя Толстой считаетъ христіанскими. Новый Завътъ Л. Толстой понимаеть какъ законъ, заповъдь, правило Отца-Хозяина, т. е. понимаеть его какъ Ветхій Завѣтъ. Онъ еще не знаетъ той тайны Новаго Завѣта, что въ Сыновней Упостаси, во Христъ нътъ уже закона и подзаконности, а есть благодать и свобода. Л. Толстой, какъ пребывающій исключительно въ Отчей Упостаси, въ Ветхомъ Завътъ и язычествъ, никогда не могъ постигнуть той тайны, что не заповѣди Христа, не ученіе Христа, а Самъ Христосъ, Его таинственная Личность есть "истина, путь и жизнь". Религія Христа есть ученіе о Христь, а не ученіе Христа. Ученіе о Христв, т. е. религія Христа, всегда была для Л. Толстого безуміемъ, онъ относился къ ней какъ язычникъ. Тутъ мы подходимъ къ другой, не менве ясной сторонв религіи Л. Толстого. Это-религія въ предёлахъ разума, раціоналистическая религія, отвергающая всякую мистику, всякое таинство, всякое чудо, какъ противное разуму, какъ безуміе. Эта разумная религія близка раціоналистическому протестантизму,

<sup>1)</sup> См. тамъ же, стр. 264.

Канту и Гарнаку. Толстой — грубый раціоналисть въ отношеніи къ догматамъ, его критика догматовъ элементарно-разсудочная. Онъ съ побѣдоноснымъ видомъ отвергаетъ догматъ Троичности Вожества на томъ простомъ основаніи, что 1 не можетъ равняться 3. Онъ прямо говорить, что религія Христа — Сына Божьяго, Искупителя и Спасителя, есть сумасшествіе. Онъ непримиримый врагь чудеснаго, таинственнаго. Онъ отвергаеть самую идею откровенія какъ безсмыслицу. Почти нев роятно, что такой геніальный художникь и геніальный человікь, такая религіозная натура, быль одержимь такимь грубымь и элементарнымь раціонализмомъ, такимъ бѣсомъ разсудочности. Чудовищно, что такой гиганть, какъ Л. Толстой, свель христіанство къ тому, что Христосъ учить не дёлать глупостей, учить благополучію на землъ. Геніальная религіозная натура Л. Толстого находится въ тискахъ элементарной разсудочности и элементарнаго утилитаризма. Какъ религіозная личность это — нѣмой геній, не обладающій даромъ Слова. И эта непостижимая тайна его личности связана съ тъмъ, что все существо его пребываетъ въ Отчей Vпостаси и въ душѣ міра, внѣ Сыновней Vпостаси, внѣ Логоса. Л. Толстой не только быль религіозной натурой, всю жизнь сгоравшей оть религіозной жажды, онь быль и мистической натурой въ особомъ смыслъ. Есть мистика въ "Войнъ и миръ", въ "Казакахъ", въ его отношеніи къ первостихіямъ жизни; есть мистика и въ самой его жизни, въ его судьбъ. Но мистика эта никогда не встръчается съ Логосомъ, т. е. никогда не можетъ быть осознана. Въ своей религіозной и мистической жизни Толстой никогда не встрвчается съ христіанствомъ. Нехристіанская природа Толстого художественно вскрыта Мережковскимъ. Но то, что Мережковскій хотёль сказать по поводу Толстого, тоже осталось внъ Логоса, и христіанскій вопросъ о личности не быль имъ поставленъ.

Очень легко смёшать аскетизмъ толстовскій съ аскетизмомъ христіанскимъ. Часто говорили, что по своему моральному аскетизму Л. Толстой плоть отъ плоти и кровь отъ крови христіанства историческаго. Одни говорили это въ защиту Толстого, другіе ставили ему это въ вину. Но нужно сказать, что аскетизмъ Л. Толстого очень мало имѣетъ общаго съ аскетизмомъ христіанскимъ. Если брать христіанскій аскетизмъ въ его мистической сущности,

то онъ никогда не былъ проповедью обедненія жизни, упрощенія, нисхожденія. Христіанскій аскетизмъ всегда имѣетъ въ виду безконечно богатый мистическій міръ, высшую ступень бытія. Въ моральномъ же аскетизмъ Толстого нътъ ничего мистическаго, нътъ богатствъ иныхъ міровъ. Какъ отличается аскетизмъ Божьяго св. Франциска отъ толстовскаго опрощенія. Францисканство полно красоты и нътъ въ немъ ничего похожаго на толстовскій морализмъ. Отъ св. Франциска родилась красота ранняго возрожденія. Бѣдность была для него Прекрасной Дамой. У Толстого же не было Прекрасной Дамы. Онъ проповѣдывалъ обѣдненіе жизни во имя болье счастливаго, болье благополучнаго устроенія жизни на земль. Ему чужда идея мессіанскаго пира, которая мистически воодушевляеть христіанскую аскетику. Моральный аскетизмъ Л. Толстого — это аскетизмъ народническій, столь характерный для Россіи. У насъ образовался особый типъ аскетизма, не аскетизма мистическаго, а аскетизма народническаго, аскетизма во имя блага народа на землъ. Этотъ аскетизмъ встръчается въ формъ барской, у кающихся дворянъ, и въ формъ интеллигентской, у интеллигентовъ-народниковъ. Этоть аскетизмъ обычно связанъ съ гоненіемъ на красоту, на метафизику и мистику, какъ на роскошь недозволенную, безнравственную. Этотъ аскетизмъ религіозно ведетъ къ иконоборчеству, къ отрицанію символики культа. Л. Толстой быль иконоборцемъ. Иконопочитаніе и вся связанная съ нимъ символика культа казалась безнравственной, непозволительной роскошью, запрещенной его морально-аскетическимъ сознаніемъ. Л. Толстой не допускаетъ, что существуеть священная роскошь и священное богатство. Геніальному художнику казалась красота безнравственной роскошью, богатствомъ, недозволеннымъ Хозяиномъ жизни. Хозяинъ жизни далъ законъ добра, и лишь добро есть ценность, лишь добро божественно. Хозяинъ жизни не поставилъ передъ человѣкомъ и міромъ идеальный образъ красоты какъ верховной цёли бытія. Красота — отъ лукаваго, отъ Отца лишь нравственный законъ. Л. Толстой — гонитель красоты во имя добра. Онъ утверждаеть исключительное преобладаніе добра не только надъ красотой, но и надъ истиной. Во имя исключительнаго добра онъ отрицаетъ не только эстетику, но и метафизику и мистику, какъ пути познанія истины. И красота и истина — роскошь, богатство. Пиръ

эстетики и пиръ метафизики запрещенъ Хозяиномъ жизни. Нужно жить простымъ закономъ добра, исключительной моральностью. Никогда еще морализмъ не былъ доведенъ до такихъ крайнихъ предъловъ, какъ у Толстого. Морализмъ становится страшенъ, отъ него делается удушье. Вёдь красота и истина не мене божественны, чемъ добро, не менее--ценности. Добро не сметъ главенствовать надъ истиной и красотой, красота и истина не менъе близки къ Богу, къ Первоисточнику, чъмъ добро. Исключительный, отвлеченный морализмъ, доведенный до последнихъ предёловъ, ставитъ вопросъ о томъ, что можетъ быть демоническое добро, добро, истребляющее бытіе, понижающее уровень бытія. Если можеть быть демоническая красота и демоническое знаніе, то можеть быть и демоническое добро. Христіанство, взятое въ мистической его глубинь, не только не отрицаеть красоты, но создаеть невиданную, новую красоту, не только не отрицаеть гнозиса, но создаеть высшій гнозись. Красоту и гнозись скорѣе отрицають раціоналисты и позитивисты и часто ділають это во нмя призрачнаго добра. Морализмъ Л. Толстого связанъ съ его религіей самоспасенія, съ отрицаніемъ онтологическаго смысла искупленія. Но аскетическій морализмъ Толстого одной лишь своей стороной обращенъ къ объдненію и подавленію бытія, другой своей стороной обращень онь къ новому міру и дерзновенно отрицаеть зло.

Въ толстовскомъ морализмѣ есть начало косно-консервативное и есть начало революціонно-бунтарское. Л. Толстой съ небывалой силой и радикализмомъ возсталь противъ лицемѣрія quasi-христіанскаго общества, противъ лжи quasi-христіанскаго государства. Онъ геніально изобличиль чудовищную неправду и мертвенность казеннаго, оффиціальнаго христіанства, онъ поставиль зеркало передъ притворно и мертвенно христіанскимъ обществомъ и заставиль ужаснуться людей съ чуткой совѣстью. Какъ религіозный критикъ и какъ искатель Л. Толстой навѣки останется великимъ и дорогимъ. Но сила Толстого въ дѣлѣ религіознаго возрожденія исключительно отрицательно-критическая. Онъ безмѣрно много сдѣлаль для пробужденія отъ религіозной спячки, но не для углубленія религіознаго сознанія. Нужно, однако, помнить, что сворникъ.

Л. Толстой обращался съ своими исканіями и критикой къ обществу или откровенно атеистическому, или лицемфрно и притворно христіанскому, или просто индифферентному. Этому обществу нельзя было религіозно повредить, оно было ужъ совсёмъ повреждено. А мертвенно-бытовое, внёшне-обрядовое православіе полезно и важно было обезпокоить и взбудоражить. Л. Толстой самый последовательный и самый крайній анархисть-идеалисть, какого только знаетъ исторія человівческой мысли. Опровергнуть толстовскій анархизмъ очень легко, въ этомъ анархизмѣ соединяется крайній раціонализмъ съ настоящимъ безуміемъ. Но толстовскій анархическій бунть нужень быль міру. "Христіанскій" мірь до того изолгался въ своихъ основахъ, что явилась ирраціональная потребность въ такомъ бунть. Я думаю, что именно толстовскій анархизмъ, по существу несостоятельный, -- очистителенъ, и значеніе его огромно. Толстовскій анархическій бунть обозначаетъ кризисъ историческаго христіанства, перевалъ въ жизни Церкви. Бунть этоть предваряеть грядущее христіанское возрожденіе. И остается для насъ тайной, раціонально непостижимой, почему дѣлу христіанскаго возрожденія послужиль человѣкъ, чуждый христіанству, весь пребывающій въ стихіи ветхозав'єтной, дохристіанской. Последняя судьба Толстого остается тайной, ведомой лишь Богу. Не намъ судить. Л. Толстой самъ отлучилъ себя отъ Церкви, и передъ этимъ фактомъ бледнетъ фактъ отлученія его русскимъ Св. Синодомъ. Мы должны прямо и открыто сказать, что Л. Толстой ничего общаго не имъетъ съ христіанскимъ сознаніемъ, что выдуманное имъ "христіанство" ничего общаго не имфеть съ темъ подлиннымъ христіанствомъ, для котораго въ Церкви Христовой неизмѣнно хранится образъ Христа. Но мы ничего не смфемъ сказать о последней тайне его окончательныхъ отношеній къ Церкви и о томъ, что совершилось съ нимъ въ часъ смерти. По человъчеству же мы знаемъ, что своей критикой, своими исканіями, своей жизнью Л. Толстой пробуждаль міръ, религіозно заснувшій и омертвѣвшій. Нѣсколько покольній русскихъ людей прошло черезъ Толстого, росло подъ его вліяніемъ, и вліяніе это не дай Богь отождествить съ "толстовствомъ", --- явленіемъ очень ограниченнымъ. Безъ толстовской критики и толстовскаго исканія мы были бы хуже и проснулись бы позже. Безъ Л. Толстого не сталь бы такъ остро вопросъ о жизненномъ, а не

риторическомъ значеніи христіанства. Ветхозавѣтная правда Толстого нужна была изолгавшемуся христіанскому міру. Знаемъ мы также, что безъ Л. Толстого Россія немыслима и что Россія не можетъ отъ него отказаться. Мы любимъ Льва Толстого, какъ родину. Наши дѣды, наша земля въ "Войнѣ и мирѣ". Онъ—наше богатство, наша роскошь, онъ нелюбившій богатства и роскоши. Жизнь Л. Толстого—геніальный фактъ въ жизни Россіи. А все геніальное—провиденціально. Еще недавній "уходъ" Л. Толстого взволноваль всю Россію и весь міръ. То быль геніальный "уходъ" То было завершеніе толстовскаго анархическаго бунта. Передъ смертью Л. Толстой сталъ странникомъ, оторвался отъ земли, къ которой быль прикованъ всей тяжестью быта. Подъ конець жизни великій старикъ повернуль къ мистикъ, мистическія ноты звучать сильнѣе и заглушають его раціонализмъ. Онъ готовился къ послѣднему перевороту.

Николай Бердяевъ.

## Около Чуда.

(О Толстомъ).

О Толстомъ... Такъ страшно, такъ трудно выговорить свои думы, свои чувства про Л. Толстого, какъ страшно и трудно выговорить ихъ про синее море, про высокія горы, про далекія облака...

А обо всемъ этомъ такъ хочется сказать, когда чувствуешь... Жилъ былъ Левъ Толстой. И такъ жилъ, что въ дивную сказку обратилъ эту жизнь для насъ, въ дивную сказку о чудо-богатырѣ, добывавшемъ жаръ-птицу. И такой былъ большой-большой и обаятельно хорошій, что словно его и не было никогда, словно выдумали его, сочинили, и не теперешніе худосочные люди, а какая-то былая, древняя мудрость, сѣдая старина съ ея властными чарами, волшебная фантазія старыхъ книгъ.

Онъ вчера еще ходиль по земль, говориль, писаль письма, даже воть играль въ шахматы съ Сухотинымъ, слушалъ грамофонъ, смотръль кинематографъ, людямъ показывался, а сегодня—сегодня его жизнь стала сказкой миновавшихъ льтъ. Сегодня—все, что было съ нимъ, кажется сномъ золотымъ, видъніемъ чуднымъ, творческою мечтой.

И не знаещь, что болье приковываеть вниманіе наше, та ли могучая земляная сила, съ какой приникь онь къ источникамъ жизни, глубокая, все понимающая, любвеобильная мудрость большой души, любовно благословляющее, благословенное проникновеніе въ существо земного бытія, или, напротивъ, богатырское бореніе съ жизнью, противоборство земному естеству, напряженность вулканическихъ взрывовъ и кудеснически упрямое вызываніе не здъщнихъ силь, чудесныхъ чаръ.

Про Толстого можно сказать: его любить мать-сыра-земля. Любить и щедро надёлила любовной влажностью своею, питательной, плодоносной, животворящей.

Глубоко-глубоко вросъ этотъ огромный геній корнями своими въ родимую почву, въ самое сердце земли. Онъ весь почвенный, землистый, смолистый, душистый, корневой, красочный, зеленый и развѣсистый. Влажный черноземъ на ласково-пригрѣвающемъ солнышкѣ, въ вышинѣ лазурныя дали, въ глубинѣ въ пахучей, божьей землѣ божьи сѣмена для божьихъ же человѣковъ. "Оріонъ, Сиріусъ надъ засѣкой, пухлый, беззвучный снѣгъ, добрая лошадь и добрый воздухъ, и добрый Миша (кучеръ), и добрый Богъ". (Я. П. изъ письма къ С. А. Толстой).

И воть приникъ этоть большущій человікь со своимъ громаднымъ, къ добру изумительно чуткимъ сердцемъ къ огромному же сердцу земли, учуяль-какъ бьется оно, это сердце необъятной жизни, отобразиль біеніе его въ роскошныхъ узорахъ своей творческой жизни. Разсказывая о жизни, показаль ея пеструю радугу, потоками изливая свъть и тепло на наше милое, наше скорбное земное. Жизнь и смерть, долгь и страсть, любовь и бракъ, мысль и искусство, родину и царя, народъ, религію и Бога, все это онъ, Толстой, переживая, оживиль, освёщая, освятиль, все приняль, перечувствоваль со всей силой, раскрывая зло, добра не утаиль, все взяль и, всему покоряясь, покориль, умиляясь, умилиль... Но онъ же Толстой на все и посягнуль, все и утвердиль — все и уничтожить захотёль. Чуднымь даромь своимь заворожиль нась, преобразивъ все красивой, глубокой думой о жизни, полной любви и правды, прощенія и примиренія, да самъ же и отвернулся отъ всего, возжаждавъ внёмірнаго чуда. Гдё-то страшнымъ глоткомъ глотнувъ мертвой воды, ощутилъ дуновеніе смерти, страстно захотель уйти отъ жизни, оставиль ее такую, какъ она есть,-и пощель искать иную жизнь, уничтожающую прежнюю, ту, которой прежде жилъ, которую опоэтизировалъ, пошелъ искать иную жизнь, непохожую на прежнюю, какъ смерть не похожа на жизнь. И еще не видя этой иной жизни, иной правды, со страшной напряженностью отчаянныхъ усилій-сталь вымогать, вызволять ее невъдомую, какъ чудо, самовластно посягая на него, даже не снисходя до сознательной въры въ чудесное. Въ искусъ мучительныхъ, стращныхъ усилій, переходящихъ въ насиліе надъ природой, исторіей и всёмъ божьимъ, Богомъ сотвореннымъ міромъ, и больше всего надъ самимъ собой, -- отвергъ Толстой красоту и великолъпіе міра, такого прекраснаго въ твореніяхъ его. Ее-то, пережитую и пересказанную чудную сказку-быль своей жизни, Толстой усиливается испепелить, спалить на пылающемъ пламени своей ненасытной, жадной до правды, совъсти, все неся на ея алтарь: науку, искусство, государство, право, хозяйство, быть и весь вообще прогрессъ... Бракъ, семья, умственный трудъ, царь, религія и вся, нажитая человъчествомъ въками, культура, вся исторія, какъ болящій зубъ, вырывается и бросается въ пещь огненную для очищенія совъсти, требующей всесожженія. Ради нея, ради этой своей самовластной и непослушной совъсти отвергнуль все, чемъ жилъ и жить давалъ другимъ, что любилъ и любимымъ делалъ, съ чѣмъ мирился и примирялъ; и, отвергнувъ, чего только не продълываль Толстой въ этомъ кладоискательствъ, чудовымогательствъ своемъ, отъ искушенія самоубійствомъ до ухода нзъ семьи передъ смертью. Всѣ эти факты "житія" Толстого, всѣ эти его "чудеса" люду православному, жизни послушному, чудачествомъ казались. Толстому же они стоили, быть-можетъ, кроваваго пота, но жизнь-сильная въ немъ, щедро дарящая его своими богатствами, - все вмѣщала въ себя, даже отрицаніе ея, и, какъто обойдя окольными, природными же путями, всв упрямыя подкапыванія подъ нее со стороны Л. Н., пересоздавала и самый безсильный бунть Толстого въ силу жизни и долготу дней его.

А жизнь Толстого и нажитая имъ художественная мудрость почти уже раскрывали тайну этого міра, какъ великаго и дивнаго Божьяго чуда, для самого Толстого, однако, все это было не тѣмъ чудомъ, котораго, хотя смутно, но такъ страстно искалъ онъ. Чудесный Божій міръ, какъ данность чуда, пересталь его очаровывать, онъ не хотѣлъ продолжать копать въ землѣ почти уже вырытый имъ кладъ, кладъ отеческой, добовской правды, кладъ дарованной ему благодати Божіей, и пошель добывать иной, неземной, а воздушный кладенецъ. Здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, онъ соблюлъ видимость Христову безъ сущности Христовой Церкви...

"Женщина говорить ему: Господинь! Тебѣ и почерпнуть нечѣмь, а колодезь глубокій: откуда же у Тебя вода живая? Неужели Ты больше отца нашего Іакова, который даль намъ этотъ колодезь, и самь изъ него пиль, и дѣти его, и скоты его? Іисусь сказаль ей въ отвѣть: всякій, имѣющій воду сію, возжаждеть опять; а кто будеть пить воду, которую Я дамь ему, то не будеть жаждать во вѣкъ"... (Іоанна гл. IV, 11—14).

Чудесный колодезь отца нашего Іакова-это не то, что нужно было Толстому, это-данность чуда, онъ упрямо добивался чуда, какъ заданности, самовластно, подвигомъ отчаянныхъ усилій личной воли покущаясь на него. До цинизма невфровавшій въ чудо, онъ только и дёлалъ, что дерзко требовалъ его, или, вёрнёе, не требоваль, а упрямо пытался сотворить, упрямо и самочинно чудо-творствовалъ. Въ въкахъ исторіи, въ существъ тысячельтняго роста земного бытія человіка--это так, быть можеть - чудомь промысла Божьяго, Божьимъ попустительствомъ-такъ, а не иначе, а я, Толстой, такъ не хочу, и чуда этого, постигаемаго, почти постигнутаго художественнымъ геніемъ, моимъ же геніемъ, понимать и принимать все-таки не хочу, не могу... Это такъ, "и это нехорошо", должно быть иначе; по моему, и по слову моему, слову человъческому---да будеть, стоить только захотъть и поналечь... Но воть, вѣдь, Толстой же, Л. Н., въ тяжестяхъ семейныхъ обстоятельствъ, съ силой и убъжденіемъ говорить: "Не моя воля да будеть, но Твоя, и не то, чего я хочу, а то, что Ты хочешь, и не такъ какъ я хочу, а такъ какъ Ты хочень. Вотъ это я думаю"... 1).

И рядомъ съ этимъ, такимъ большимъ и серьезнымъ, онъ же, Л. Н., говоритъ: "Теперь (послѣдній годъ жизни) особенно живо чувствую огромный вредъ церкви" 2). Все это и съ тѣмъ же молитвеннымъ настроеніемъ Господней молитвы, отказъ отъ исторіи ("исторія скрываетъ правду" 3), отъ быта, отъ государства, семьи и отечества, отъ того, что есть и что не можетъ не быть, должно быть, если уже "не такъ, какъ я хочу". И все это часто до такихъ предѣловъ, когда уже трудно вѣрится,—не хочется вѣрить...

Воть есть же въ жизнеописаніи Толстого даже и такая безвкусица: "Мнѣ нравится, произнесъ онъ, то, что сказаль передъ смертью Вольтеръ, отказавшись отъ причащенія, о чемъ его про-

<sup>1)</sup> В. Будгаковъ. "У Л. Н. Толстого въ последній годъ его жизни", стр. 293.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 293.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 173.

сили близкіе: я умираю, обожая Бога, любя своихъ друзей и не ненавидя своихъ враговъ, и питая отвращеніе къ суевѣрію ¹)".

Въ "Исповъди" Толстого, этомъ единственномъ православномъ въ нѣкоторыхъ своихъ моментахъ и настроеніяхъ произведеніи его, есть такое мѣсто: "Гдѣ жизнь, тамъ и вѣра; съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ человъчество, существуетъ и въра, которая даеть возможность жить, и главныя черты въры вездъ и всегда однъ и тѣ же... Вѣра есть исканіе смысла человѣческой жизни, вслюдствіе которой человикь не уничтожаеть себя, а живеть. Вира есть сила жизни... Понятіе безконечнаго Бога, божественности души, связи дёль людскихь съ Богомъ, единства, сущности души, человъческаго понятія нравственнаго добра и зла-суть понятія, выработанныя въ скрывающейся безконечности мысли человъческой, суть тѣ понятія, безъ которыхъ не было бы жизни и меня самого, а я, отринувъ всю эту работу человъчества, хочу все самъ одинъ сдълать по новому и по своему... я начиналь понимать, что въ отвътахъ, даваемых вырою, хранится илубочайшая мудрость человычества, и что и я не имълг права отрицать их на основании разума". Однако, на основаніи все того же протестующаго разума, самочинной совъсти, Толстой опять и опять отринулъ работу человъчества и до конца своего хотенія сделать все "самъ, одинъ — по новому, по своему", по своевольно-хорошему.

А минутами, благодатными минутами—въ періодъ "Исповѣди", не въ періодъ писанія, а переживанія ея,—Толстой былъ страшно близокъ къ постиженію той тайны живой вѣры, тайны, дающей людямъ силу жить. Пронесшійся въ душѣ Толстого бушующій ураганъ тревожныхъ сомнѣній, тоски и отчаянія оставилъ его на самомъ жуткомъ остріѣ томящаго вопроса о смыслѣ жизни.

"Съ тѣхъ поръ какъ началась какая-нибудь жизнь людей, — писалось въ "Исповѣди", у нихъ уже былъ этотъ смыслъ жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мнѣ и около меня, — все и плотское и не плотское, все это — плодъ ихъ знанія жизни. Тѣ самыя орудія мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, — все это не мной, а ими сдѣлано. Самъ я родился, воспитался, выросъ, благодаря имъ. Они выконали жельзо, научили рубить лѣсъ, приручили коровъ, лошадей, научили

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 204.

съять, научили жить вмъстъ, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. А я-то-ихъ произведеніе, ими вскормленный, ими наученный, ихъ мыслями и словами--доказалъ имъ, что они-безсмыслица! Тутъ что-то не такъ, говорилъ я себъ. "Гдънибудь я ощибся"... Но следующая за этимъ попытка научиться правдъ жизни, дающей силу жить, "у милліардовъ отжившихъ и живыхъ людей, которые делають и несуть свою и нашу жизнь", разбилась о безчисленныя маленькія сопротивленія. Смыслъ жизни,— Толстой это тогда слишкомъ понималъ, -- "народъ черпаетъ изъ всего в фроученія, переданнаго и передаваемаго ему пастырями и преданіями. Но съ этимъ смысломъ народной вѣры неразрывно связано много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимымъ: таинства, церковныя службы, посты, поклоненіе мощамъ и иконамъ. Отдёлить одно отъ другого `народъ не можеть, не могъ и я"... "Я желалъ всёми силами души быть въ состояніи слиться съ народомъ, ...ио не мого этого сдълать". И это безсиліе принять въ свою душу въру народа, въру предковъ, щерковное русское православіе, въ ту пору больно и остро переживалось Толстымъ, поздне оно привело его къ попытке сотворить свою религію и ею жить. И какъ человькь, тонко понимающій жизнь и то, чъмъ живетъ эта жизнь въ въкахъ, могъ не только пытаться свою релийю выдумать, -- это понятно для великаго зачинателя, на все дерзающаго, -- но пытаться еще ужиться съ ней, не краткія минуты и дни, а годы и годы. Вёдь то, что называется настоящей религіей въ исторіи, какая бы она ни была, несоизм'вримо по происхожденію и значенію съ личной мудростью какогобы то ни было человъка-гиганта. Если смотръть внъ всякой въры, то и тогда видно, что сотворить свою религію то же-что, скажемъ, — море и горы сдёлать. То, что имфетъ церковь, — опять, если взглянуть совсёмъ объективно, извий, --- вёдь это же такая сокровищница цінностей, такой сосудь благостыни, куда питательная. святая влага собиралась по капелькамъ девятнадцать вѣковъ. Черезъ мученичество, мучительство, черезъ кровь и страданія подвижническими усиліями милліоновъ жизней, и какихъ жизней, текла эта влага по очистительнымъ желобамъ исторіи, фильтруясь въ фильтрахъ въковъчныхъ напряженій и устремленій ко спасенію. Здёсь огромный духовный опыть, нажитый вёками, —и чтобы поспорить съ нимъ своимъ изобрѣтеніемъ, не хватитъ и тысячи ты-

сячь толстовскихъ силь. Какъ Толстой обжился со своей върой, не царапаясь объ нее психологически, и не отвергъ ее наконецъ такъ же, какъ "ученіе прогресса", позитивизмъ Шопенгауера, Соломона, и, наконецъ, Церковь — это остается неразгаданной тайной его души... И онъ такой благостный, когда изливаль въ творческомъ жизнечувствованіи своемъ свёть и тепло, любовь и прощеніе, такой пророчески вдохновенный, огнемъ попаляющій, въ сомнфніяхъ, томленіяхъ и испытаніяхъ своихъ, дфлался мертвенноблёднымъ, безблагодатнымъ и творчески-худосочнымъ въ своемъ исповъдываніи, въ проповъди. По вольной волъ могучихъ водъ съ ласкающей зеленью береговъ, черезъ страшные пороги, омуты и водопады, гдф духъ захватываетъ отъ мятущейся тревоги стихій, вы попадаете въ мертвую заводь съ зацвътающей водой, гдъ стращно, гдв скучно до испуга отъ затягивающей глади и тишины... И какъ безцвътна, пуста и холодна религіозная догматика Толстого, если ее отдълить отъ тернистаго пути, приведшаго къ ней Л. Н. Онъ роеть землю чуть не до подпочвенныхъ водъ, чтобы посъять... рожь, -- раціоналистически-евангельскій деизмъ, по которому волею Божіей создана жизнь для человіческого земного счастья. Человъкь не повиновался ей разумно, какъ то слъдовало, и заблудился въ исторіи, загромоздивъ ее одними ненужностями и прямо гадостями. Если онъ одумается и будетъ стараться волею своею жить по этой раціональной христіанской морали, то тогда наступить "вѣчная жизнь въ человѣчествъ", правда всеобщаго счастья на землъ...

До религіознаго перелома Толстой въ проникновенной мудрости своего органическаго, почвенно-корневого, русскаго генія—глубо-ко религіозенъ, художество его христіанское, православное, несмотря на противорѣчія, такія яркія, такія сочныя. Вѣдь жизнь жива этими сочными, живыми противорѣчіями, ими питается и движется. Послѣ перелома Толстовское христіанство чуждо не только догматики и метафизики христіанской церкви, но и психологіи ея, чуждо подлиннаго смиренія. И смиреніе, и даже аскетизмъ, казалось бы, принятъ Толстымъ и претворенъ въ его душу, однако, смиреніе это особенное, свое, непослушное своевольное смиреніе, и аскетизмъ свой—самочинный, своеумный. Крестъ тоже принимается имъ, но только свой крестъ, а не Христовъ. Вѣдь христіанское православіе, обращенное къ міру, принимаетъ этотъ міръ аскетически,

какъ крестъ, налагая его на върующаго, въ міръ спасающагося, и въ этомъ смыслѣ по особенному порабощает міру. И вся жизнь, все мірское служеніе—Божья неволя, все пріемлется върующимъ въ чинъ раба Божьяго, для искуса послушанія, какъ аскетическій подвигь, ну, пожалуй, какъ вериги, надъваемые Бога ради. Такъ попускается православнымъ жизнечувствованіемъ власть, богатство, право, наука и т. п., вся культура, весь узорчатый плотяной покровъ здёшняго земного бытія. Грубо говоря, весь міръ-монастырь, и всё православные, каждый въ своемъ чинё-монашествующіе. "Вся тварь совокупно стенаеть и мучится донынь; и не только она, но и мы сами, имъя начатокъ Духа, и мы въ себъ стенаемъ, ожидая усыновленія, искупленія тёла нашего". (Римлянамъ гл. VIII, 22-23). Крестъ Христовъ какъ бы вдавленъ въ мірское тіло, и какъ скелеть держить на себі стенающую плоть міра; аскетически отдаваясь міру, смиренно покорствуя волѣ Божьей, мы, рабы, ожидающіе усыновленія, мистически пріобщаемся Кресту. Толстовскій кресть, наобороть, обращень противь міра, и аскетизмы его самовольно сыновній, на міру-протестующій, осуждающе непослушный этому міру, дерзновенно вымогающій чудо человіческое отъ людей. Толстой-рабъ Божій, какъ и всё мы, смертные, тленные, одинаково верующіе, неверующіе, православные, инославные, -- рабы, но рабъ своевольный, желающій служить хозяину по требованіямъ своего собственнаго разума, своей личной совъсти. "Своя" религія была у Толстого,—"свой", кресть и "свое" евангеліе. По этому поводу вспоминается посъщение Толстымъ Оптиной Пустыни въ то время (1890 г.), когда здёсь жилъ въ тайномъ послушаніи Константинъ Леонтьевъ (излагаю по пересказу В. В. Розанова, взятому изъ "Историческаго описанія" Оптиной Пустыни): "Послъ свиданія съ о. Амвросіемъ Л. Н. зашелъ къ К. Н. Леонтьеву какъ къ старому знакомому. "Какъ это ты, образованный человъкъ, сдълался върующимъ и ръшился туть жить?" спросиль Толстой. Леонтьевь отвёчаль: "поживи здёсь, такъ самъ увъруешь"... "Еще бы, запруть тебя здъсь", возразиль Л. Н. "такъ поневолъ повъруешь"... "Я твою философію, братъ, не читаю, а только беллетристику", - выразился Леонтьевъ, - "пиши, брать, пиши; въ старости и отъ 80-летнихъ авторовъ выходили знаменитыя творенія". Во время чая разговоръ коснулся старца о. Амвросія: "Вотъ человѣкъ хорошій! Я былъ у него и завтра

думаю опять побывать. Онъ преподаеть Евангеліе, только совствить чистое, а вотъ-мое Евангеліе",-при этомъ взяль изъ своего кармана книжку и подаль Леонтьеву. Въ это время у Леонтьева была брошюра Елеонскаго, въ которой доказана тожественность и неповрежденность Евангелія и отвергались противныя мивнія Толстого. Леонтьевъ подаль ее Л. Н., но онъ сказаль: "Бротюра дёльная, она рекламируеть и мое Евангеліе". Туть Леонтьевь не сдержаль себя, вспыхнуль и сказаль: "Какъ это возможно, чтобы здёсь въ пустыни быть, гдё такой старецъ какъ о. Амвросій, и говорить о своем Евангеліи? Это можно, развѣ, въ какой глуши, въ Томскъ что-ли?" Замъчание это задъло гордость Л. Н. Онъ рѣзко отвѣтилъ: "Что-жъ, у тебя много знакомыхъ, пиши въ Петербургъ: можетъ быть, сошлютъ меня въ Томскъ". Затъмъ ушелъ въ гостинницу и уъхалъ въ Ясную Поляну, не побывавъ у старца. На другой день Леонтьевъ просиль Е. узнать отъ о. Амвросія подробности о его бесёдё съ Толстымъ, но о. Амвросій одно велѣлъ передать Леонтьеву, что Толстой быль у него около часа. "При входъ Толстого въ мою келью, я благословиль его, и онъ поцёловаль мою руку. А когда сталь прощаться, то, чтобы избъжать благословенія, поцъловаль меня въ щеку". Разсказывая это, старецъ едва дышалъ, такъ сильно утомила его беседа съ графомъ. "Гордъ очень", добавилъ о. Амвросій".

Пусть все это пересказано въ "Историческомъ описаніи" съ значительными утолщеніями линій, но вѣдь "евангеліе" Л. Толстого—извѣстно, оно—свое, слишкомъ свое. Въ христіанствѣ Толстому дорого то, что отвѣчаетъ его собственной вѣрѣ, его личной религіи Толстовско-человѣчьей, слишкомъ человѣчьей. Вѣдь вся конструкція Толстовскаго богословія,— простая до дѣтскости и мощная этой своей кровянистой дѣтскостью,—совершенно исключаетъ всякій теозисъ, больше—его теодицея добраго Бога, Бога добра, обращается силою вещей въ констатированіе безсилія Бога, безсилія добра и безсмыслицы жизни. Вогу просто нѣтъ дѣла до исторіи человѣчества. Его нѣтъ, если она есть. Но Онъ нуженъ, и нужно заново начать сознавать Его, заново создавать жизнь людей, начать творить земное бытіе человѣческое по новому, по моему, тогда только и обнаружится и истинная воля "Божья", воля требовательной совѣсти человѣческой.

У Толстого пассивный протесть, смиренный бунть—неслышное посягательство на чудотвореніе, на своевластное, своеумное, своевольное разрѣшеніе міровой и личной трагедіи.

Та правда, то, отчего рвался Толстой всёми силами своей души, расцвътаетъ съ каждой весной и вянетъ по осени, но та правда, къ которой онъ рвался-бездейственна, и бездейственна оттого, что ею созидается неразрѣшимая антиномія, неразрѣшенная ни жизнью, ни смертью Толстого. Антиномія эта въ стремленіи покориться Богу, противоборствуя волѣ Его, проявляющейся въ мірѣ, говоря затасканными словами Карамазова, Бога принять безъ міра Божьяго, въ стремленіи, наконецъ, сотворить свой міръ, показать свое чудо, от себя, безъ въры въ чудеса отъ Бога. Последній предъль всъхъ разръшеній Толстовскаго вопроса о томъ, какъ жить свято и праведно, крайняя точка всёхъ опрощеній, несопротивленій, небраченія, некуренія, невденія, недвланія и другихъ "не", всего безкрестнаго Толстовскаго аскетизма, -сумьть жить, не живя, добыть въ земной жизни такую правду, по которой на землъ жить нельзя, оставаясь въ міръ, въ исторіи, -- нельзя жить своей волей безъ особой благодатной помощи свыше, безъ чудесной помощи Божіей, какъ жили святые и подвижники. Конечно, это квадратура круга—жить, не живя, своими-то личными, безблагодатными силами, -- въ мірѣ быть и міра не познать, жить на землъ и землю не принимать. Здъсь безсиліе совъсти обезбоженной, безтайной религіозности. Церковное христіанство въ подвигѣ аскетическаго жизнечувствованія, пріобщая тайнъ крестности Христовой въ Святыхъ Таинствахъ своихъ все живое, мистически разрѣшаетъ эту антиномію правды и жизни. "Мы знаемъ, что мы отъ Бога, и что міръ лежить во злв. Знаемъ также, что Сынъ Божій пришель и даль намь свёть и разумь, да познаемь Бога истиннаго, и да будемъ въ истинномъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ: Онъ есть истинный Богь и жизнь вѣчная" (Іоанн. І посл., 19-20). Морально-раціоналистически, одной гордыней большой сов'ясти, величайшей мукой безъ креста и религіей безъ Христа, одинокимъ челов вколюбіемъ, огромностью челов в чьей — какая бы она ни была, — антиноміи этой не разр'єшить, какъ бы трогательна и величественна ни была одинокая невърующая молитва Толстого, какъ бы ни умиляль его подвигь въры невърующей...

Въдь здъсь, въ концъ-концовъ, просто кассація всего дъла

Христова, здёсь шевелится мысль о новомъ искупленіи, о новомъ спасеніи. Если Христосъ... не смогъ, и Церковь... лжетъ, то не ужели же Толстой, какой онъ ни будь съ человъческой стороны, и мы, если за нимъ понатужимся,—можемъ! Если Христосъ не воскресъ, и суетна наша старая въра, то жизнь и смерть Толстого, отстраняя эту старую въру, развъ въ силахъ дать жить новою върой?

Какъ въ жизни Толстой не рѣшилъ страшной антиноміи, но безнадежно рѣшалъ, такъ и уходомъ, и смертью рѣшалъ, не рѣшивъ... Смерть Толстого—послѣднее крушеніе его вымогательства чуда отъ себя.

Весь душевный обликъ Льва Николаевича, всё настроенія и стремленія послёдней полосы его жизни, послёдніе дни, уходъ,—все это удивительно христіанское по внёшности; и здёсь большой и страшный соблазнъ для всёхъ, утратившихъ живое чувство подлиннаго, церковнаго христіанства, обаяніе религіи истинной, исторической.

Здёсь въ фактахъ жизни Толстого, такъ же какъ и въ его богословствованіи, въ евангелизмѣ его,—страшно обманывающая вицимость христіанская, безтайное христіанство отъ рукъ человѣческихъ, Толстовскихъ упрямыхъ рукъ.

Несопротивленіе, недѣланіе, опрощеніе, воздержаніе, смиреніе, подвижничество, отказъ отъ міра, кротость, самоотверженіе и любовь, наконець, радость умиранія, моленіе о смерти какъ высшемъ и готовность къ ней,— все это явственно христіанскіе психологическіе узоры. Однако въ нихъ не достаетъ чего-то самаго главнаго, какой-то такой единственной черточки, отсутствіе которой обезсиливало Толстого, раздѣляло его съ церковью психологически, какъ раціоналистически-протестантская догматика раздѣляла религіозно. Отсутствіе подлинной черточки обращаетъ несопротивленіе въ протестантство, недѣланіе въ страшное дѣло чудотворенія, опрощеніе въ своеволіе, въ прихоть, смиреніе въ бунтъ. И такъ потому, что здѣсь не во Христѣ спасеніе, а самъ человѣкъ спасаетъ себя, собственными усиліями спасается самъ и одинъ..., Самъ одинъ живу, самъ одинъ и умру"...

Оторвавшись отъ міра, отъ исторіи, быта, семьи, Толстой вѣриль въ самоспасеніе, въ то, что онъ и всякій человѣкъ, стоить только захотѣть, хорошенько постараться, да понавалиться всею своей духовной тяжестью—самъ собою спасется, избавится отъ зла человъческими личными усиліями, спасеть и избавить весь міръ. Проста и непреложна была для него эта возможность внутренняго подвига святости отъ себя, возможность добыть чудесное "все"—изъ ничего. Но изъ цълаго комплекса маленькихъ, разумно-выговоренныхъ, трезвенныхъ, даже постныхъ "не" не получится это его молчаливое, огромное "Да". Человъкъ самъ одинъ, въ гордомъ сиротствъ своемъ, ничего не можетъ сдълать внъ благодатной помощи свыше, безъ помощи чуда Божія въ немощи человъческой совершаемаго. "Безъ Меня не можете дълать ничего" (отъ Іоанна XV, 5).

Здёсь мы подходимъ къ мучительно отвётственному, сложному и страшному моменту религозной психологи. Какъ представляется мнъ, величайшее искушение было въ духовномъ опытъ Л. Н. Толстого, въ самомъ стремленіи его къ добру, и не въ религіи добра какъ ученіи, а именно въ опыть наживанія его, въ религіознодобрыхъ чувствованіяхъ, въ самомъ этомъ хорошествъ. Слишкомъ понятны, замфтны и легко распознаваемы въ своихъ соблазнахъ искушенія о злю, но не такъ понятны, незамітны и мучительно трудно распознаваемы искушенія о добрю, а они бывають... Изъ всёхъ возможныхъ видовъ искущеній самое, быть можеть, страшное по своей соблазнительности для людей большого сердца, почти неуловимое по своей тонкости и сложности, именно это, странное на первый взглядь, искушение о добрф; добромъ также можно соблазниться и соблазнить, какъ и зломъ. Вёдь добрымъ быть такъ хочется, такъ заманчиво, радостно, и какое все-таки дерзновеніе въ этомъ человічески простомъ стремленіи. Въ діланіи добра "прелесть" неощутимъе, но тъмъ страшнъе. Подъ игомъ добра еще тяжелъе и отвътственнъе, чъмъ подъ игомъ зла. И не случайно жизнь житейская, суровая и недовфрчивая, всякими тяжестями придавленная, всякими связями связанная, такъ осудительно, испытующе строго оглядываеть всякое незаурядь доброе настроеніе, чистое устремленіе, необычно доброе начинаніе. И въ этой боязливой оглядкъ не только рабскій страхъ сжившейся съ гръхомъ, озлобившейся жизни, но и мудрость мозолистыхъ усилій, вытянутыхъ жилъ во всечеловъческомъ, всенародномъ, всесвътномъ добываніи маленькаго, обыденнаго, зауряднаго добра. И всёхъ святыхъ подвижниковъ на первыхъ щагахъ міръ встрічаль этой недо-

върчивой, заподозривающей гримасой и только, сподобившись благодати Божіей, преодолівали они все это и покоряли людей... Церковь монашествующая, въ въкахъ собирающая въ сокровищницу свою по крошечкамъ чистое золото святости, имфетъ громадный опыть тяжелыхь испытаній для всякаго хорошества. Ей близко извъстны искушенія добромъ. Своеобразное противленіе добру имъетъ столь же глубокій религіозный смысль въ духовномъ опытѣ церковнаго христіанства, насквозь пропитаннаго смиреніемъ, какъ и непротивление злому. И у Толстого его наживание добра, въ добра богатьніе, все его хорошество тысныйшими, интимныйшими религіозно-психологическими нитями, кровянистыми жилками связывается съ его разрывомъ съ жизнью, съ бытомъ, съ семьей, съ церковью, вообще со всёмъ міроосужденіемъ, съ ссорой съ жизнью такой, какая она есть, съ непризнаніемъ воли Божіей, выраженной въ исторіи человіческой, въ житейской данности. Пусть Толстой позналь правду, во всякомъ случав съ силой ощутиль ея обаяніе, но, не воплотивъ ее, онъ уже устанавливалъ свое міроотношеніе, свои касанія жизни, какъ бы обладая ею. И не оттого такъ, что "ушель" онъ только передъ смертью. Уходъ не измѣнилъ здѣсь ничего. Уйти своею волей отъ того, отъ чего хотвлось уйти Толстому, какъ уже говорилось выше, задача неразрѣшимая человѣческими усиліями. Уйти было некуда. Искушаясь же добромъ, его обольстительно близкой возможностью и свободной достижимостью, онъ не провель до конца религіознаго отношенія ко злу, не соблюль "отношенія и ко злу по-Божьи" (слова Вл. Соловьева). Вѣдь такъ страстно, съ такимъ увлеченіемъ, какъ кладь спасающій, было принято Толстымъ непротивленіе злому, но развѣ же онъ провелъ его въ поведеніи своемъ, въ мысли своей, въ своемъ духовномъ жить ф-быть ф? Если вы возмущены до самыхъ глубинъ души и въ этомъ бушующемъ порывѣ сложите смиренно руки на груди, со всей силой мускуловъ вашихъ удерживая ихъ на мѣстѣ, --это героизмъ, огромный, но еще довольно внѣшній героизмъ, до подвига внутренняго смиренія, до подвига кротости, пониманія и прощенія здісь еще очень далеко. Не противиться не значить смириться, не противиться не значить понять и простить... Это похоже, какъ милостыню подавать съ сердцемъ или немилаго гостя по-хорошему встретить... Здёсь, если можно такъ выразиться, въжливость религіозная только, внъшность, обрядъ...

Хорошо и это извић, объективно, а внутри, субъективно, отъ этого тошно, больно, томительно. Въ подлиниомъ религіозномъ опытъ непротивленіе злу связано съ противленіемъ добру (первые последними будуть, и последніе первыми), самоотреченіе не столько въ стремленіи къ добру, сколько въ смиреніи передъ зломъ, сначала, во всякомъ случав это послюднее, а первое потомъ, когда добудешь последнее. Отдаться голосу требовательной совести легче, чёмь совеститься самой этой совести своей, царственно-непослушной, упрямой до мертвенной недвижности. Правда, частично Л. Н переживаль такой опыть, напримъръ, когда въ "Такъ что же намъ дѣлать" изобличаль свои переживанія около статьи "О переписи" и вообще когда изобличалъ свое раннее-своимъ же позднимъ. Но вотъ последняго-то изгиба души Толстой все-же не дозналь до конца, слишкомъ все-же "здоровый" быль человѣкъ, морально-сытый своимъ добромъ и своимъ тепломъ. Добро дѣлать легче же, чёмъ со зломъ примириться, принять и простить его. Подвигь смиренія не въ томъ, чтобы уйти отъ зла къ добру, а оть соблазна добраго уйти къ смиренному непротивленію злому. Вѣдь для добра отвергнуть зло легче же, чѣмъ со зломъ примириться кротко и послушно. Безбожное отношеніе ко злу-всегдашній грѣхъ раціоналистической морали, безотвѣтственнаго, религіозно-протестантскаго (въ широкомъ смыслѣ) хорошества.

Приходилось выбирать одно изъ двухъ: или принять то, что есть, что бываеть, съ безотвътной послушностью, съ молитвенной покорностью, съ мудрымъ безволіемъ Божьяго раба отдаться этой самой неизбывной обыденности, обыкновенности жизни, ища мудростью, смиряющейся въ любви, прощеніи и примиреніи, живого ощущенія руки Водителя, касанія правящей десницы Господней, дающей силу, дающей правду, дающей смыслъ жизни... Или другое—добиваться того, чего не бываеть, прать противъ рожна и даже до чуда...

И, въ концѣ-концовъ, поразительно—объективное, міровое безсиліе субъективно громаднаго подвига личной воли Толстого. И несмотря на то, что имя Льва Толстого побѣдило міръ, проповѣдь его, призывъ его, дѣло спасенія, какъ онъ дѣлаль его,—не только не побѣдили, но и не убѣдили. Если на безрезультатность эту взглянуть прямо и безбоязненно, становится грустно до безконечности, за человѣчество грустно и страшно... Если и такой, какъ сворнивъ. онь, не сдёлаль, если его, *такого*, не услышали, не послушали, то кто же еще сдёлаеть, кто можеть пытаться дёлать, кого услышать, послушають...

И не потому безсильно слово Толстого, что оно не отъ міра сего. А потому безсильно, что слово это-человъческое, здъшнее слово. Все въ немъ отъ міра сего, и міръ не возненавидить, а обезсилить, обезплотить слово это. Дело спасенія у Толстогодъло спасенія здішней жизни, общей жизни безъиндивидуальнаго, имманентнаго безсмертія; эсхатологія его окрашена хотя блѣднымъ, безправнымъ, но все-же несомнъннымъ имманентнымъ эвдемонизмомъ. И хотя въ крайнихъ точкахъ своихъ напряженныхъ усилій громадная Толстовская сов'єсть, кажется, пробивается къ міру трансцендентному, однако въ раціоналистическомъ рисункѣ своемъ сознательно выявляется всегда все-же въ мысли о здёшнемъ, земномъ, какою бы протестующей, отрицающей ни была она. Последнее религіозно-моральное усиліе совести Толстого въ томъ, чтобы не выть самимь собой, не быть индивидуально ни здёсь, ни тамъ, не быть личностью, чтобы быть съ Богомъ. Умереть здъсь не для того, чтобы во Христь Іисусь воскреснуть, а чтобы пріобщиться вічной жизни въ человічестві, жизни здісь же на земль, во всеобщемъ какомъ-то всечеловьческомъ хорошествь. Необъятно-громадная личность, полагающая всв усилія могучей воли, усилія своей геніальной самости въ томъ, чтобы не быть личностью ни въ этой, ни въ той жизни, уйти отъ себя и своего, - какая это ужасная трагедія личнаго самосознанія: спасти себя отъ себя...

И все это дёло спасенія у Толстого, гигантская попытка его спастись—убёжать оть себя, преобразить грёшное человёчество въ счастливое вёчное царство человёческой правды, преобразить человъческими же, личными, своими усиліями; какъ бездёйственна она, сколько тоски и отчаянія, смертной тоски и безысходнаго отчаянія несеть она вёрующимь въ нее.

Мнѣ почему-то вспоминается разсказъ Глѣба Успенскаго "Голодная смерть". Простой и страшный въ простотъ своей разсказъ про бѣднаго крестьянскаго мальчика, сироту Өедюшку, выкинутаго разными ужасами біографіи своей въ Петербургъ и здѣсь, среди чужихъ и холодныхъ улицъ огромнаго Петербурга, срэди чужихъ и холодныхъ улицъ опромнаго петербурга, срэди чужихъ и холодныхъ людей, наивно пытающагося какъ-нибудь сказать объ

ужасѣ жизни и... спасти эту жизнь. Ему, забитому и до вѣчной дрожи запуганному страшностью судьбы своей, человѣческой же, вѣдь, судьбы, кажется, что если выговорить все это понятными словами, всѣ ноймуть, все устроится. Онь ютится въ углахъ, служить половымь въ гостинницѣ, носитъ стихи по редакціямъ, надънимъ смѣются, не понимають, гоняють. "Не скрывая презрѣнія, редакторъ съ перваго же слова почти завопиль на Өедора: — Да что вы хотите? Что такое вы тутъ выводите? Что вамъ хочется сказать? — Я... — Что богатые — богаты, бѣдные бѣдны? Да? — Я... — Что бѣдные — такіе же люди, какъ и богатые? Такъ? А? Да? — Такъ... — Что несправедливо обижать, заѣдать? Да? Это? Потомъ — кисельные берега, молочныя рѣки... Всеобщій лимонадътазесъ? Такъ? — Я этого не писаль... Я тамъ"...

Наконець, въ меблированныхъ комнатахъ, въ немъ принимаетъ участіе добрая дѣвушка. Она, со словъ повѣсти Өедюшки, пыталась успокоить его тѣмъ, что не съ нимъ однимъ такія неудачи, указывала ему, какъ умѣла, на большихъ, крупныхъ поэтовъ, великихъ людей... Өедоръ, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался въ ея рѣчи — вѣдь ничего онъ этого не зналъ. Не зналъ онъ, что и до него писалось — и Боже мой сколько! — стиховъ на тѣ же темы, что и до него были люди, знавшіе бѣду и желавшіе помочь общему горю... Ничего онъ этого не зналъ и только ужасался, слушая эти разсказы. Когда разсказчица прочла ему два—три сильныхъ стихотворенія, касавшихся потлощеннаго Өедора предмета, онъ заревѣлъ и проговорилъ: — И ничего? — Что ничего? — Такъ ничего и послѣ этого?.. — Покуда мичего... Өедоръ ревѣлъ".

Испуганъ онъ былъ прошлымъ и еще больше испугался теперь, узнавъ, что "покуда ничего не вышло". Онъ окончательно ошалёлъ, и всё жильцы комнатъ думали, что онъ худо кончитъ... И дъйствительно, Өедюшка какъ-то на улице наткнулся на "редактора", тотъ съ жалости сунулъ ему "деньги", Өедюшка взялъ, самъ не зная какъ, и ужаснулся того, что сделалъ, напился и, протрезвевъ, испугался до смерти себя, и отъ этого испуга самого себя уморилъ себя голодомъ...

"И ничего"—"покуда ничего", воть результаты подвига неимовърныхъ усилій Толстовской воли. Смертный испугъ себя самого и, быть-можеть, эта "голодная смерть" какъ символъ, вотъ исходъ

для върующихъ только въ человъческія силы. "Покуда ничего" это отвъть культуры, имъ можеть питаться только внъщній человъкъ, для сознанія же, охваченнаго воплемъ умерщвляющей совъсти, для внутренняго человъка, все существо котораго попаляеть Толстовская жажда спастись человъчьими усиліями, это "покуда ничего"-вольная или невольная издевка. Здёсь нужны... чудо, или ужъ "голодная смерть", внъ этого — фальшь, самообманъ. И если могучая морально-творческая сила, моральное полнокровіе, богатырскій рость Толстого, а больше всего милость Божія, и въ этомъ отношеніи уберегали его отъ страшнаго исхода, то послѣ его жизни и смерти самымъ этимъ богатырствомъ Толстого идущіе за нимъ и ждущіе до нитки разорены, ограблены и раздѣты до нага... И если Толстой отвлеченнымъ раціонализмомъ своей морали обезсмысливаеть исторію, то исторія не останется, въроятно, въ долгу и сумъеть обезцънить и обезсмыслить такимъ же образомъ Толстого и его дѣло. И послѣ того, что онъ продѣлаль, — "покуда ничего". Воть бы Өедюшка-то ахнуль.

Но тѣ, кто около Толстого, вправду увѣровали, что если еще не они, то онъ уже можетъ, вотъ-вотъ возможетъ; они создавали въ душѣ своей суррогатъ религіи, быть-можетъ, уже не толстовство только, но религію Толстого. (Я увѣренъ, что крылатое слово "легенда", пущенное въ дни ухода Толстого, указало вѣрно, — не скажу почву для образованія новой религіи, но для обманчиваго подобія религіи, разбрызгивающагося у самого источника своего въ брызгахъ сектантства)...

Гдѣ-то въ клубкѣ благочестивыхъ чувствъ всѣхъ Чертковыхъ, Бирюковыхъ, Булгаковыхъ, если не въ нихъ, то въ сокрытомъ "нуменѣ" ихъ, уже надвязанъ узелъ обожествленія Льва Толстого, благочестиваго, благоговѣйно-молитвеннаго ожиданія отъ его жизни и смерти чуда, преображающаго жизнь. Уходъ Толстого Мережковскій прямо и назвалъ чудомъ. "Чудо свершилось",—объявилъ онъ въ "Русскомъ Словѣ". Это само по себѣ ничего не обозначало; обозначило, быть-можетъ, только, какъ мало, какъ шумно и сценично, книжно-общественно вѣритъ Д. С. Мережковскій въ чудо. Но, если не для Мережковскаго, когда-то болѣе чуткаго и тоньше чувствующаго по этой части, то для Толстовѣровъ, для людей въ подлинномъ смыслѣ религіозно-питающихся около Толстого, уходъ—чудо, чудесный актъ зачатія новой исторіи, новаго

бытія. Они должны бы были его праздновать такъ, какъ, ну, магометане, что ли,-бътство Магомета изъ Мекки въ Медину. Уходъ, вънчающій собою рядь дьйствій Толстого на пути отрыва отъ исторіи и зачатія ея заново, -- для нихъ высокій, религіозно-творческій акть діла спасенія, и кажется, еще воть только посліднее усиліе—и міръ спасется "Имъ", загорится отъ "Него", забѣлветъ въ бълосивжныхъ одвяніяхъ чистыхъ, явится новая живая правда. новая земля и небо новое. Толстой сделаеть то, что не сделали историческія религіи, и доведеть до конца діло великихъ учителей Іисуса, Будды, — безплодно ("пока ничего") прошедшихъ надъ міромъ. Но Толстой смертью обмануль ожиданія, или маловеріе върныхъ не посягнуло итти черезъ смерть, съ нею примирилось. Здёсь бунть добровольно или принудительно затихаеть. Но почему бы имъ не евангелизировать Толстого. Считая говорящихъ такъ, какъ я, какъ вообще православно-русскій людъ ворчаль Толстого, фарисеями, почему бы имъ не стать ученикамиапостолами не безсодержательнаго религіознаго толстовства, а существенной религіи Льва Толстого. Почему бы имъ не имѣть смѣлости довести великаго кощунства-по-нашему, великаго дѣла --- по ихъ върованіямъ до послъдняго оборота стращнаго винта. Скажутъ, они не идолопоклонники, ничего земного, плотскаго не обожествляють, видять благо "только въ стремленіи къ идеалу" 1), что Толстой не спасся, а спасался, еще важиве: міръ не спасъ, а спасаль; спасать и имъ оставшимся надлежить... Нътъ! Спасать безъ въры въ спасеніе психологически нельзя, дъло спасенія безъ Спасителя немыслимо, спасаться безъ возможности спастись значить погибнуть.

Въ глубинѣ глубинъ многочисленныхъ Толстовскихъ большихъ и маленькихъ "не". — отъ некуренія до... непринятія міра, не можетъ не лежать нѣкое религіозное "да", тайно питающее ихъ и животворящее. Если Христосъ не искупилъ міръ, и не во святомъ Крестѣ спасеніе, то есть иной путь, иное спасеніе. Если Христосъ не воскресъ, то гдѣ же то " $\partial a$ ", передъ судомъ котораго отвергается кассированное Толстымъ дѣло Христово. Неужели — здравый смыслъ...

Но Толстой умеръ... и "Господь Богъ да будетъ милостивымъ судіей". Волжскій.

і) В. Булгаковъ.

# Толстой противъ Толстого.

Отъ словъ своихъ оправдаенься и отъ словъ своихъ осудинься.

Mame. XII, 37.

I.

Величіе Толстого признано всёми, до такой степени встми и до такой степени во всемь, что становится жутко. Первый изъ Толстой стяжаль себъ міровую славу. И слава эта столь велика, что, быть-можеть, изъ всёхъ извёстныхъ людей последнихъ вековъ Толстой самый известный и изъ всехъ знаменитыхъ людей нашего времени самый знаменитый. Ни о ком изъживыхъ людей столько не говорили и не писали. Ни одинъ писатель, артисть и общественный діятель при своей жизни не быльславень въ такой степени, какъ Толстой, во вспхъ частяхъ свъта. И невольно поднимается вопросъ: поскольку подлинна эта слава? Поскольку искренно это признаніе?—вопросъ горькій, но неизбіжный. Слава Толстого холодная, внёшняя. Съ признаніемъ связывается глубочайтее равнодутіе. Да! Возмутительное равнодутіе къ тому, чъмг жилг и мучился Толстой всю свою жизнь, каменное невниманіе ко всёмъ душевнымъ стонамъ, ко всёмъ искреннимъ вздохамъ этого великаго и слабаго человъка.

"Вы считаете, что война необходима, — приводится въ "Аннѣ Карениной" изреченіе А. Катт'а. — Прекрасно. Кто проповѣдуеть войну, — въ особый передовой легіонъ, и на штурмъ въ атаку, впереди всѣхъ!"

Вы считаете, что Толстой великъ и мудръ,—можно сказать огромному большинству, т. е. сотнямъ мизліоновъ почитателей Толстого.—Прекрасно! Примите же за правду его завѣты и поуче-

нія,—и на штурмь въ атаку противъ всего, чёмъ вы живете, противъ всёхъ устоевъ вашей жизни!

Почитаніе Толстого въ величайшей степени словесное, разговорное, бумажное. Три четверти техъ, кто говорить о Толстомъ съ одушевленнымъ восторгомъ, журить и пьеть, т. е. совершенно игнорируетъ всв толстовскія мысли о пьянствв и куреніи. Девять изъ десяти считаютъ глупой сантиментальностью всѣ слова Толстого о воздержаніи и ціломудріи. Девяносто изъ ста пренебрегають запретомь имъть собственность и отбывать воинскую повинность и завътами жить на земль, питая и одъвая себя трудами рукъ своихъ. Получается лицемърнъйшее положение. Шумомъ славы заглушають полост Толстого, не слушая, что онъ говорить. Журналисты, адвокаты, доктора, которыхъ Толстой съ глубокимъ убъжденіемъ считаетъ шарлатанами и тунеядцами, присоединяють свой голосъ къ общему хору. И редко кто хочетъ отнестись къ Толстому какъ къ живому человвку, съ искреннимъ вниманіемъ къ тому, что онъ, Толстой, думаетъ и говоритъ, чемъ онъ, Толстой, мучится и живеть.

Еще менѣе настоящую славу Толстого можно искать въ тѣхъ (впрочемъ немногочисленныхъ) послидователяхъ Толстого, которые, пренебрегая личностью Толстого и божьимъ даромъ его художественнаго генія, пытаются осуществить букву его религіозно-философскаго ученія. Слишкомъ очевидна несоизмѣримость Толстого съ толстовствомъ. Самому Толстому стало невмоготу отъ толстовцевъ и онъ два раза заявиль о своемъ различіи отъ толстовства. "Мнѣ жаль расходиться съ вами во мнъніи,—пишетъ онъ Толстовскому Обществу въ Манчестерѣ,—но я не могу думать иначе". И въ дневникѣ онъ пишетъ о толстовцахъ: "Какъ (могуть они) спращивать, куда плыть, когда потокъ съ неотразимой силой влечетъ меня по радостному для меня направленію? Люди, которые подчиняются одному руководителю, вѣрятъ ему и слушаютъ его, несомнънно бродятъ впотьмахъ вмѣстѣ со своимъ руководителемъ".

Признаніе Толстого, словесное и лицемѣрное со стороны большинства, узкое и ограниченное со стороны "толстовства", не согрѣваетъ, не вдохновляетъ, какъ та истинная добрая слава, слава у Бога, о которой говоритъ ап. Павелъ и видѣніемъ которой ослѣплялись первые христіане-мученики. Толстой давно предчувствовалъ этотъ ужасающій холодъ всеобщаго признанія. "Ну, хорошо, ты будень славнъе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну, и что-жъ? Именно ну, и что-жъ? Эта слава, какъ и все "мірское", таить въ себѣ дурную безконечность и вѣчный голодь. Чѣмъ больше ея, тѣмъ становится холоднѣй и голоднѣй. И она никакъ не отвѣчаеть на тоть вопросъ, который ставиль Толстой. "И я ничего, ничего не могъ отвѣтить",— эъ отчаяніемъ говорить онъ. Такъ же ничего, ничего не могутъ отвѣтить виновники славы Толстого, т. е. тѣ, кто славу эту разносять, на центральный толстовскій вопросъ: ну, и что-жъ?

Для того, чтобы добраться къ живому Толстому, нужно прорваться сквозь обманчивый блескъ его славы, нужно миновать безбрежное море словъ, окружающихъ его имя. А сдълать это необходимо и до такой степени нужно! Вмѣстѣ съ Достоевскимъ Толстой-величайшее событие въ образованномъ русскомъ обществъ за вторую половину XIX въка. Вмъсть съ Достоевскимъ Толстой—явленіе вулканическое. Какъ огромный потокъ раскаленной лавы льется его вдохновеніе въ первую великую половину его жизни. И то, что интеллигенція, живущая на поверхности и поверхностью, то, что интеллигенція, обуреваемая последнимъ "ветромъ ученія" съ Запада, давно забыла и растеряла, Толстой со стихійной силой вулкана вынесь изъ-подъ земли, обогащенный темь таинственнымь соприкосновеніемь съ народной душой и съ великой стихіей народной жизни, которое составляеть высшее лостоинство генія. Кто не замыкается въ узкія рамки интеллигентскаго доктринерства, въ комъ не погасло окончательное желаніе смотръть открытыми глазами на жизнь, тотъ долженъ быть радостно изумленъ сокровищами толстовского творчества. Лава, вынесенная изъ подземныхъ глубинъ, полна теми "породами" и теми драгоцвиными минералами, которыхъ давно уже нъть въ такъназываемомъ образованномъ русскомъ обществъ, и потому для истинно-образованныхъ людей должна быть вдвойнё достойной самаго серьезнаго и глубокаго вниманія.

Чему учить Толстой? Гдѣ лежить живой нервь его болье чѣмъ полувѣковой дѣятельности? Какіе завѣты оставиль онъ намъ? Гдѣ святая святыхъ его жизни? Эти простые вопросы при малѣйшемъ вниманіи къ его личности, при малѣйшей любви къ правдѣ, становятся сложнѣйшими и труднѣйшими и кажутся почти неразрѣшимыми. Толстой писалъ "исповѣди", излагалъ съ величайшей

ясностью "въ чемъ его въра", отзывался на всъ вопросы жизни, и онъ загадочнъе Чехова, который никогда и не пытался исповъдываться и опредблять свою вфру, и столь же загадочень, какъ Гоголь и Достоевскій. Жизнь Толстого таить въ себъ какую-то невысказанную трагедію. О многихъ печаляхъ и мученіяхъ своей жизни Толстой говорить съ откровенностю, которая кажется часто ненужной. Но о чемъ-то самомъ печальномъ въ своей жизни онь молчить. Молчить, можеть-быть, потому, что и не можеть сказать и не хочет сказать. Некоторые хотять представлять себѣ жизнь Толстого какъ жизнь, полную исключительнаго душевнаго здоровья и подобную жизни древнихъ патріарховъ. Но мы уже знаемъ теперь, какое ужасающее несогласіе въ семейной жизни прикрывалось видимостью внёшняго мира. И "исключительное душевное здоровье" Толстого есть одинъ изъ многихъ интеллигентскихъ миновъ, которыми думаютъ закрыться отъ какой-то трудной и тяжелой правды. Есть что-то скрытое и страшное въ жизни Толстого, что фатально отразилось на всемъ его "дѣль", что поразило внутреннимъ безплодіемъ вторую половину его дъятельности.

И если мы хотимъ себъ отдать отчеть, что такое Толстой, если мы, сочувственно проникая въ личную жизнь Толстого, будемъ правдивыми передъ собой и благочестивыми передъ его памятью и передъ его безсмертной душой,—мы должны постараться заглянуть въ это скрытое и страшное его жизни и избавить себя и его отъ вольной и невольной лжи, которой самъ онъ сознательно и безсознательно не разъ подавалъ поводъ.

## Ц.

Есть два Толстыхъ: Толстой природный и Толстой искусственный. Первый Толстой—богоданный, съ дивной щедростью одаренный благосклонной къ нему, какъ къ любимцу своему, Матерью Землею, въ основъ своей таящій дядю Ерошку, веселаго человъка, который всъхъ и все любить, который не можетъ и не хочетъ каяться ни за одинъ свой "гръхъ". Второй Толстой—надуманный, безъ всякихъ даровъ отъ ума своего обо всемъ разсуждающій мыслитель, упорный моралисть, выросшій изъ Нехлюдова, этого холоднаго человѣка, ничего не любящаго, сантиментальнаго и самодовольно-слѣпого.

Когда дядя Ерошка, жившій въ сильныхъ страстяхъ Толстого и создавшій изумительнійшій расцвіть творческих силь въ Толстомъ, съ ужасомъ почувствовалъ преходящесть всего земного и только природнаго и THICTY BCCTO въ паническомъ, животномъ страхв передъ неизбъжной смертью бросился искать выхода, -Толстой вплотную подошель къ Церкви, и одинъ волосъ отдъляль его отъ спасенія, отъ благодатнаго претворенія дяди Ерошки во что-то невидимо-прекрасное. Одинъ волосъ только! Но туть-то и свершилась нѣмая трагедія. Дядя Ерошка обернулся звёринымъ своимъ существомъ, заупрямился, загордился, застылъ въ своей нераскаянности, и великая возможность погасла на многіе годы. Дмитрій Нехлюдовъ, съ юности жившій въ Толстомъ, вдругь сталь шириться и занимать мѣсто Ерошки. Мелкій разсудокъ его и любовь къ "добродътели" съ готовностью оправдали Ерошкину гордость высшими, самыми европейскими соображеніями о неразумности Церкви, и началась послѣдняя пора жизни Толстого. Старый Ерошка, такой же геніальный и прозорливый, какъ прежде, и такой же лукавый, затихъ въ страстяхъ своихъ и, пользуясь всёми благами жизни, окруженный дорогой простотой и незамѣтной роскошью (завтракъ заново готовился до четырехъ и пяти разъ, чтобы къ выходу Льва Николаевича изъ рабочаго кабинета всегда быль горячь и свёжь), жиль въ полномъ довольстве, а въ это время князь Нехлюдовъ развилъ общирную писательскую дъятельность, направляя всъ удары въ угоду Ерошки на невидимый камень, о который ушибся Ерошка, — Церковь. Двинадцать томовъ геніальнаго творчества дяди Ерошки были объявлены княземъ Дмитріемъ "художественной болтовней", и князь отъ себя написаль еще восемь томовь, изредка пользуясь даромъ Ерошки въ своихъ нехлюдовскихъ цёляхъ, изрёдка позволяя дядё Ерошкі по-старому сверкнуть геніальностью.

Такъ прожилъ Толстой болѣе тридцати лѣтъ, и когда всѣмъ казалось, что Ерошка давно уже угасъ и затихъ, что Толстой и Нехлюдовъ—одно, когда Церковь была сто разъ "разрушена" и кощунственно оклеветана Нехлюдовымъ, вдругъ неожиданно, съ силой, заставившей радостно встрепенуться всѣхъ любящихъ Толстого, проснулся въ Толстомъ дядя Ерошка. Несмотря на увѣренія Нехлюдова, что все великольпно, что съ тьхь поръ какъ открылась князю "истина", радость и счастье жизни въ немъ все растет, Толстому стало тошно жить въ своей яснополянской нехлюдовщинь, и онъ ночью тайкомъ бѣжалъ. Необычайно характерно, пуда онъ бѣжалъ. Нехлюдовъ въ своихъ произведеніяхъ съ такой ясностью доказалъ, что Церковь— обманщица и совратительница, что, казалось бы, Толстому нужно было въ своемъ уходѣ изъ дома за тридцать верстъ обходить каждую церковь. И вмѣсто этого Толстой ѣдетъ въ Оптину пустынь, въ одну изъ твердынь церковной, т. е. самой ужасной лжи, къ старцамъ, къ этимъ наиболье сильнымъ, по Нехлюдову, соблазнителямъ и обманщикамъ. Чувствуя свою слабость въ личномъ сознаніи Толстого, чувствуя, что Толстой вотъ-вотъ готовъ уйти изъ его рукъ, Нехлюдовъ обертывается Чертковымъ...

Еще бы! Нехлюдовъ хитеръ и упоренъ. Вся его долгая работа въ одно мгновеніе могла бы растаять какъ воскъ отъ какого-то пламени, которое вотъ-вотъ готово было вспыхнуть надъ умирающимъ. "Примиритесь съ Церковью и православнымъ русскимъ народомъ",—по телеграфу умолялъ митрополитъ Антоній. Но Нехлюдовымъ не нужно было никакого примиренія. Послідній актъ трагедіи совершился, и Нехлюдовъ, торжествуя, приняль участіе въ ужасномъ семейномъ раздорів, пользуясь той нотаріально-скрівленной бумажкой, самое составленіе которой такъ противно всей природів Толстого.

"Совъсть Россіи ушла",—написаль Мережковскій въ газеть. "Я отвергаю слухи, что отъвздъ этоть—реклама",—сказаль Шпиль-гагенъ. "Я самъ готовъ на то же самое",—отозвался Стриндбергъ, и поднялась та газетно-журнальная шумиха, которой заглушилась вся скорбная правда кончины Толстого.

Да, смерть Толстого закончила нѣмую трагедію его жизни. И есть въ этой смерти что-то грустное, тоскливо-печальное, одинокое.

Здёсь тайна есть... Мнё слышатся призывы И скорбный стонъ съ дрожащею мольбой, Непримиренное вздыхаеть сиротливо И одинокое горюеть надъ собой.

## III.

Попробуемъ же приподнять край завѣсы надъ безмолвной трагедіей. Чтобы быть убѣдительнымъ, нужно быть документальнымъ. Казалось бы, что можетъ быть легче! Толстымъ написано около 10,000 стр. "Документовъ"—цѣлое море.

Но трудность обозначается съ суровой рѣзкостью. Толстой-Нехлюдовъ считаетъ 12 первыхъ томовъ своихъ писаній художественной болтовней и придаетъ настоящую цѣну только 8 послѣднимъ. Авторъ же "Войны и мира", Толстой-Ерошка, съ совершенно такой же категоричностью считаетъ писанія князя Нехлюдова моралистической болтовней и въ 8 послѣднихъ томахъ считаетъ истинно-цѣннымъ только Ерошкинъ чисто-художественный элементъ. Что послѣдній тезисъ есть также утвержденіе самого Толстого,— увидимъ ниже.

Очевидно, чтобы решить споръ Толстовскаго сознанія съ Толстовскимъ ченіемъ, нужно предварительно установить сравнительную итиность показаній Нехлюдова и показаній Ерошки. И эту сравнительную ценность нужно установить не только съ нашей точки зрѣнія, но съ точки зрѣнія самою Толстого. Такъ какъ князь несмотря на свое правдолюбіе часто бываеть тенденціозень и искажаеть совершенно извъстные намъ факты, а дядя Ерошка этого не делаеть никогда и, главное, не можеть сделать по своей, Ерошкиной, природь, то, очевидно, неоднократныя заявленія князя о своемъ тождествъ съ Толстымъ мы должны взять подъ сомнъніе. Мы имъ не можемъ върить, потому что самъ Толстой имъ не върить. А художественная болтовня дяди Ерошки, безыскусственная и простая, какъ сама Природа, несмотря на всѣ увѣренія Нехлюдова, должна принять характеръ исключительной документальности и редкой правдивости. Если мы очистимъ Толстого отъ болезненныхъ наростовъ Нехлюдовскаго сознанія и примемъ его въ его первоначальной, стихійной природь геніальнаго дяди Ерошки, мы увидимъ, что вся раціоналистическая "болтовня" князя Нехлюдова совершенно отвергается Толстымъ-художникомъ и что поэтому Нехлюдовское отрицаніе Церкви совсвиъ не первично, не исключительно для Толстого-Ерошки, который въ стихійномъ, художественномъ творчествѣ своемъ Церковь признаеть не безсознательной, но огромной силой.

Нехлюдовъ въ "Исповеди" въ порыве благочестивой лжи хочетъ оклеветать Ерошкино творчество. Онъ говоритъ про лучшіе годы писательства Толстого: "Въ это время я сталь писать изътишеславія, корыстолюбія и гордости. Въ писаніяхъ своихъ я дёлаль то же самое, что и въ жизни. Для того, чтобы имёть славу и деньш, для которыхъ я писалъ, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я такъ и дёлалъ". Уличимъ же князя во лжи. Посмотримъ, что пишетъ самъ Толстой о своемъ творчестве въ письмахъ какъ-разъ въ то время, когда онъ началъ "писать".

"Душенька дяденька Фетинька. Ей Богу, душенька, и я васъ ужасно люблю. Воть те и все. Повъсти писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишите; но любить хорошаго человъка очень пріятно. А можетъ-быть противь моей воли и сознанія не я, а сидящая во мнъ еще не назръвшая повъсть заставляеть любить васъ. Что-то иногда такъ кажется. Что ни дълай, а между навозомъ и коростой нътъ-нътъ да возъмешь и сочинишь".

"Я теперь весь погружень въ чтеніе изъ времень 20-хъ годовъ и не могу вамъ выразить то наслажденіе, которое я испытываю, воображая себѣ это время. Странно и пріятно думать, что то время, которое я помню, 30-е годы,—уже исторія. Такъ и видишь, что колебаніе фигуръ на этой картинѣ прекращается—и все устанавливается въ торжественномъ покоть истины и красоты. Молюсь Богу, чтобы Онъ дозволиль сдѣлать хоть приблизительно то, что я хочу. Дѣло это для меня такъ важно, что, какъ вы ни способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Такъ важно, какъ важна для васъ въра. И еще важнъе, мнъ бы хотпълось сказать. Но важнъе ничего не можетъ быть. И оно то самое и есть".

Не внёшніе мотивы славы и корыстолюбія заставляли Толстого творить, какъ лжеть Нехлюдовь, а внутренняя необходимость, ссвершенно не зависящая оть его сознательной воли. И писаніе для него было дёломь столь важнымь, что онь молился о немь, какъ о чемь-то самомь значительномь и нужномь, что есть въ жизни. Нехлюдовь клевещеть: "надо было (по мотивамь внёшнимь) скрывать хорошее и показывать дурное. Я такъ и дълалъ". А подлинный Толстой-Ерошка свидётельствуеть, что онь не зналъ

заранье, что напишеть, и потому "дёлать" въ своемъ творчествё ничего не могь. "Глава о томъ, какъ Вронскій принялъ свою роль послё свиданія съ мужемъ, была у меня давно написана. Я сталъ поправлять и совершенно неожиданно, но несомнинно, Вронскій сталъ сталъ поправлять и совершеню неожиданно, но несомнинно, Вронскій сталъ сталъяться. Теперь же для дальнёйшаго оказывается, что это было органически необходимо". Если между навозомъ и коростой Толстой зарождалъ свои творенія съ необходимостью, съ какой зарождается завязь на оплодотворенномъ деревё, то и рожденіе уже назрёвшаго плода было для Толстого "неожиданнымъ" и потому органически необходимымъ. Эта внутренняя необходимость и величайшая безыскусственность находить въ одномъ письмё изумительно сильное выраженіе:

"Бабушка! Весна!.. Отлично жить на свётё хорошимъ людямъ, даже и такимъ, какъ я, хорошо бываетъ... Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я старая, померзлая и еще подъ соусомъ сваренная картофелина; но весна такъ дёйствуетъ на меня, что я застаю себя въ полномъ разгарѣ мечтаній о томъ, что я растеніе, которое распустилось вотъ только теперь, вмъстъ съ друшми, и станетъ просто, спокойно и радостно расти на свътъ Божіемъ... Все старое прочь! Всѣ условія свѣта, всю лѣнь, весь эгоизмъ, всѣ пороки, всѣ запутанныя, неясныя привязанности, всѣ сожалѣнія, всъ раскаянія, — все прочь! Дайте мъсто необыкновенному цвътку, который надуваетъ почки и вырастаетъ вмъсть съ весной"...

"Посмотрите на лиліи полевыя,—поистинѣ можно сказать о художественномъ творчествѣ Толстого,—какъ онѣ растутъ? Онѣ не трудятся, не прядутъ". Вотъ когда евангельскій завѣтъ Толстой по-настоящему исполнялъ. Онъ не трудился и не прялъ, а все въ немъ благодатью божественной Природы росло и зрѣло само. До такой степени само, до такой степени помимо усилій его воли и помимо его сознанія, что лично онъ не могъ даже обогатиться своими собственными откровеніями. Не въ этомъ ли вся трагедія его? У его художественнаго генія неисчислимыя богатства, а его личное сознаніе нищенски страждеть отъ голода и питается лебедой протестантскаго раціонализма, не имѣя ключей и пути къ собственнымъ сокровищамъ.

#### IV.

Мы видъли какъ Нехлюдовъ лжетъ. Онъ забываетъ результаты собственнаго Толстовскаго опыта, онъ завъдомо искажаетъ то, что самъ Толстой прекрасно знает и даже помнить. Но дёло не въ простой лжи. Туть ложь благочестивая. Гг. Нехлюдовы всегда лгуть изъ принципа. И ложь Нехлюдова-Толстого, оставаясь ложью, т. е. искаженіемъ дійствительности, на самомъ діль принципіальна. Нехлюдовъ живетъ разсудкомъ. Для него высшую авторитетность имъетъ разсудочная связь головныхъ мыслей. Изъ дъйствительности онъ признаетъ только то, что сообразно съ его нехлюдовскимъ умомъ, все же невивщающееся въ его скудные горизонты онъ фанатически предаетъ мечу и огню. Кощунственное описаніе объдни въ "Воскресеніи", вся богословская болтовня князя Дмитрія въ последнихъ 8 томахъ сочиненій Толстого, исполненная философской бездарности и моральной безтактности, -- это все продукты недалекаго Нехлюдовскаго "ума". Но для Толстого-художника, для дяди Ерошки, нътъ ничего ничтожнъе, чъмъ "умъ" вообще и Нехлюдовскій въ особенности. Столкновеніе между Нехлюдовскимъ маревомъ и Ерошкиной стихійностью носить поэтому глубочайшій характерь, между ними ніть и не можеть быть примиренія, и потому Нехлюдову остается одинъ только выходъ: лать. И онъ съ благочестивымъ упорствомъ, нераскаянно лжетъ.

Посмотрите какъ Толстой-художникъ издѣвается надъ "умомъ". "Пфуль быль однимъ изъ тѣхъ безнадежно, неизмѣнно, до мученичества самоувѣренныхъ людей, которыми только бываютъ нѣмцы, и потому именно, что только нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины... Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко себя и другихъ. Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знатъ не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было что-нибудъ знатъ. Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину — науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина". И въ "Войнѣ и мирѣ", монументальнымъ красотамъ которой прямо

устаень изумляться, Толстой со спокойнымь сарказмомъ великана, легко опрокидывающаго дѣтскія сооруженія, не перестаетъ указывать всю ничтожность "Пфулевскаго" ума передъ величіемъ, значительностью и неисповъдимостью развертывающихся событій. Ходъ жизни и военныхъ дѣйствій ничего общаго не имѣетъ съ умствованіями Пфулей, Вейротеровъ, Миковъ и Шмидтовъ. Они убѣждены, что все дѣлается ими, что побѣды зависятъ отъ ихъ раціональныхъ плановъ, а пораженія оттого, что ихъ "не послушали". А Ерошка-Толстой, какъ орель парящій въ неизмѣримой высотѣ надъ ними, показываетъ съ наглядностью ослѣпительной, что жизнъ таинственна и непостижима въ своей сущности и всѣ результаты на поверхности ея зависятъ отъ какахъ-то творческихъ, неуловимыхъ и непередаваевыхъ движеній въ ея глубочайшихъ и скрытыхъ нѣдрахъ.

Эту противоположность между ограниченностью и самоувѣренной слѣпотой "ума" и глубочайшей мудростью и зрячестью чего-то большаго, чѣмъ "умъ", Толстой четко вырисовываетъ въ двухъ фигурахъ: Кутузовѣ и Наполеонѣ.

Наполеонъ безконечно ловче тяжеловъсныхъ Пфулей. Но сущность ихъ одна и та же: то, что Пфуль или Вейротеръ думаютъ, то Наполеонъ дълаетъ, и дълаетъ легко, артистически. Какъ Пфуль и Вейротеръ, Наполеонъ увъренъ, что событія европейскія, міровыя, повинуются его волю, которая господствуетъ надъ ними посредствомъ геніально-ловкаго ума. Но Толстой съ неумолимой силой и воочію показываетъ иллюзію Наполеоновской увъренности, съ художественной документальностью уличаетъ его въ театральности и въ разыгрываніи натянутой на себя роли и, главное, саркастически демонстрируетъ, что умъ его только ловокъ и блеститъ фальшивымъ, обманчивымъ блескомъ.

Онъ приводить цѣликомъ ту диспозицію Наполеона передъ Бородинскимъ сраженіемъ, "про которую съ восторгомъ говорять французскіе историки и съ глубокимъ уваженіемъ другіе историки".

"Диспозиція эта, весьма неясно и спутанно написанная, ежели позволить себѣ безъ религіознаго ужаса къ геніальности Наполеона относиться къ распоряженіямъ его, заключала въ себѣ четыре пункта, — четыре распоряженія. Ни одно изг этихъ распоряженій не могло быть и не было исполнено"... "Генералъ Кампанъ двинется

ег лъсг, чтобы овладъть первыми укръпленіеми. Дивизія Кампана не овладела первымъ укрепленіемъ, а была отбита, потому что, выходя изъ леса, должна была строиться подъ картечнымъ огнемъ". "Вице-король овладъетъ деревнею (Бородинымъ) и перейдетъ по своимъ тремъ мостамъ, слъдуя на одной высотъ съ дивизіями Морана и Фріана. Пройдя Бородино, вице-король быль отбить на Колочь и не могь пройти дальше; дивизіи же Морана и Фріана не взяли редуть, а были отбиты, и редуть въ концъ сраженія уже быль захвачень кавалеріей (вёроятно, непредвидённое дёло для Наполеона и неслыханное)". Но Наполеонъ написалъ еще въ своей диспозиціи, что во время боя будуть даны приказанія, соотвытствующія дъйствіями непріятеля. И Толстой съ глубокой насмѣшкой дяди Ерошки въ цёлой главё разсказываетъ, какія приказанія отдаваль Наполеонь во время боя, какъ онъ дѣлалъ свои распоряженія на основаніи ложныхъ донесеній, и распоряженія эти или исполнялись раньше, чёмъ о нихъ подумалъ Наполеонъ, или же не могли быть и не были исполняемы; какъ, останавливая Кломерана и посылая Фріана, Наполеонъ "въ отношеніи своихъ войскъ играль ту роль доктора, который мешаеть своими лекарствами", и какъ вдругъ послѣ 8-мичасового боя онъ почувствовалъ безсиліе своего "ума" передъ чімь-то гораздо боліве властнымь.

"Войска были тѣ же, генералы тѣ же, тѣ же приготовленія, та же диспозиція, то же proclamation courte et energique; онъ самъ былъ тотъ же, онъ это зналъ; онъ зналъ, что онъ былъ даже гораздо опытнѣе и искуснѣе теперь, чѣмъ онъ былъ прежде; даже врагъ былъ тотъ же, какъ подъ Аустерлицемъ и Фридландомъ,—но страшный размахъ руки падалъ волшебно-безсильно"...

"Прежде послѣ двухъ—трехъ распоряженій, двухъ—трехъ фразъ скакали съ поздравленіями, съ веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями: корпуса плѣнныхъ, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis, и пушки и обозы,—и Мюратъ просилъ только позволенія пускать кавалерію для забранія обозовъ. Такъ было подъ Лоди, Маренго, Арколемъ, Іеной, Аустерлицемъ, Ваграмомъ и т. д., и т. д.. Теперь же что-то страшное происходило съ его войсками... Въ первыхъ сраженіяхъ своихъ онъ об думывалъ только случайности успѣха, теперь же безчисленное количество случайностей представлялось ему, и онъ ожидалъ ихъ всѣхъ. Да, это было какъ во снѣ, когда человѣку представляется

наступающій на него злодій, и человікь во сні размахнулся и удариль своего злодія съ тімь страшнымь усиліемь, которое, онь знаеть, должно уничтожить его, и чувствуеть, что рука его, безсильная и мягкая, падаеть какъ тряпка, и ужасъ неотразимой погибели охватываеть безпомощнаго человіка".

Антитеза Наполеону Кутузовъ. "Онъ не геній", онъ не ищетъ "иллюзорной" власти надъ міровыми событіями, онъ безконечно далекъ отъ театральности.

Скромнаго русскаго полководца какъ-будто и нельзя противопоставлять "великому" корсиканцу. Но Толстой открываеть въ душт усталаго старика черты такого потрясающаго величія, въ сравненіи съ которымъ "героизмъ" Наполеона становится опереточнымъ.

Оть глубины души Кутузовъ презираеть пфулевскій "умъ".

"Все, что говорилъ Денисовъ, было дѣльно и умно. То, что говориль дежурный генераль, было еще дёльнёе и умнёе. Но очевидно было, что Кутузовъ презираль и знаніе и умь и зналь что-то другое, что должно было рышить дыло, — что-то другое, независимое от ума и знанія". И презираль "не умомь, не чувствомь, не знаніемъ (потому что онъ и не старался выказывать ихъ), а чъмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своей старостью, своею опытностью". Что же ясно было второму разуму Кутузова, что зналъ онъ своимъ старческимъ вторымъ знаніемъ? "Все вниманіе Пьера было поглощено серьезнымъ выраженіемъ лицъ въ этой толпъ солдать и ополченцевь, однообразно-жадно смотравшихъ на икону. Какъ только уставшіе дьячки (півшіе двадцатый молебенъ) начинали лениво и привычно петь: "Спаси отъ бедъ рабы Твоя, Богородице", и священникъ и дьяконъ подхватывали: "Яко вси по Бозѣ къ тебъ прибъгаемъ, яко нерушимой стънъ и предстательству",на всёхъ лицахъ вспыхивало опять то же выраженіе сознанія торжественности наступающей минуты, которое онъ видълъ подъ горой въ Можайскъ и урывками на многихъ и многихъ лицахъ, встржченныхъ имъ въ это утро; чаще опускались головы, встряхивались волосы и слышались вздохи и удары крестовъ по грудямь". Вот что зналь Кутузовь, воть что ощутиль безь посредства "ума" своего и вотъ почему спокойно принялъ бой подъ Бородинымъ. "Вотъ, ваше сіятельство, правда, правда истинная, проговориль Тимохинь. — Что себя жальть теперь? Солдаты въ

моемъ батальонѣ, повѣрите ли, не стали пить водку: не такой день, юкорятъ".

"Ополченцы, — говоритъ Борисъ, — тѣ прямо надѣли чистыя, бѣлыя рубахи, чтобы приготовиться къ смерти...

- Ты что говоришь про ополченье? спросиль Кутузовъ Бориса.
- Они, ваша свётлость, готовясь къ завтрашнему дию, къ смерти, надёли бёлыя рубахи.
- А!.. Чудесный, безподобный народь, сказаль Кутузовь и, закрывь глаза, покачаль головой. Безподобный народь!—повториль онь со вздохомь".

Второй разумь Кутузова оказался мудрѣе всей Пфулевской геніальности Наполеона. Звѣрь нашествія быль ранень смертельно подъ Бородинымь. И вмѣстѣ со старикомъ Кутузовымь великій писатель земли русской считаеть этоть день днемъ величайшей побѣды, славнѣйшимъ для русскихъ.

Такому соотношенію между разумомъ первымъ и разумомъ вторымъ учить насъ художникъ Толстой. И учить съ такой чёткостью художественнаго ясновидінія, которая во всемірной литературів остается единственной.

Но Нехлюдовъ совершенно несогласенъ съ Толстымъ. Разума второго онъ не знаетъ. Знаніе второе, открывавшееся Толстому въ творчествѣ, ему абсолютно недоступно. Онъ своимъ скуднымъ "умомъ" не можетъ его ухватитъ. А такъ какъ Нехлюдова, по его же собственному, вполнѣ искреннему признанію въ "Исповѣди", обуреваетъ похоть учительства, то ему остается совершенно забыть уроки Толстого и, бережно поднявши повергнутаго во прахъ Пфуля, поставить его на пьедесталъ и начать передъ нимъ куренія. Пфулевскій умъ, изничтоженный Толстымъ-Ерошкой, дѣлается излюбленнымъ орудіемъ Нехлюдовской критики Толстого въ послѣднихъ 8 томахъ, и "противнѣйшая самоувѣренность" "выдуманной" нѣмцами богословской науки становится необходимой основой Нехлюдовскаго похода противъ Церкви,— величайшей святыни русскаго народа.

Но кто же лучше Толстого обнаружиль всю тщету Пфулевскихь замысловь? Кто монументальные Толстого доказаль, что Пфулевский умь, даже и въ геніальной тактикы Наполеона, совершенно ничтожень передъ духовными силами иного порядка, которыя со-

здають *непредвидънное* Пфулемь Бородино и неожиданно наносять "звѣрю" смертельную рану?

V.

Противоположность между Толстымъ-Ерошкой и Толстымъ-Нехлюдовымъ носитъ глубочайшій характеръ. Тутъ въ Толстомъ сталкиваются двѣ непримиримыхъ стихіи, и въ одной стихіи онъ сверхчеловѣчески геніаленъ, въ другой же покинутъ рѣшительно всѣми богами.

Разнородность стихій прекрасно чувствуеть самъ Толстой и самъ даетъ ей замѣчательное опредѣленіе.

Князь Нехлюдовъ разсудоченъ, "умъ" для него нѣчто высшее, но "умъ" всегда схематиченъ, дискурсивенъ, безобразенъ; въ немъ нѣтъ теплой крови дѣйствительности, нѣтъ трепета жизни. Въ противоположность этому, второй разумъ Кутузова, второе знаніе Толстого свободны отъ схематизма и отвлеченія, и свободу эту даетъ интуиція, — непосредственное видиніе, направленное на образы, на цѣлокупное видиніе жизни. Разсудокъ Нехлюдова, какъ и всякій Пфулевскій складъ ума, волею Рока обреченъ на вѣчное плѣненіе схемами, имъ же измышляемыми, разумъ Толстого-художника въ свободномъ полетѣ творческаго созерцанія достигаетъ того "умнаго мѣста" Платона, гдѣ "все устанавливается въ торжественномъ поков истины и красоты". И тогда ему хочется молиться. Схема плѣняетъ, орлиными крыльями благодатно даритъ Толстого образъ, символъ.

"Если близорукіе критики думають, что я хотёль описывать только то, что мнё нравится, какъ обёдаеть Облонскій и какія плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всемъ, почти во всемъ, что я писалъ, мною руководила потребность собранія мыслей, сцёпленныхъ между собою для выраженія себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряетъ свой смыслъ, страшно понижается, когда берется одна, безъ того сцёпленія, въ которомъ она находится. Само же сцюпленіе составлено не мыслію (я думаю), а чимъто другимъ, и выразить основу этого сцёпленія непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, дийствія, положенія". И однимъ изъ очевиднёйшихъ докавательствъ этого Толстой справедливо видитъ неожиданное для него самого "самоубійство" Вронскаго. Своему благожелательнёй-

шему критику Н. Н. Страхову Толстой пишетъ: "Ваше сужденіе о моемъ романѣ вѣрно, но не все, т. е. все вѣрно, но то, что вы сказали, выражаеть не все, что я хотьль сказать". Причина простая и несомнінная. Цілостный художественный образь неразложимь по природь своей на дискурсивныя сужденія критика, какъ бы ни были талантливы эти сужденія, и Толстой съ истиннымъ величіемъ говорить: "Если бы я хотёль сказать словами все то, что имълъ въ виду выразить романомъ, то я долженъ былъ написать романь тоть самый, который я написаль сначала". "Сущность искусства" "состоитъ въ безконечномъ лабиринть сиъпленій", и эти сцёпленія выразимы лишь въ художественномъ, сверхразсудочномъ образъ-символъ. Находясь въ художественномъ, Ерошкиномъ, періодѣ своей жизни, Толстой понималъ нѣчто большее. Онъ понималь, что и въ философіи "пфулевскій" умь даеть результаты плачевные. "Философія чисто-умственная есть уродливое западное произведеніе, и ни грекъ Платонъ, ни Шопенгауэръ, ни русскіе мыслители не понимали ее такъ".

Противоположность между однимъ Толстымъ и другимъ съ особенной силой сказывается въ исключительности зрячести и въ исключительной слюпоть. "Нашъ братъ,—пишетъ онъ Н. Н. Страхову, — безпрестанно, безъ переходовъ прыпаетъ отъ унынія и самоуничиженія къ непомѣрной гордости". Эти переходы естественны и необходимы. Доколѣ на крыльяхъ созерцанія, божественно ему данныхъ, Толстой слѣдуетъ сверхразсудочному сиппленію образовъ, творчески въ немъ возникающихъ, онъ "богъ", онъ все видитъ и власти его нѣтъ предѣловъ. Но какъ только, оставляя богоданныя крылья, онъ пытается идти ногами разсудка, онъ превращается въ самаго обыкновеннаго червя, связаннаго въ своихъ движеніяхъ, плѣненнаго слѣпотой и незнаніемъ.

"Я охотникъ,—говоритъ Ерошка.—Противъ меня другого охотника по полку нѣтъ. Я тебъ всякаю звъря, всяку птицу найду и укажу; и что и идъ—все знаю... Я какой человѣкъ! Слѣдъ найду,— ужъ я его знаю звѣря; и знаю куда ему лечь и куда пить или валяться придетъ... Все-то ты знаешь, что въ лъсу дълается. На небо взглянешь,—звѣздочки ходятъ, разсматриваешь по нимъ, времени много ли. Кругомъ поглядишь,—лѣсъ шелыхается, выждешь, вотъ-вотъ затрещитъ, придетъ кабанъ молиться. Слушаешь какъ тамъ орлы молодые запищатъ, пѣтухи ли въ станицѣ откликнутся

или гуси. Гуси,—такъ до полночи значить. И все это я знаю". И исполненный мудрости древняго бога Пана, Ерошка о хваленомъ "умъ" человъка говорить: "Эхъ-ма! Глупъ человъкъ, глупъ, глупъ человъкъ!"

Въ художникъ Толстомъ сидитъ настоящій Ерошка. Въ люсу человъческой жизни онъ все знаетт. Всякую птицу найдетъ, слъдъ увидитъ и ужъ знаетт звъря. Ему одинаково ясно, что дълается въ душъ Анны Карениной, что думаетъ старый меринъ Холстомъръ, какъ рожаетъ Китти, каковы предсмертныя мысли князя Андрея. И когда уже онъ знаетъ, то знаетъ такъ, какъ никто изъ людей не знаетъ. И исполненный этого знанія, онъ, какъ художникъ, объ "умъ" человъческомъ съ потрясающей силой говоритъ: "глупъ человъкъ, глупъ, глупъ человъкъ!"

Въ одномъ письмѣ онъ съ тоской говорить: "Нѣтъ умственныхъ и, главное, поэтическихъ наслажденій. На все смотрю какъ мертвый, то самое, за что я не любилъ многихъ людей. А теперь самъ только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь съ любовью, какъ прежде". И въ письмѣ къ Фету эта противоположность между Толстымъ - Ерошкой и Толстымъ - Нехлюдовымъ находитъ классическое выраженіе: "То чувствуещь себя богомъ, что нътъ для тебя ничего скрытиго, а то глупъе лошади".

Своевременно поставить вопросъ: какое намъ дѣло до Нехлюдова? Нехлюдовъ—самозванецъ. Это—"лошадъ", которая разыгрываетъ изъ себя бога только потому, что на ней ѣздилъ богъ. Всѣ свои богословскія сочиненія Толстой пишетъ не благодатью художника, которую мы чтимъ благоговѣйно, а насильственнымъ самозванствомъ Нехлюдова. Но мы хотимъ учиться у "бога", для котораго нѣтъ ничего скрытаго, который все видитъ насквозь съ любовью, который самымъ фактомъ своей геніальности свидѣтельствуетъ о томъ, что призванъ сказать что-то нужное и важное для насъ, но и мы рѣшительно отказываемся слушать Нехлюдова, когда онъ устремляется въ духовный вертоградъ человѣчества и топчетъ и мнетъ въ немъ лучшіе и благородные цвѣты.

Вопрось о равноправности двухь Толстыхъ послё всего вышесказаннаго не имѣетъ смысла и силы. Первый Толстой даритъ насъ художественными откровеніями, которыя въ цѣломъ міровой литературы занимаютъ совершенно безспорное мѣсто. То, что сказаль Толстой, никто никогда до него не говорилъ. Онъ суще-

ственно обогатиль мірь человіческой мысли. Но второй Толстой ничего не открывает. Это-, Мегалеонъ", по мъткому выраженію Соловьева, "непременный Колумбъ всёхъ открытыхъ Америкъ". Если бы онъ направилъ свою Нехлюдовскую энергію на стихотворчество или на писаніе музыкальныхъ произведеній, всёмъ была бы ясна вся фальшь его направленія. Но онъ зафилософствоваль, онь заняль позицію моральнаго обличителя, и воть онь пріобрѣтаетъ міровую извѣстность именно въ качествѣ князя Нехлюдова и благосклонно одбляеть ею дядю Ерошку, безъ котораго начало карьеры князя совершенно немыслимо. Но это всеже не "дарованіе", не призваніе. Какъ ни славенъ Нехлюдовъ, но одной количественной тяжестью своей славы онъ не можеть глушить голось старика-Ерошки, ибо голось этоть, какъ труба божьяго посланника, разсекаеть всю фальшь Нехлюдовскихъ хитросплетеній и свид'єтельствуеть съ дивной силой священную правду того, надъ чемъ легкомысленно, упорно и лицемерно кощунствуеть "добродътельный" князь.

## VI.

Теперь мы можемъ сказать о настоящемъ отношеніи Толстого къ Церкви. Нехлюдовъ хотѣлъ бы увѣрить весь міръ, что отношеніе Толстого къ Церкви одно: отрицательно Нехлюдовское. Но мы документально можемъ утверждать, что у Толстого два отношенія къ Церкви, а не одно въ совершенномъ соовѣтствіи съ двумя стихіями въ Толстомъ: разсудочной и художественной. И чисто-художественное признаніе Толстымъ Церкви настолько же первичнѣе, значительнѣе и метафизически-документальнѣе Нехлюдовской "болтовни", насколько первичнѣе и природнѣе въ Толстомъ художникъ сравнительно съ резонеромъ.

Главное основаніе, по которому Толстой-Нехлюдовъ сталь выдумывать свою въру,—это неразумность Церкви. Въ "Исповъди" много разъ говорится о невозможности принять чудеса и повърить въ реальное воскресеніе Христа. "Разумное знаніе въ лицъ ученыхъ и мудрыхъ отрицаетъ смыслъ жизни, а огромныя массы людей, все человъчество, признаютъ этотъ смыслъ въ неразумномъ знаніи. И это неразумное знаніе есть въра, та самая, которую я не могъ не откинуть. Это Богг 1 и 3, это твореніе въ 6 дней, дъяволы и ангелы и все то, что я не могу принять, пока я не сошель съ ума". Такъ "оправдываетъ" Нехлюдовъ свою вражду къ Церкви. "Умъ" выдвигается какъ самый сильный и единственный аргументъ. Но мы осмѣливаемся сказать, что Толстой всеида и радикально сходить съ этого пфулевскаго "ума", какъ только вступаетъ въ сферу творчества и художественнаго созерцанія сверхразсудочнаго сцѣпленія образовъ. Въ этомъ смыслѣ Толстой-художникъ съ Нехлюдовской точки зрѣнія всегда "съ ума сшедшій". И этотъ сумасшедшій Толстой художественно исповѣдуетъ свое глубочайшее признаніе высшей разумности Церкви, отвергаемой "лошадинымъ" умомъ Нехлюдова.

Въ Церкви нѣтъ явленія видимо болѣе сумасшедшаго и болѣе "безумнаго", чѣмъ юродство. Все "сумасшествіе" Церкви здѣсь находитъ свое особенно сильное, особенно ощутимое выраженіе. Но вотъ какая изумительная хвала юродивому Гришѣ вырывается изъ устъ Толстого-художника.

"Гриша безпрестанно твердиль: "Господи, помилуй, Господи Іисусе Христе, Мати Пресвятая Богородица", съ различными интонаціями, сокращеніями и выговаривая эти слова такъ, какъ ихъ говорять только тѣ, которые часто ихъ произносять. Съ молитвой онъ поставиль свой посохъ въ уголъ, осмотрѣлъ постель и сталь раздѣваться... Лицо его теперь не выражало, какъ обыкновенно, торопливость, безпокойство, тупоуміе; напротивъ, онъ былъ спокоенъ, величавъ и умно-задумчивъ".

..., Съ трудомъ опустился онъ на колвни и сталъ молиться. Сначала тихо, ударяя только на нѣкоторыя слова, потомъ все болѣе и болѣе воодушевляясь... Онъ молился о себѣ, просилъ, чтобы Богъ простилъ его, молился о татап, о насъ, твердилъ: "Боже, прости врагамъ моимъ!" Кряхтя поднимался и повторяя еще и еще тѣ же слова, припадалъ къ землѣ, билъ лбомъ о землю и опять поднимался, несмотря на тяжесть веригъ, которыя издавали сухой, рѣзкій звукъ, ударяясь о землю.

"Долго, долго находился онъ въ этомъ положеніи религіознаго восторга, импровизируя молитвы. Слова его были грубы, но трогательны. То твердиль онъ нѣсколько разъ сряду: "Господи, помилуй, Господи, помилуй", но каждый разъ съ новой силой и выраженіемъ; то говориль онъ: Прости мя, Господи! Научи мя, что творити, научи мя, что творити, Боже мой!" съ такимъ выраженіемъ, какъ-будто онъ говориль съ кѣмъ-нибудь, какъ-будто ожи-

даль сейчась отвѣта на свои слова; то слышны были одни жалобныя рыданія. Наконець, онъ приподнялся на колѣни, сложиль руки на груди, подняль глаза къ небу и замолкъ.

"Я высунуль потихоньку голову изъ двери и не переводя дыханія смотрѣлъ на Гришу. Онъ не шевелился; изъ груди его вырывались тяжелые вздохи; кривой глазъ былъ освѣщенъ луною; мутный, неопредѣленнаго цвѣта зрачокъ былъ влаженъ и на рѣсницѣ его висѣла слеза.

- Да будеть воля Твоя!—вскричаль онь вдругь сь неподражаемымь выраженіемь, упаль лбомь на землю и зарыдаль какь ребенокь"...
- "О, великій христіанин Гриша!—восклицаеть Толстой.—Какъ сильна была твоя вѣра! Ты зналь, что Богь слышить тебя, твоя любовь такъ велика, что слова сами собой лились изъ устъ тво-ихъ,—ты ихъ не повъряль разсудкомъ. И какую высокую хвалу ты принесъ Его величію, когда, не находя болѣе словъ, въ слезахъ повалился на землю!"...

Нехлюдовъ - Толстой все захотѣль повърить разсудком и не только смиреннаго Гришу, но и всю религіозную сторону христіанства уничтожиль въ своей дистиллированной "вѣрѣ". И та душа, которую такъ прекрасно ощущаль Толстой-художникъ, отлетѣла, и въ рукахъ Нехлюдова остался одинъ только трупъ христіанства; и этотъ-то трупъ онъ съ упорствомъ въ продолженіе тридцати лѣтъ противопоставлялъ христіанству живому, въ которомъ Гриши находятъ благоговѣйное почитаніе.

Художникъ Толстой свидѣтельствуетъ: "Впечатлѣніе, которое произвель на меня Гриша, и чувство, которое возбудиль, никогда не умруть въ моей памяти". Не вѣрить этому мы не имѣемъ права. Въ Толстомъ-художникѣ Гриша не могъ умереть, потому что геній Толстого разъ навсегда увидѣлъ, "подсмотрълъ изъ чулана", величайшую красоту и высшую разумность Гриши. Гриша безуменъ только для перваго "пфулевскаго" ума, Толстымъ осмѣяннаго, но этотъ же самый Гриша въ высочайшей степени мудръ и великъ для разума второго, Толстымъ воспѣтаго. Что же случилось? Почему Толстой въ своихъ богословскихъ сочиненіяхъ подымаетъ Гришу на смѣхъ?

Почему кощунственно издѣвается надъ сверхразсудочной вѣрой Гриши, надъ его великой безмолвной молитвой? Отвѣтъ ясенъ:

между Толстымъ и Гришей всталъ Нехлюдовъ. Толстой умилялся надъ Гришей, стоя въ чуланть, для Гриши невидимый, скрытый темнотою ночи. Его всего здёсь не было, было одно только геніальное его зръніе. Въ минуты незабвеннаго восторга надъ Гришей Толстой весь превратился въ созерцаніе, отождествился сътімь, что ему видилось, и потому-то Гриша безпрепятственно вошель въ его детскую душу. Впоследстви Толстой не разъ видель "старцевъ", этихъ родныхъ братьевъ и духовныхъ отцовъ Гриши, но уже безкорыстно, художественно узрѣть ихъ онт не могт. Раздъляло "тъло", — онъ самъ. Тамъ, умиляясь Гришей, онъ въ порывъ чистаго дітскаго чувства забыль себя, обезнамятіль на все свое, и душа его, свободная отъ оковъ эмпирической личности, постигла непостижимое. Здёсь передъ старцами быль уже Толстой, измышляющій свою віру, желающій не столько увидіть, сколько поучить, не столько постигнуть, сколько сказать "свое", не столько склониться ницъ, сколько повърить разсудкомъ. Нехлюдовская самость Толстого отдёлила его навёки оть Гришъ и закрыла отъ него то, что самъ онъ постигнуль въ дътствъ. Толстой не могъ не чувствовать чего-то высшаго въ старцахъ. "Этотъ о. Амвросій совсемь святой человекь. Поговориль съ нимъ, и какъ-то легкои отрадно стало у меня на душт. Вотъ когда съ такимъ человекомъ говоришь, то чувствуещь близость Бога". Но туть же-К. Н. Леонтьеву о старцъ Амвросіи Толстой говорить: "Онъ преподаетъ Евангеліе, только не совсѣмъ чистое, а вотъ на возьми мое Евангеліе". Мы понимаемъ возмущеніе Леонтьева. Если бы Хлестаковъ, стукнувъ по колену Толстого, сказалъ ему: "Молодецъ, корошо пишешь. Только у тебя, братъ, слишкомъ многохудожественности, давай я тебя передълаю", - это было бы гораздоневинные и эстетичные. Нехлюдовы уже прочно засыль вы Толстого, и Толстой видя не видёль и слыша не слышаль, потому что "ожесточилось сердце его".

При входѣ къ старцу Толстой поцѣловаль его руку, а когда сталь прощаться, то, чтобы избѣжать благословенія, поцѣловаль его въ щеку. "Гордъ очень",—вотъ приговоръ старца. Достоевскій при всей своей исключительной сложности быль проще. Къ такимъ уловкамъ не прибѣгалъ. Въ чуланѣ Толстой по чувству своему ипъловалъ ноги у Гриши,—тамъ могъ онъ быть во всю мѣру души своей искреннимъ; въ кельѣ же старца, съ проглочен-

нымъ аршиномъ Нехлюдова, спина его не *спибается*,—и онъ непосредственно послѣ бесѣды со старцемъ говоритъ Леонтьеву: "А вотъ на, возьми *мое* Евангеліе".

## VII.

Въ "Исповъди", сочетавшей въ поразительной смъси благочестивую Нехлюдовскую "ложь" съ потрясающими стонами дяди Ерошки, "панически" испугавшагося смерти, Толстой выставляетъ причиной своего отпаденія отъ православія то, что православіе "внъжизненно" — бездъйственно въ жизни. "Въроучение это исповъдуется гдъ-то тамъ, вдали отъ жизни, независимо отъ нея. Если сталкиваещься съ нимъ, то только какъ съ внашнимъ, не связаннымъ съ жизнью явленіемъ". Толстой - Нехлюдовъ осмѣливается сказать гораздо больше. "По жизни человъка, по дъламъ его... нельзя узнать, върующій онъ или нътъ. Если и есть различіе между явно исповъдующимъ православіе и отрицающимъ его, то не въ пользу перваго. Какъ теперь, такъ и тогда явное признаніе и исповъданіе православія большею частью встрічалось въ людяхъ тупыхъ, жестокихъ и считающихъ себя очень важными. Умъ же, честность, прямота, прямодушіе и нравственность большею частью встречались въ людяхъ, признающихъ себя неверующими".

Такъ говорить Нехлюдовъ и опять по-Нехлюдовски лосето. Мы только-что говорили объ юродивомъ Гришт. О немъ свидътельствуеть Толстой-художникъ. Гриша лено и фанатично исповъдуетъ православіе. И въ немъ ли нѣтъ жизни отличной отъ тѣхъ, кто православіе отрицаеть? Какъ нечестно относится Нехлюдовъ къ художественной памяти Толстого! Вѣдь обѣщалъ же Толстой Гриши инпогда не забывать. Но "Гриши"—явленіе собирательное. Въ православіи Гриши всегда были, всегда есть и всегда будуть. Объ одномъ изъ этихъ Гришъ Толстой, уже плѣненный Нехлюдовщиной, говоритъ: "Этотъ о. Амвросій совстьмъ святой человтькъ". А если святой, то чего же еще нужно Толстому?

Но оставимъ святыхъ. "Святые" въ фокусъ художественнаго зрѣнія Толстого не попадали. Одинъ Гриша—исключеніе. За-то простые, смиренно-вѣрующіе изъ православія не разъ попадали на полотно толстовскихъ картинъ, и всегда Толстой, слѣдуя внушеніямъ своего генія, рисуетъ ихъ, какъ бы прямое опроверженіе всёмъ благочестивымъ извётамъ Нехлюдова. Хорошій примёръ Наталья Савишна. Она ли *не православная*?

"Нѣтъ, батюшка, —говоритъ она на вопросъ Николеньки о толькочто умершей матери, —теперь ея душа здѣсь, —и она указала на потолокъ. Она говорила почти шопотомъ и съ такимъ чувствомъ и убѣжденіемъ, что я невольно поднялъ глаза кверху, смотрѣлъ на карнизы и искалъ чего-то. Вотъ я вамъ скажу, мой батюшка, продолжала старушка, —двѣ недѣли послѣ кончины душа бываетъ въ своемъ домѣ, только ея не видать; на четырнадцатый день ее уносятъ въ первое мытарство, потомъ во второе, въ третье, и такъ она ходитъ сорокъ дней, и когда пройдетъ черезъ всѣ, тогда ужъ вселяется въ царствіе небесное".

Вы слышите специфическій аромать православія, и воть что о жизни этой смиренно-вѣрующей православной души говорить Толстой:

"Съ тѣхъ поръ, какъ я помню себя, помню я и Наталью Савишну, ея любовь и ласки; но теперь только умѣю цѣнить ихъ, тогда же мнѣ и въ голову не приходило, какое рѣдкое, чудесное созданіе была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала о себѣ: вся жизнь ея была любовь, самопожертвованіе"...

Когда татап при выходѣ замужъ вручила Наталъѣ Савишнѣ вольную и пообѣщала отдѣльное жалованье, "Наталья Савишна молча выслушала это, потомъ, взявъ въ руки документъ, злобно взглянула на него, пробормотала себѣ что-то подъ носъ и выбѣжала изъ комнаты, хлопнувъ дверью".

- Что съ вами, голубушка, Наталья Савишна?—спросила растроганная maman, взявъ ее за руку.
- Ничего, матушка,—съ усиліемъ, удерживая слезы, отвѣчала она,—должно-быть, я вамъ противна стала, что вы меня со двора гоните. Что-жъ, я пойду.

Она вырвала свою руку и хотѣла уйти изъ комнаты. Но maman удержала ее, обняла, и онѣ обѣ расплакались". Всего разъ обидѣвъ Николеньку, она сейчасъ же стала просить прощенья.

"Полноте, мой батюшка, не плачьте... полно, простите... меня дуру. Я виновата. Ужъ вы меня простите... вотъ вамъ. "Она вынула изъ-подъ платка корнетъ, сдѣланный изъ красной бумаги, въ которомъ были двѣ карамельки и одна винная ягола, и дрожащей рукой, подала его мнѣ. У меня недоставало силь взглянуть въ лицо доброй старушкѣ; я, отвернувшись, принялъ подарокъ, и слезы потекли еще обильнѣе, но уже не отъ злости, а отъ любви и стыда".

А какъ она умерла!

"Наталья Савишна два мѣсяца страдала отъ своей болѣзни и переносила страданія съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ: не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычкѣ безпрестанно поминала Бога. За часъ передъ смертью она съ тихою радостью исповѣдалась, причастилась и соборовалась масломъ.

"У всѣхъ домашнихъ она просила прощенья за обиды, которыя могла причинить имъ, и просила духовника своего, отца Василія, передать всѣмъ намъ, что не знаеть, какъ благодарить насъ за наши милости, и проситъ насъ простить ее, ежели по глупости своей огорчила кого-нибудь, "но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась". Это было одно качество, которое она цѣнила въ себѣ.

"Надъвъ приготовленный капотъ и чепчикъ и облокотившись на подушки, она до самаго конца не переставала разговаривать со священникомъ, вспомнила, что ничего не оставляла бъднымъ, достала десять рублей и просила его раздать ихъ въ приходъ. Потомъ перекрестилась, легла и въ послъдній разъ вздохнула, съ радостной улыбкой произнося имя Божіе.

Толстой-вольнодумець, но еще не Нехлюдовь, пораженный красотой ея смерти, порывисто восклицаеть:

"Боже великій! Пошли мнѣ такія же мелочныя заботы, такое эке суевъріе, такія же заблужденія и такую же смерть".

Такъ Нехлюдовская хула застываетъ на устахъ художника-Толстого и превращается въ рѣдкое по силѣ славословіе. Исторія старая и вѣчная. Валакъ, сынъ Сепфоровъ, проситъ Валаама: Прокляни мнѣ Израиля. Но Валаамъ отвѣчаетъ: Не могу сдѣлать отъ себя ничего. Сдълаю то, что внушитъ мнъ Господъ. И Господъ говоритъ Валааму: Не проклинай народа сего, ибо онъ благословенъ. Благословенностъ православія ощущаетъ Толстой-художникъ и не можетъ преступитъ Божьяго велѣнія. Какъ ни старается Валакъ вырвать отъ кудесника Валаама магическое проклятіе, какъ ни соглащается Валаамъ по своей человѣческой волѣ исполнить желаніе Валака,—божественная правда ненарушима

человъческимъ произволомъ, и ослица заговариваетъ человъческимъ языкомъ, когда Валаамъ забываетъ внушеніе Господа.

Нехлюдовъ-только Валакъ, которому нужно проклятіе Валаама, чтобы сразиться съ Израилемъ, но который въ магической сферъ, въ дѣлахъ божественныхъ-совершенный профанъ и совершенный неучъ. И какъ ни подбиваеть онъ художника - Толстого изречь свою авторитетную и магически-сильную хулу на православіе, Толстой не можеть этого сдёлать и въ творчестве своемъ всегда Израиля благословляеть. Когда же онь хочеть ёхать въ станъ Валака и по внушенію человъческому пишеть свое "Воскресеніе", мы присутствуемъ при величайшемъ паденіи художника: Толстой превращается въ обыкновеннаго литературныхъ дълъ мастера, который, пользуясь техникой толстовского писанія, пишеть романь à thèse, со сравнительно большой ловкостью, но уже безъ всякаго вдохновенія, безъ всякаго вельнія свыше. Такъ же точно раньше онъ написалъ "Плоды просвъщенія", —этотъ недостойный Толстого, нехлюдовски-грубый шаржъ. Любуясь собой, своей добродътелью и своимъ покаяніемъ, Нехлюдовъ на протяженіи пятисотъ страницъ непрерывно воскресаетъ и все никакъ воскреснуть не можетъ. Романъ кончается неопредъленнымъ объщаніемъ со стороны автора, что воть теперь, въ ближайшемъ будущемъ, Нехлюдовъ непремънно окончательно воскреснетъ и начнето новую жизнь, потому что Нехлюдовъ, наконецъ, что-то такое "понялъ". Но такъ какъ Нехлюдовъ на каждой страницѣ постигаетъ какую-нибудь "истину" и все-таки не воскресаеть, то въ будушее воскресение его мы не имфемъ никакихъ основаній вфрить. Такъ, изъ Валаамова предпріятія благословить Валака противъ Израиля ничего не вышло.

Нехлюдовское воскресаніе на 500 стр., разрѣшающееся въ неопредѣленное обѣщаніе воскреснуть въ неопредѣленно будущемъ времени, поучительно сравнить съ истиннымъ воскресеніемъ, славословіе которому нелицепріятно творитъ геніальный художникъ. Онъ замышляетъ писать не свѣтлую жизнь добродѣтельнаго князя, а безпросвѣтную власть тымы надъ жизнью православныхъ русскихъ мужичковъ, и что же получается? Православные за себя постояли. Они грѣшны, жестоки, порочны. Кажется, въ первыхъ актахъ драмы Нехлюдовъ шепчетъ Толстому: Не жалѣй темныхъ красокъ: рисуй кромѣшную тьму. И тьма дѣйствительно сгущается до адскихъ тоновъ. Казалось бы, выходъ одинъ: веревка. И вдругъ

среди этой тьмы блистаеть ослѣпительный свѣть. "Ватюшка! Ты здѣсь? Гляди на меня! Міръ православный, вы всѣ здѣсь! И я здѣсь. Воть онъ я! (Падаеть на кольни)". И захватывающую духовную красоту и натуралистическую правду потрясающей сцены покаянія Никиты передъ православнымъ міромъ нужно отнести къ лучшимъ страницамъ изъ всего написаннаго Толстымъ. Урядникъ кричитъ: "Вяжите его! Актъ!" А отецъ Никиты говоритъ: "Экій ты, тае. Погоди, говорю. А объ ахтѣ, тае, не толкуй, значитъ. Тутъ, тае, Божье дѣло идетъ... кается человѣкъ, значитъ, а ты, тае, ахту"... Урядникъ еще разъ: старосту! Но Акимъ: "Дай Божье дѣло отойдетъ, значитъ, тогда, значитъ, ты и, тае, справляй, значитъ"... И вз восторит говоритъ сыну: "Говори, дитятко, все говори,—легче будетъ. Кайся Богу, не бойся людей. Богъ-то, Богъ-то! Онъ во!.."

И опять Валаамъ со священной силой благословляеть Израиля. Въ "Воскресеніи" не смогъ благословить Валака, а во "Власти тьмы" вмѣсто проклятія изрекъ величайшую хвалу народу, благословенному Богомъ тѣмъ благословеніемъ, о которомъ сказалъ Тютчевъ:

Удрученный ношей крестной Всю тебя, земля родная, Въ рабскомъ видѣ Царь небесный Исходилъ, благословляя...

#### VIII.

"Въ это время случилась война въ Россіи. И русскіе стали во имя христіанской любви убивать своихъ братьевъ. Не думать объ этомъ нельзя было. Не видѣть, что убійство есть зло, противное самымъ первымъ основамъ вѣры, нельзя было. А вмѣстѣ съ тѣмъ въ церквахъ молились объ успѣхѣ нашего оружія, и учители вѣры признавали это убійство дѣломъ, вытекающимъ изъ вѣры. И не только эти убійства на войнѣ, но во время тѣхъ смутъ, которыя послѣдовали за войной, я видѣлъ чиновъ Церкви, учителей ея, монаховъ, схимниковъ, которые одобряли убійство заблудшихъ, безпомощныхъ юношей. И я обратилъ вниманіе на все то, что дѣлается людьми, исповѣдующими христіанство, и ужаснулся".

Ужасъ Толстого передъ войной и передъ всякимъ убійствомъ,

передъ всякимъ пролитіемъ хотя бы даже и очень повинной, но теплой человъческой крови—самый праведный ужасъ въ Толстомъ. И ничто, мнѣ кажется, не снискало Толстому столько симпатій въ Россіи, ничто не приковало къ нему сочувственнаго вниманія во всѣхъ концахъ свѣта, какъ этотъ искренній и стихійный протесть противъ пролитія крови. Въ самой Природѣ заложенъ ужасъ убійства. Сама земля, какъ одушевленное существо, боится его и оскверняется имъ. "Голосъ крови брата твоего вопіетъ ко Мнѣ ото земли, —говоритъ Господъ Каину.—И нышъ проклять ты ото земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего отъ руки твоей" (Быт. IV, 10—12). Дядя Ерошка, несмотря на свою "охотницкую" практику, крови проливать даромъ не любитъ, и при видѣ ея лицо его дѣлается строгимъ и грустнымъ.

Но Толстой не остается при этомъ природномъ, инстинктивномъ ужасѣ передъ кровью. Онъ самое чувство свое опутываетъ Нехлюдовской идеологіей, и тутъ начинается упорная ложь. Работая пфулевскимъ умомъ, онъ создаетъ цѣлую систему жизнепониманія, можно сказать полярнаю христіанству, и уже на почвѣ этого жизнепониманія критикуетъ историческое отношеніе христіанства къ войнамъ. И священный огонь возмущенія первобытной человѣческой природы противъ грѣховнаго состоянія міра, во злѣ лежащаго, переходитъ въ Толстомъ, при благосклонномъ участіи Нехлюдова, въ озлобленіе умственно-разсудочной борьбы, и все, что было прекраснаго и истиннаго въ первоначальномъ протестѣ его, гаснетъ въ умствованіяхъ сомнительнаго свойства и доказательствахъ чрезвычайно натянутыхъ и искусственныхъ.

Въ "Оправданіи добра", въ главѣ "Смысль войны", и особенно въ "Трехъ разговорахъ" Соловьевъ даетъ уничтожающую критику толстовскихъ "умствованій" о войнѣ. Врядъ ли что-нибудь можно прибавить къ критикѣ Соловьева въ смыслѣ чисто-логическихъ соображеній. Противъ мнимой "логики" князя (Нехлюдова), въ себѣ неувѣреннаго, путающагося, Соловьевымъ выдвигаются аргументы такого безспорнаго и, главное, объективнаю характера, что всякій, кто взвѣситъ безпристрастно Толстовскіе рго и Соловьевскіе сопта, долженъ видѣть, что въ сферѣ логическихъ аргументовъ Толстой совершенно побитъ и ничего не могъ бы отвѣтить и (фактически) не отвѣтилъ,—хотя имълъ возможность и долженъ былъ отвътить,— на Соловьевскую критику.

Но я не хочу входить въ объективное разсмотрѣніе вопроса объ отношеніи христіанства къ войнѣ. Я изслѣдую столкновеніе двухъ сознаній въ самомъ Толстомъ, и въ вопросѣ о войнѣ, такъ же какъ и во всѣхъ другихъ вопросахъ, мнѣ важно не то, насколько слабы и бездоказательны Нехлюдовскія воззрѣнія Толстого, взятыя сами по себъ, а то, насколько глубоко и радикально отвергаются они вторымъ художественнымъ разумомъ самою Толстого.

Нехлюдовъ использовалъ по-своему стихійное возмущеніе дяди Ерошки противъ пролигія крови. Праведный ужасъ Толстого Нехлюдовъ отливаетъ въ форму схоластическихъ силлогизмовъ и превращаеть ихь въ самый сильный свой аргументь противь Церкви. Не чудовищное явленіе войны уже занимаеть Толстого, а хорошій козырь въ затвянной борьбв противъ православія. Ужасъ его не ужась святого передъ зломъ жизни, а ужасъ геометра передъ сложностью и геометрической неправильностью реальнаго безконечно-сложнаго узора жизни. Ужасаетъ Нехлюдова не война, какъ реальное явленіе, а невыводимость и раціональная несоединимость вої за съ теми искусственными и надуманными основоположеніями, въ добровольномъ плену у которыхъ находится его неповоротливый пфулевскій умь. И какъ Пфуль въ озлобленіи своего разсудочнаго фанатизма не хочеть считаться съ дъйствительностью и реальныя войны объявляеть фантастикой и небытіемъ, потому что онъ не согласуются съ выдуманными имъ тактическими схемами,такъ и Толстой рѣшительно отвертывается отъ реальной жизни съ неминуемыми войнами и весь уходить въ безпредметное постулированіе чего-то абсолютно-неопредёленнаго во имя своей нехлюдовской схемы. Реальная жизнь, метафизически отрицаемая имъ, превращается въ лишенную всякаго смысла и всякаго истиннаго бытія нельпость или, говоря другимь языкомь, въ меонь. Въ этомь пунктъ сходятся, какъ это ни странно, гносеологическая алгебра кантіанства съ моралистической ариеметикой Толстого, и Толстой-Нехлюдовъ опознается какъ върный ученикъ той самой исключительно отвлеченной философіи, которая, по признанію самого Толстого, есть уродливое произведение Запада.

Война есть абсолютное зло,—аргументируеть Нехлюдовь.—Церковь благословляеть войны,—ergo, Церковь преступна и зла. Ergo, я, Нехлюдовь, должень исправлять Евангеліе и создавать "чистое" пониманіе христіанства. Съ виду гладко и хорошо. Но изъ всей сворникъ.

Нехлюдовской лжи ложь этой аргументаціи самая глубокая. Ибо она есть тоть скрытый корень, на которомь держится вся Нехлюдовщина Толстого.

Мы можемъ сказать съ такимъ же правомъ: война есть абсолютное зло. По всему земному шару люди воюютъ и убиваютъ другъ-друга. Такъ есть, такъ и было. Неопредъленный и туманный Богъ Толстого допускаетъ это. Егдо, Богъ Толстого преступенъ и золъ. Егдо, я, имя рекъ, объявляю все мірозданіе чортовымъ водевилемъ и свой билетъ на это милое зрѣлище "возвращаю обратно".

Нѣтъ ничего хуже и ужаснѣе безпредметнаго "либеральнаго" оптимизма. Если ужъ правда, такъ правда до конца. Церковь зла и преступна. Христосъ зло разрушилъ на какихъ-нибудь сто лѣтъ, и потомъ на двѣ тысячи лѣтъ адъ возстановляется съ новой силой. Нехлюдовъ и на пять минутъ разрушить его не можетъ. Что же дѣлать? Не курить? Не ѣсть мяса? Продавать по 5 копѣекъ "чистенькое" Евангеліе Толстого?

Передъ этимъ кошмаромъ добродътельный князь, надъвъ бълый халать "недъланія", пускается въ маниловскія изліянія. "Люди добры по природъ"... — Но откуда же тогда войны, убійства, смертныя казни?.. Почему добрые по природѣ люди въчно живутъ въ состояніи зв'єрства и взаимнаго убіенія? Князь закрываетъ глаза и говорить: "Вёдь стоить имъ только сказать, открыть глаза, чтобы они поняли"... Стоить! Но вѣдь людямъ непрерывно говорили. Возставали пророки огромной, непревзойденной силы. Училъ Будда, училъ Сократъ, училъ Христосъ. Отчего все безрезультатно (какъ утверждаетъ Толстой)? Или князь въритъ въ "прогрессъ"? 60 въковъ люди были волками, а на 65-мъ станутъ "овечками"? Нѣтъ, Толстой слишкомъ энергично объявилъ ученіе о прогрессѣ величайшей нелѣпостью и безсмыслицей. Ergo, въ будущемъ человъчество ожидаетъ то же, что было и въ прошломъ, что есть въ настоящемъ. Но тогда гдв же тотъ хваленый смыслъ жизни, о нахожденіи котораго Нехлюдовъ оповъстиль весь міръ и нахожденіемъ котораго на весь міръ прославился? И неужели во имя этого безсмыслія Толстой можеть кощунственно подымать свою руку противъ Церкви?

Въ силлогизмѣ князя о войнѣ есть одно *скрытое* утвержденіе: возможно такое состояніе нашего эмпирическаго міра, когда вт немъ не будетъ убійствъ и не будетъ зла, и потому-то Церковь, одобряя

войны, преступна. Въ этомъ утвержденіи и лежить корень Толстовскаго отрицанія Церкви. Відь если эмпирическій міръ невозможень безь зла и въ немъ всегда будуть воевать, если путь Церкви лежить не чрезъ выдуманный и несуществующій Маниловскій міръ, а реальный, полный крови, слезъ и борьбы, — то, очевидно, Церковь не можетъ уклониться отъ живого участія въ этой борьбъ и никогда не можетъ по-Пилатовски умывать себъ рукъ. Только война при благословеніи Церкви становится священной войной и священна ровно настолько, насколько участники ея борются за духовныя сокровища въры и за высокія права историческаю призванія. При оскудінін віры оскудіваеть и священность войны, но тогда грехъ и ужасъ войны въ оскудении веры и идеаловъ, а не въ ней самой. Церковь считаетъ эмпирическій міръ тяжкимъ бользненнымъ состояніемъ; тогда какъ для Толстого міръ нашъ очень даже хорошъ, особенно если въ немъ появляются время отъ времени такіе прекрасные люди, какъ Нехлюдовъ. Толстой въ мирѣ съ міромъ и потому враждуеть съ Церковью, которая съ міромъ не въ мирѣ, а во враждѣ, ибо чаетъ и мира и міра другого. Толстой, какъ ни радикаленъ онъ съ виду, хочеть очень немногаго. Если всв люди перестануть курить, пить, убивать, то вотъ оно и пришло Царство Небесное и всѣ чаянія языковъ сбылись. Не говоря о Маниловской несбыточности и нарочитой придуманности этихъ воздушныхъ замковъ, Толстой-Нехлюдовъ въ странномъ душевномъ ослѣпленіи забываетъ одинъ страшный факть: смерть. Какъ ни мечтателенъ князь, но въдь не можетъ же онъ серьезно надъяться, что въчные боги, умиленные добродътельностью его Нехлюдовскаго потомства, одарять ихъ въ знакъ своего восторга безсмертіемь и изведуть изь царства тлінія, смерти и времени въ новыя сверхчувственныя условія существованія? Но если и въ царствъ небесномъ будетъ царить смерть, какая разница между нашимъ теперешнимъ міромъ и тімъ? Теперь на сто, а можеть и на тысячу человъческихъ смертей приходится одна смерть отъ убійства на войнѣ, тогда всѣ сто и всѣ тысячу смертей будуть "естественными". Что же измѣнится? Одна сотая или одна тысячная зла. И неужели бочка дегтя станеть сладкой отъ одной капли меда? Но, можетъ-быть, со смертью нужно "примириться" и признать ее явленіемъ нормальнымъ и благодарить Хозяина за это мудрое и благодътельное установленіе? Но тогда

почему же не блаѓодарить этого же самаго Мудраго Хозяина за войны, Имъ посылаемыя, и за вражду, Имъ попускаемую,—почему не признать войну явленіемъ глубоко нормальнымъ и столь же естественнымъ, какъ дыханіе, какъ зарожденіе жизни, какъ смерть?

Церковь отридаеть въ корнѣ нормальность нашего міра. Ел цъль-не частичныя реформы міра, не льченіе пластыремъ и настойками, а преображение міра. Весь строй нашей жизни грѣховень и ненормаленъ. Изъ эмпирическаго тлѣннаго матеріала нашего міра нельзя построить селеній вѣчныхъ и чертоговъ небесныхъ. Сказать: смерть нормальна, а война ненормальна, это значить сказать двойную ложь: и моральную, и фактическую. Ибо смерть совершенно непріемлема духомъ человіческимъ, духомъ Божьимъ въ человъкъ. Ибо, съ другой стороны, въ природъ, въ растительномъ и животномъ мірѣ, война есть "нормальнѣйшее" и распространненнъйшее явленіе. Нехлюдовъ думаетъ, что война придумана людьми, потому ее можно и "отдумать". На золотомъ сердцъ человъка "кто-то" поставиль грязное пятно, но стоить только захотъть, и пятно можно снять и не будеть больше войнъ и останется чистое золото. Въ сущности зла нѣтъ, а есть недоразумѣнія, которыя могуть быть устранены письменной пропов'ядью Нехлюдовыхъ и Чертковыхъ въ разныхъ концахъ свъта. Церковь же говорить о глубочайшемь ирыхнь веего міра, и война среди тьмы человъческой жизни не только не есть самое темное мъсто, но, наоборотъ, можетъ-быть, свитмье другой обычной тьмы, и часто служить необходимымь средствомь для разсвянія мрака непереносимаго, для перехода въ болве сносное состояние. Нехлюдовъ думаеть, что когда сердце его преисполнено "добродътели" и онъ уже бросиль курить, пить и прелюбодействовать, то онь "ходить въ свътъ и спъщить это свое хождение указать какъ примъръ всъмъ находящимся во "тьмъ". Церковь же по примъру Евангелія любить іртиниковь, — въ сердці одного дяди Ерошки, на совъсти котораго лежить не одно человъческое убійство, можеть оказаться больше чистаго "золота", чимь въ Нехлюдовыхъ всего міра, взятыхъ вмёстё. Въ способё и духё оцинки лежить сущность разногласія. Для прямолинейнаго пфулевскаго ума Толстого-Нехлюдова война — предълъ ужаса и преступности. Для Церкви же предълъ зла и гръха — въ глубинахъ человъческаго и мірового сознанія, въ которыхъ дійствуеть Духь зла, и война

поэтому становится явленіемъ вторично и третично *производнымо* и въ своемъ эмпирическомъ видѣ можетъ служить торжеству Добра и попранію Зла.

Мы остановились подольше на анализѣ Нехлюдовскаго отношенія къ войнѣ, потому что Толстой особенно на немъ настаиваетъ. Противоставляя Нехлюдовскую прямолинейность сложности церковно-христіанскаго жизнечувствія, мы тѣмъ самымъ не вышли изъ предѣловъ темы: анализа двухъ стихій въ Толстомъ. Ибо сложность церковно-христіанскаго жизнепониманія есть та самая сложность, которую прекрасно чувствуетъ и знаетъ геніальный художникъ. Толстой-художникъ свидѣтельствуетъ, что жизнь несоизмѣрима съ пфулевскимъ разумомъ, что сложность ея иепередаваема ни въ какомъ логическомъ разсужденіи, что въ ея неизслѣдимыя глубины можно проникать лишь подъ водительствомъ сверхразсудочнаго сцѣпленія образовъ. И когда, свободный отъ Нехлюдовщины, онъ мудро слѣдуєтъ внушеніямъ своего генія,—онъ пишетъ "Войну и миръ" — лучшее художественное опроверженіе своихъ будущихъ умствованій о войнѣ.

Толстой съ несравненной силой показываеть, что историческія событія не подвластны воль отдільных людей, что есть нічто Высшее, Непостижимое въ движеніяхъ и столкновеніяхъ народовъ. Если это высшее несводимо на произволь правителей и царей, если Толстой издевается надъ мнимой уверенностью Наполеоновъ и Пфулей, которые думають, что они правять событіями, а не событія ими, — то не смішонь ли Нехлюдовь, который мечтаеть своимъ недёланіемъ передёлать міръ и своимъ немощнымъ словомъ измѣнить объективный и таинственный ходъ исторіи? Съ точки зрѣнія "Войны и мира" Нехлюдовъ — это маленькій Наполеонъ наизнанку. Наполеонъ "переворачивалъ міръ" изъ честолюбія и для славы. Нехлюдовъ хочеть сділать то же самое, т. е. перевернуть міръ, тѣми же самыми личными средствами, но только изъ "высшихъ" соображеній и ради добродьтели. Но никто лучше и очевиднъе Толстого не показывалъ, что "переворачивание міра" есть театральное предпріятіе, что исторія — не пустая арена для честолюбивыхъ жестовъ Наполеона или для добродътельныхъ манифестацій князя Нехлюдова, а ніжій живой, безконечно-сложный потокъ, тапиственно руководимый неисповъдимым Провидъніемъ Онъ имъетъ свои великія цъли, скрытыя и отъ участниковъ историческихъ событій, отъ позитивныхъ историковъ и доступныя лишь второму художественному и религіозному зрѣнію геніальнаго творчества и дѣтской непосредственной вѣры.

Нетрудно было бы продолжить предложенный здёсь анализъ столкновенія двухъ стихій въ Толстомъ и показать, что Нехлюдовское отрицаніе таинства брака и таинственнаго смысла влюбленности и любви отвергается художникомъ-Толстымъ, что Нехлюдовская критика искусства есть совершенная безсмыслица передъ грандіознымъ фактомъ художественнаго творчества Толстого, что нехлюдовскому космополитизму и воляпюковской отрёшенности отъ своей національности противостоитъ цёломудренно-скрываемый, но страстный и яркій патріотизмъ автора "Войны и мира". Но время кончать...

Невысказанная трагедія жизни Толстого состоить въ скрытомъ, но постоянномъ столкновеніи въ немъ двухъ стихій: художественной и разсудочной. Если въ первой стихіи онъ геніаленъ, то во второй упоренъ. Если въ художественномъ періодъ своей жизни онъ съ божественной щедростью разсыпаетъ дары своихъ созерцаній и своихъ вдохновеній, то въ періодѣ разсудочномъ онъ съ нехлюдовскимъ упрямствомъ "претъ противъ рожна" и, не смущаясь безплодіемъ и явнымъ оскудініемъ своего духа, ни за что не хочеть сознаться въ главномъ своемъ грфхф: въ волевомъ избраніи пфулевскаго ума за высшаго судью и за высшій авторитетъ. Когда Толстой въ своихъ исканіяхъ подошель къ Церкви, этой единственной носительницы Смысла и Логоса среди всеобщаго хаоса и безсмыслія жизни, пордыня, въ немъ жившая, удержала его отъ полнаго, смиреннаго и любовнаго сліянія съ вірующими. Это нѣмое событіе жизни Толстого оказалось самымъ трагическимъ изъ всего имъ пережитаго и безконечно значительнымъ. Стихія художественная не только принимала Церковь, но и требовала ея, какъ своего завершенія, какъ своего вѣнца. Стихія художественная широко открывала глаза Толстого на міръ, и онъ видълъ святость, таинственность и неизбежность Церкви. И воть, отвергая Церковь актомъ неосмысленной, хаотической воли, Толстой тымь самымь отвергаль и убиваль вы себы художественную стихію.

Возставая противъ Церкви, онъ долженъ былъ возстать пропивъ самого себя, призвать на помощь имъ же осмѣянный пфулевскій умъ, а дядю Ерошку сковать Нехлюдовымъ. Жизнь Толстого съ конца 70-хъ годовъ, --- это непрерывное духовное самоубійство, постоянная плененность его орлинаго духа добровольно надетыми путами. Онъ отвергь Церковь, и Россія потеряла художника несравненной силы. Но Церковь онъ не только отвергъ; онъ больно ушибся объ нее, и всю жизнь у него больло ушибленное мѣсто и онъ съ неразуміемъ истиннаго ребенка биль ушибившее мисто. Боле тридцати леть онь пишеть все объ одномъ, — о недостаткахъ церковнаго ученія; все разрушаеть и разрушаеть и никакъ разрушить не можетъ. И духовная трагедія этой жизни закончилась скорбной смертью. Духъ Толстого готовъ былъ разбить свой добровольный плень, сделаль несколько величественныхъ орлиныхъ взлетовъ --- и изнемогъ... То, что онъ культивироваль въ себъ, уже успъло отложиться во вив, и когда онъ въ предсмертномъ порывѣ готовъ быль освободиться отъ Нехлюдовщины внутренней, его сковала и окружала Нехлюдовщина внъшняя, и онъ умеръ непримиренный ни съ русскимъ народомъ, ни съ православной Церковью, ни съ художественной стихіей, въ которой благодатью Природы быль призвань творить и учить.

Этотъ предсмертный порывъ не только прекрасенъ. Онъ внутренно зачеркиваетъ все Нехлюдовское въ Толстомъ. Онъ показываетъ, что во внутренней и трагической борьбѣ двухъ стихій Толстой въ послѣдній моментъ уже готовъ былъ сказать великое Да тому, съ чѣмъ Нехлюдовъ враждовалъ, и во всякомъ случаѣ рѣшительно сказалъ Нѣтъ тридцатилѣтней Нехлюдовщинѣ своей жизни.

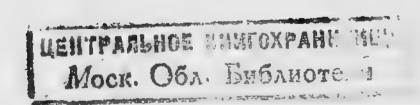
Много великаго написаль Толстой, и много дурного и кощунственнаго. Будемъ же свято и ревниво помнить его истинныя и богатыя приношенія русскому народу, а къ его кощунствамъ отнесемся такъ, какъ отнеслась странница къ Нехлюдовскимъ насмѣшкамъ Пьера Безухова надъ вѣрой народа.

"Отецъ, отецъ, грѣхъ тебѣ, у тебя сынъ,—заговорила она вдругъ, переходя въ яркую краску.—Отецъ, что ты сказалъ такое, Богъ тебя прости.—Она перекрестилась:—Господи, прости его"... Когда же Пьеръ, искренно смутившись, робко сталъ извиняться, странница Пелагеющка, которая ужъ собралась-было уходить, остано-

вилась недовърчиво. "Но въ лицъ Пьера была такая искренность раскаянія и князь Андрей такъ кротко смотрълъ то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась".

Въ предсмертномъ движеніи Толстого чувствуєтся искренность раскаянія и робкія извиненія Пьера за его грубыя слова. Пусть онъ не сумѣлъ сказать, пусть ему помѣшали сказать, но шевельнулось же въ немъ что-то необычное, несказанное, великое, и хочется вѣрить, что это добрый Пьеръ спохватился за всѣ неосторожныя слова свои и тѣмъ самымъ отнялъ у нихъ всякую силу.

В. Эрнъ.



KHNI UN3

Москва, Знаменка, 41.

Бляжайшее участіе приничають: 🎉

Н. А. Бердяевъ, С. Н. Булгановъ, Г. А. Рачинскій, Кн. Е. А. Трубецкой, В. Ф. Эрнъ

### Отдель І.

# ОРИГИНАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

- С. Н. БУЛГАКОВЪ. "Два града". Изследованія о природе общественныхъ идеаловъ. Въ 2-хъ томахъ. Цена 3 р. за оба тома.
- И. В. КИРЪЕВСКІЙ. Полное собраніе сочиненій. Въ 2-хъ томахъ, съ портретомъ, подъ редакціей М. О. Гершензона. Цёна за 2 тома 4 р.
- М. ГЕРШЕНЗОНЪ. Жизнь В. С. Печерина. Цена 1 р. 50 к.
- Л. М. ЛОПАТИНЪ. Философскія характеристики и річи. Ціна 3 p.
- ВЛ. ЭРНЪ. Борьба за логосъ. Цена 2 р.
- Н. А. БЕРДЯЕВЪ. Философія свободы. Цена 2 р.
- С. Н. БУЛГАКОВЪ. Философія хозяйства (выйдеть въ февраль).
- Свящ. ПАВЕЛЪ ФЛОРЕНСКІЙ. Столпъ и утвержденіе истины (Опыть православной Өеодицеи въ двенадцати письмахъ). (Выйдетъ въ февралв).
- Свящ. С. ЩУКИНЪ. Сборникъ статей. "Около церкви" и др. (готовится-къ печати).
- Кн. ЕВГ. ТРУБЕЦКОЙ. В. С. Соловьевь и его дело (готовится къ печати).

### Отдѣлъ II.

## ПЕРЕВОДЫ.

- ВЛАДИМІРЪ СОЛОВЬЕВЪ. Россія и вселенская церковь. Переводъ съ французскаго Г. А. Рачинскаго. Цена 2 р. 25 к.
- ВЛАД. СОЛОВЬЕВЪ. Русская идея. Переводъ съ французскаго Г. А. Рачинскаго. Цвна 75 к.
- ДЮШЕНЪ. Исторія древней церкви. Переводъ съ французскаго. Томъ І Цвна 2 руб.
- ЗЕИПЕЛЬ. Хозяйственно-этическіе взгляды отцовъ церкви. Переводъ съ нъмецкаго, съ предисловіемъ С. Н. Булгакова (готовится къ печати).
- Э. ЛЕРУА. Догмать и критика. Переводь съ французскаго подъ редакціей Н. А. Бердяева (выйдеть въ февраль).
- ВЕНДЛАНДЪ. Эллинистическо-римская культура въ ея отношеніи къ еврейству и христанству (готовится къ печати).
- ВИКТОРЪ АНРИ. Антиномін языка. Въ переводё профес. свящ. П. Флоренскаго (готовится къ цечати).
- ПАСКАЛЬ. Мысли. Въ переводъ съ французскаго Г. А. Рачинскаго.



### Отдълъ III.

# РУССКІЕ МЫСЛИТЕЛИ.

- А. С. ХОМЯКОВЪ. Н. Бердяева. Д. 1 р. 60 к.
- Г. С. СКОВОРОДА. (1722—1794). Вл. Эрна. (выйдеть въ февралъ).
- А. А. КОЗЛОВЪ.—С. АСКОЛЬДОВА. Жизнь и философія (выйдеть въ январѣ).
- К. Н. ЛЕОНТЬЕВЪ. В. В. Бородаевскій.
- М. М. СПЕРАНСКІЙ. А. В. Ельчаниновъ.
- А. И. БУХАРЕВЪ. (арх. Өедөръ). С. С. Розановъ.
- Ө. И. ТЮТЧЕВЪ. Вячесл. Ивановъ.
- Н. В. ГОГОЛЬ. В. В. Заньковскій.
- о. СЕРАП. МАШКИНЪ. Св. П. А. Флоренскій.

готовится къ

Въ дальнъйшемъ предполагаются монографіи о М. Ө. Достоевскомъ, И. В. Киръевскомъ, Н. И. Новиковъ, Вл. Соловьевъ, Л. Толстомъ, С. Н. Трубецкомъ, П. Я. Чаздаевъ, Б. Чичеринъ, Н. Ө. Өедоровъ.

### Отдёль IV.

### СБОРНИКИ.

- СБОРНИКЪ ПЕРВЫЙ. О ВЛАД. СОЛОВЬЕВФ. Ц. 1 50 к. Статьи: С. Н. Булгакова, Вячесл. Иванова, кн. Евг. Трубецкаго, Александра Блока, Н. Бердяева, Вл. Эрна.
- СБОРНИКЪ ВТОРОЙ. О РЕЛИГІИ Л. ТОЛСТОГО. Ц. 1 р. 70 к. Статьи: С. Н. Булгакова, В. В. Эвньковскаго, Кн. Евг. Трубецкаго, В. Экземплярскаго, С. Н. Булгакова, Анд. Белаго, Н. А. Бердяева, А. С. Волжскаго, Вл. Эрна.
- СБОРНИКЪ ТРЕТІЙ. О СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФІИ (готовится къ печати).

Книгоиздательство "ПУТЬ" высылаеть свои изданія всёмь, выписывающимь непосредственно изъ склада (Москва, Знаменка, 11), принимая почтовые расходы на свой счеть; расходы по наложенію платежа заказчики принимають на себя (до 5 р.—10 к.. свыше — по 2 к. съ рубля).

За границу отправка изданій производится на тёхъ же условіяхъ, но по полученіи полной оплаты заказа (наложеніе платежа не допускается).

По выходѣ изданій изъ печати въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ, книги отпускаются книгопродавцамъ со скидкою  $30^{0}/_{0}$ , по истеченіи этого времени скидка понижается до  $25^{0}/_{0}$ ; расходы по пересылкѣ книгъ за счетъ заказчика.

Издательница М. К. Морозова.

